

ЯНКА БРЫЛЬ

ПОД
ГОВОР
КОСТРА



ЯНКА БРЫЛЬ

**ПОД
ГОВОР
КОСТРА**

РАССКАЗЫ

Авторизованный
перевод с белорусского



**Издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1966**

С (Бел) 2

Б89

Предисловие

А. А д а м о в и ч а

Оформление художника

Б. З а б о р о в а

7-3-3
129-66

ЩЕДРЫЙ ТАЛАНТ

Пришел в советскую литературу Иван Антонович Брыль как писатель «западнобелорусский». Но никогда он не был узкоместным автором — ни по мироощущению, ни по творческим устремлениям. Писатель в нем начинался задолго до появления первой книги: с напряженных духовных исканий, с мучительных поисков смысла человеческой жизни, раздумий над судьбами родного края.

...У белорусского трудового люда на запад и на восток от границы, разделявшей Беларусь до 1939 года, была различная судьба.

По одну сторону вырастала в суровых испытаниях Беларусь индустриальная, Беларусь сплошной грамотности, устанавливалась жизнь, жадно устремленная в завтрашний день.

По другую сторону — жизнь словно остановилась на дне вчерашнем. Та же безземельная деревня с панскими порядками, с еще более возросшим национальным угнетением. Но люди не остались прежними и здесь: Октябрь пробудил неистребимое стремление к свободе, твердую веру в то, что правда трудового человека победит. И как не верить, если совсем рядом был Советский Союз? Скорое освобождение было настолько очевидно, что зловещее слово «пожизненно» (пожизненная каторга, тюрьма) приобрело в западных областях Белоруссии неожиданно ироническое звучание. Осужденные за «большевизм» деревенские хлопцы спрашивали у своих судей: «Неужели вы и впрямь надеетесь так долго пановать?»

Мечта о жизни «более просторной» не могла не укрепиться и в семье будущего писателя, которая повидала свету, которая дружила с трудом и с книгой.

Почти тридцать лет отец Брыля работал железнодорожником в Одессе, куда потом забрал семью, оставив свое крестьянское хо-

зйство одной из замужних дочерей. В Одессе 22 июля (ст. ст.) 1917 года и родился будущий писатель.

«Прожили мы в городе,—отмечает писатель в «Автобиографии»¹,— до половины 1922 года. Потом батька, надломленный продолжительной болезнью, поддался уговорам матери и решил вернуться в родную деревню. Она уже была за границей, в буржуазной Польше, но батька считал эту границу делом не очень серьезным и временным. Помню слова его: «Откроется граница — вернемся». Но он не дождался этого дня: простудился в лесу и скоро — в конце февраля 1924 года — умер. У матери нас осталось три хлопца, старшему из которых, Миколу, не было еще четырнадцати.

Ходили в начальную школу, но учиться дальше не пришлось: надо было работать на хозяйстве».

Однако тяга к книге, к свету пробудилась рано. Книга, да жизнь окружающая, да слово родного народа стали школой для Янки Брыля.

Знакомясь с ранним творчеством Я. Брыля, с рассказами и повестями военного времени, с жизненной дорогой писателя, невольно поражаешься, с какой силой рано пробудившийся талант подчинял все помыслы деревенского парня одной цели: писать. В деревенской избе, когда все спят, в немецком плену, шлифуя в памяти то, что писал когда-то и что запишет, завершит потом, в партизанах, пользуясь любой возможностью, он писал и писал. Пока был в фашистском лагере как польский военнопленный, мать прятала рукописи в семейном сундуке, никому не позволяя их трогать. Потом они были зарыты в партизанском тайнике вместе с бригадным архивом. Подошел случай — несколько произведений пересылаются за фронт в Москву с лаконичной надписью: «Союз писателей. Максиму Танку».

И сам автор, и его мать, и партизаны верили, что литературный труд его — не просто забава, что это понадобится людям.

Если одним словом определить характер таланта Я. Брыля, так слово это — нравственный. О чем бы он ни писал, за всем ощутима повышенная требовательность к себе, к тому, чтобы слово светлым лучом входило в жизнь, даже если не о светлом и не о радостном оно повествует.

Вот рассказы, с которых начинался писатель Я. Брыль — «Марыля», «Праведники и злодеи». Написаны они молодым деревенским парнем в 1937—1938 годах о той западнобелорусской действительности, которая окружала его. Они жили в глубинах памяти в годы войны, потом были доработаны и напечатаны уже советским писателем.

¹ Архив Института литературы имени Я. Купалы АН БССР.

«Радостно было, что не придумываю, не забавляюсь, а пишу жизнь,— вспоминал потом он в заметке «К автобиографии».— Девчат таких, как Марыля, таких баб, как свекровь и Стэпка, мужиков, как Иван, старый Жук, Микита, видел я много, хватало их в одном только нашем Загорье».

В рассказе «Праведники и злодеи», содержание которого подсказано Я. Брылю самой западнобелорусской действительностью, чувствуется воздействие Льва Толстого, который и поныне — самая большая его литературная любовь.

Кулаку Грибу не спится: «голодранцы», мужики делают порубки в его лесу. Почему лес именно его, он не задумывается. Он купил лес по закону, и закон на его стороне, религия и мораль также защищают его от тех, кто ничего не имеет, от «злодеев».

Кто же они, эти «злодеи», кого так ненавидит Гриб? Это Костик и Шурка — дети веселого и трудолюбивого портного, горбуна Лапинки. Портной Лапинка живет «с мозоли», он богат разве только на слово, фантазию да человеческую ласку; кроме умных рук, хорошей жены и детей, у него ничего нет. Он, рабочий человек, не может согласиться с тем, что все необходимое ему принадлежит таким, как Гриб. Поэтому Лапинка не видит никакого «воровства» в том, что его дети ходят в лес за поленцем дров. Что касается самих «злодеев», которые должны почему-то остерегаться Гриба, то в их представлении Гриб — нечто совсем уж нелепое и ненужное. Им никакого дела нет до того, что «хозяин» леса считает их преступниками. Разве перестало бы солнце ласкать их румяные от мороза мордашки, если бы кто-то решил, что солнце принадлежит только ему? Или если бы снег, его радостная белизна принадлежали Грибу, разве это интересовало бы их? И лес для детей такое же «ничейное» и одновременно «ихнее», принадлежащее им, как и солнце, голубое небо, морозный воздух, искристый снег. Все, если бы смогли, сделали своей собственностью разные грибы, и именно они — «злодеи», они, а не кто-то другой. В рассказе «Праведники и злодеи» столько света, чистоты, живых детских голосов, улыбок! Рядом со всем этим мрачный Гриб — что-то в самом деле противоестественное.



Янка Брыль, которому не довелось вместе со своими односельчанами встретить дома счастливый день освобождения Западной Белоруссии в сентябре 1939 года (он уже томился в фашистском плену), вошел в советскую жизнь через партизанский отряд. И когда Беларусь была освобождена от немцев, в советскую литературу вступил достаточно умудренный жизнью писатель.

Одно за другим пишет он произведения о том, что подсказала ему партизанская и послевоенная жизнь: рассказы «Мой земляк», «Один день», «Лазунок», «Снежок и Гуленька», цикл лирических рассказов о западнобелорусской колхозной деревне, повесть «В Заболотье светает».

Именно в это время особенно утверждается в творчестве Я. Брыля открыто поэтическая, пафосно-лирическая манера повествования. И это понятно. Писатель переживал не только общую всему народу радость победы над страшной фашистской наводчю, он встречал и свой «сентябрь», тот, который не пришлось ему видеть в 1939 году.

Правда, в колхозных зарисовках Я. Брыля («Ой, ленок, ленок мой чистый», «Ревность» и др.) заметна однотонность, нет в них того богатства жизненных красок, которое характерно для лучших его произведений.

«Бесконфликтность» повредила рассказам Я. Брыля этого периода. Но некоторые удались ему по-настоящему. «Галя», например. Рассказ «Галя» — своеобразная «песня без слов». У хуторского забора стоит женщина и вслушивается в гудение трактора. Туда, где тракторист Сергей, рвутся мысль, память, чувства Гали — жены хуторянина. Жизнь Гали сложилась неудачно. Любимого ее — комсомольца Сергея — паны посадили в тюрьму. Не смогла Галя уберечь себя от нелюбого Миколы Хамёнка, пошла за него замуж...

Обо всем этом горько вспоминает Галя, стоя ночью у своей хаты и вслушиваясь, как гудит трактор, на котором ее Сережа — ее несуществившаяся мечта о счастье, ее любовь. Много перемен произошло с того времени, как Галя стала наймичкой в доме собственного мужа, переступила порог этой «чертовой ямы» — хутора: изгнание панов, война, снова освобождение. Многие изменилось, неизменной осталась неугасимая мечта Гали о счастье, любовь к Сереже...

Когда Я. Брыль вот так рассказывает о судьбе человека, мы все время ощущаем: это действительно близко ему самому. И в «Гале» Я. Брыль остается лириком, но лириком более глубоким, разносторонним, чем в колхозных зарисовках.

Однако сказать просто, что Я. Брыль лирик, — это еще очень мало. Понять своеобразие письма Я. Брыля — это значит установить, в чем секрет того, что лиризм, эмоциональность рисунка у него так удачно сочетается с редкой выразительностью, чистотой, пластичностью. То, что Я. Брыль рисует, читатель видит. Секрет такой зримости, пластичности в постоянном стремлении этого художника ко всему, что есть «живая жизнь».

Янку Брыля отличает широта взгляда на мир, умение видеть человека во всем богатстве и естественности его связей не только с обществом, но и с миром природы.

«Она смеется. Я сижу возле ведра на земле, и мне так хорошо глядеть на веселую маму. Хорошо также смотреть, как мой Снежок сидит на краешке ведра, вцепившись в него красными морщинистыми лапками, а в воде, по мере того как она успокаивается, все отчетливее отражается его белая грудка.

Но вот он наконец напился. Взглянул на нас, нахохлился, как будто рассердился, и вскочил в ведро.

— О, вот так так! — И мама замахнулась на него.

— Ты не гони его, — кричу я, — не гони! Пускай искупается!..

...Снежок воды не замутил. Когда он искупался и мама поднесла ведро к порогу хлева, Краснушка стала спокойно пить. Пьет она так же жадно, как голубь... Краснушка пьет, а мне хорошо смотреть, как быстро опускается в ведре вода. Потом корова чмокает губами, высасывая остатки воды, и жадно облизывает мокрое деревянное дно шершавым щекочущим языком. Я с удовольствием подставляю свою маленькую ладонь под холодную, мокрую морду».

Талант Я. Брыля по-настоящему жизнелюбивый. Удивительно радостно, широко открытыми, точно в детстве, глазами умеет он видеть жизнь. Правда, иногда случается, что рисунок Я. Брыля как бы теряет выразительность, за чувством начинает проглядывать чувствительность. Но у писателя есть то, что хорошо противостоит сентиментальности, — здоровый, сочный, народный юмор. Собственно говоря, «чистая лирика» — не самое сильное в стиле Я. Брыля. Значительно сильнее этот художник там, где лиризм его как бы уравновешивается вот-вот готовой вспыхнуть усмешкой, а драматизм и даже трагизм — мудрой народной рассудительностью. Чувство авторской влюбленности в героя в рассказе «Мой земляк» необыкновенно сильно ощущается именно потому, что автор как бы прячет это чувство за усмешкой. Вот стоит Павлюк перед партизанским командиром, которому он обязательно должен понравиться, потому что его «незаконно» привели в отряд. Он дипломатично намекает командиру, что знает «славное местечко», где можно раздобыть пару «бомбочек».

«А я почему-то смотрю на его огромные сапоги. Колени уже присогнуты на полпути от «смирно» к «вольно» и одна ступня отставлена, в явное нарушение дисциплины... Павлюк делает шаг вперед и по-приятельски говорит:

— А вы моего, товарищ командир, мультанчику... А то вы, я вижу, какую-то там труху курите. Эх, и хлопцы же у вас: чего-чего — а табаку чтоб не раздобыть!..

— Им бы только за девками, язви их душу, — совсем уже добродушно ворчит Иван Кузьмич, залезая тремя пальцами в кисет Павлюка...

— Язви его душу, хор-рош!

Я не курю. Мне мультан, не мультан — один черт. Табак и есть табак,— что в нем может быть хорошего! Я уверен, что слова эти — о моем земляке».

Такая вот пластичность, зримость рисунка — характернейшая особенность и достоинство стиля Я. Брыля. Умение раскрывать поэтичность самой жизни придает большую эмоциональную силу прозе Я. Брыля. Глубина лиризма Я. Брыля определяется тонким проникновением в психологию человека, в «тайное тайных» человеческой души.

Повествуя об одном только дне в жизни нескольких партизан (рассказ так и называется «Один день»), Я. Брыль смог удивительно много сказать о войне и человеке на войне.

Даже в самых трудных условиях партизанской жизни, когда смерть подстерегала разведчиков каждый день, в них жило ощущение устойчивости «партизанского мира».

Внезапно началась блокада, партизаны нарвались на засаду. Три человека, один из которых ранен,— это все, что осталось от отрядной разведки. Неожиданность случившегося, сознание, что кругом враги,— и вот на какое-то время люди потеряли недавнее чувство внутренней связи с большим партизанским миром. Не побоялся Я. Брыль до конца раскрыть человеческие души, подавленные внезапным страхом и беспомощностью. Показал, как близко они оказались не только к смерти, но и к чему-то более страшному: как, поддавшись самому трусливому из всех, чуть не предали женщину и ребенка, понадеявшихся на их защиту. И как все же победили они страх, предательскую слабость, победили самое смерть.

Творчество Я. Брыля свидетельствует, что поэтическая традиция, которая особенно свойственна была белорусской прозе в двадцатые годы, и сегодня сильна и плодотворна. Но она плодотворна при том условии, если писатель, подобно Я. Брылю, не обошел, не игнорирует опыт прозы аналитической, психологической. Только в этом случае он не впадет в стилизацию, не подменит поэзию жизни «лирикой слов», как это именовал М. Горький.

За поэтичностью у Я. Брыля — глубокий психологизм, пластичность и наконец — острая социальность. В произведениях, написанных после 1953 года, социальная тенденциозность как бы выступила на поверхность, открыто публицистическое слово, зачастую памфлетное, становится важной особенностью стиля многих рассказов и повестей Я. Брыля («На Быстрынке», «Привал», «Субординация», «Смятение» и др.).

Характерным в этом отношении произведением можно считать рассказ «Привал».

Несколько машин остановилось на обочине дороги. Молодым шоферам весело, потому что они молоды, а день такой яркий, солнечный; один из них любит красивую девушку, другому нравится его работа, его друзья. И еще весело потому, что перед глазами у них Степанович — начальник их колонны, человек неплохой, но очень уж смешной: его просто распирает от нелепого старания на кого-то быть похожим. Его недавно повысили по службе. Теперь он делает все с подчеркнутой важностью, держится так, словно это не он, добрый человек Степанович, а кто-то другой.

Шоферам смешно наблюдать за ним. Особенно Сеньке Будаю, потому что он припоминает своего начальника, которого недавно возил, — Фомута. Не знает бедный Степанович, что тот, на кого ему так хочется походить, — это Фомут.

«...Пустое кажется слово — Фомут, может быть, даже никто и не слышал, чтобы он так слово хомут выговаривал, а вот, брат, как надели как-то на эту голову кличку Фомут, так и сбрасывать никому не хочется. В министерстве был — Фомут, и сняли — Фомут, и снова посадили — Фомут...

И вот сидит он за столом — не мигая даже, точно какой-то бог. Один только раз за девять месяцев попал я в его кабинет, да и то из-за Клавиной ошибки. Остановился я, известно, на пороге. «Звали, Борис Борисович?» Молчит. Потом вижу — глядит он на меня и губы шевелятся, а ничего не слышу... Понял я — далеко. Двинулся к столу. Шел, шел, добрался до середины ковровой дорожки, слышу: «Позовите ко мне секретаря!» ...Пошла, выходит из кабинета — раскраснелась!.. Простите, товарищ Будаи, это моя ошибка: послала вас, а мне сказали только передать вам, что за Ленкой сегодня не в пять, а без четверти пять надо заехать!»

О «фомутах» Я. Брыль не может не писать памфлетно. «Это уже, брат Степаныч, не пережитки капитализма, — тут мой Фомут, пожалуй что, и самого феодализма зачерпнул!»

Та же открытая тенденциозность, страстная заостренность присутствуют во многих рассказах Брыля последних лет и в щедрой россыпи его миниатюр «Горсть солнечных лучей». Чрезвычайно интересно это у Янки Брыля и весьма характерно для него: сочетание самого задушевного лиризма с самой открытой публицистической тенденциозностью. Я. Брыль разговаривает с читателем очень интимно и вместе с тем «во весь голос», как бы вынося свой разговор на суд многих.

Таким предстает рассказчик и в небольшом цикле «Под говор костра». Казалось бы — всего лишь рыбацкие зарисовки с неизбежными закатами и ночными разговорами. И с юмором рыбацким. Действительно, все это есть: и живой юмор, и жанровые сценки, и ли-

рическое раздумье, щемящие воспоминания о партизанском прошлом знакомых мест и знакомых людей. Интонация очень задушевная, интимная. Но эта интимность голоса рассказчика, лирическая окрашенность не только допускает, но и предполагает публицистическую внезапную страстность, заостренность интонации. Вот рыбаки заглянули к колхозным дояркам, для которых берега Ясельды — не полещущая экзотика, а будничная, повседневная жизнь. Жизнь с нелегкой работой, с девичьими песнями, танцами, но без ребят («...Кто в армии, кто в город поразъехались, разумники»), с надеждами начинающейся молодости и с грустью — уходящей и ушедшей.

«Когда мы помогали вам носить с берега полные бидоны молока,—признается вдруг рассказчик,—я рад был, по правде говоря, что вокруг ночь, что не видно, как даже я, мужчина, и не из слабых, сгибался. А вы же их носите, вот так же на плече, да трижды в день, да ежедневно!.. За партизанское и фронтовое лихолетье, кровавый труд и непоказное мужество, за ваше детство со слезным дымом землянок и нечеловеческим голодом вы заслужили больше того, что имеете.

И в самом деле — пусть бы хоть время сейчас не бежало так быстро, юность пускай бы не уходила под хриплое вяканье задержанного патефона в одинокой хате за озером, с единственным «кавалером», который и семейный давно, и весел, лишь когда выпьет...»

И уж открыто публицистичен автор, когда он говорит о тех из пишущих, которым такая «просто жизнь», жизнь «без характерных черт современности» кажется чем-то таким, о чем лучше не упоминать.

«...Не учись черствому равнодушию да скользкой гибкости у тех, кто долго лгал и все отдал этой трусливой или корыстной лжи. И душа у него, словно торба пустая, дырявая, а писать он хочет еще и сегодня. Да не просто писать, а, по привычке, учить...»

Читая произведения Я. Брыля последних лет, новеллу «Надпись на срубе», рассказы «Ей мы не скажем», «Memento mori» и особенно роман его «Птицы и гнезда», видишь, что прозаику этому под силу, по-своему, в своей особой манере, выразить всю правду жизни, какой бы суровой и тяжелой она ни была. Я. Брыль настоящий «поэт в прозе», но, возможно, потому настоящий, что не старается им быть. Наоборот, он сопротивляется чрезмерному приближению к поэзии, избегает «певучей» фразы. И если в его строках звучит музыка, то это музыка самой жизни, которую он умеет слушать. «Музыку» прозе Я. Брыля диктует, даже навязывает, сам материал — красота, радость, боль человеческого бытия.

Вот рассказ «Двадцать».

Чудесная, «вечнозеленая», лазурная «страна песен» Италия.

«Слушай, амиго!

Глядя на тебя, я не мог не думать о том, что такие же, как ты, веселые и работающие парни побывали не только в Абиссинии, но и на полях моей родины... Но я, однако, не хочу обращаться к печали и злобе. Я хочу рассказать тебе о тех, что больше не вернутся под ласковое небо своей Италии».

Их было двадцать.

Им, итальянцам, гитлеровцы приказали расстрелять жителей белорусской деревни.

«Слушай, амиго, как перед строем палачей плачет на руках у седой бабушки светловолосый мальчуган!.. В одной рубашонке, с теплыми ножками, не вовремя поднятый с постели у отворенного окна. Прислушайся к предсмертному гулу, встающему над толпой безоружных людей, осужденных на страшный конец!.. Слышишь команду: «Огонь!» — на которую все двадцать винтовок твоих соотечественников ответили молчанием?»

Эти безымянные двадцать не пожелали «ценой невинной крови купить даже возвращение сюда, в свою неповторимую, прекрасную Италию».

Все они лежат в братской могиле вместе с жителями белорусской деревни.

Солнечные брызги вокруг катера, беззаботный смех «синеглазого амиго», лазурная красота Италии — все это как песня в честь «двадцати», в честь человеческого братства. И хотя с болью рассказывает свою историю писатель, слова его поют. И мы чувствуем: так оно и должно здесь быть.

И еще одна черта многогранного поэтического стиля Я. Брыля, которая особенно определилась в его маленьких новеллах «Двадцать», «Memento mori», «Мать», — это драматический накал чувств.

Подвиг старика, не пожелавшего принять жизнь из рук убийцы его односельчан («Memento mori»), — это та моральная вершина, до которой нелегко подняться человеку, но которая для народа даже не вершина, ибо сама жизнь народа — непрерывный подвиг. Я. Брыль не испытывает нужды в каких-то особенных «балладных» словах, чтобы рассказать о самых высоких, драматических моментах в жизни людей из народа. Ведь сами эти люди идут на подвиг так просто, без позы. Как старая женщина в рассказе «Мать».

Война. Пришли немцы. На столбах и стенах приказы, в которых обыкновеннейшая человечность объявляется преступлением, карается смертью.

Однажды в окно постучали.

«Как ведется испокон веку, она сначала прижалась лбом к стеклу, поглядела». Поняв, что это те, о ком написано в суровом не-

мецком приказе, женщина, не колеблясь, открыла дверь, как открыла бы собственным сыновьям.

И встретила она «чужих» сыновей очень обычными словами:

«— Заходите, хлопчики! Я вам хоть молочка...»

Так же просто она пошла на смерть.

«Мать не ведала, кто она. Она не догадывалась, что не только с ужасом глядят на ее путь встречные, что образ ее останется в сердце многих мужчин горьким, неумолимым укором, что глаза и руки ее вспоминать будут даже сильные люди, прогоняя из души последний страх перед ночной партизанской атакой».

Идя на смерть, не о себе думала женщина, о сынах была ее думка: «Сохрани их, боже, всех троих от пуль, дай им всем увидеть материнскую могилу!..»

Мать не знала, кто она. А писатель знает, из души его рвутся страстные слова, гимн подвигу Матери. Однако сама крестьянка-мать так просто совершила свой подвиг, так по-обычному пошла на смерть, что писатель как бы боится нарушить и оскорбить суровую правду жизни неосторожным, крикливым словом.

Богатый многогранный талант Я. Брыля в самом расцвете. Его рассказы и повести много раз переводились на русский язык, известны они польскому, чешскому, болгарскому читателю, многие переведены на английский, немецкий, китайский языки.

Судьба западнобелорусского крестьянского парня неотделима от судьбы его края — наднеманского белорусского края, который виден сегодня издалека.

Александр Адамович

Р А С С К А З Ы

ПОД ГОВОР КОСТРА

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Сперва бывает разлука, время от времени намеки в Списьмах, особенно ближе к весне, ну, а потом, наконец, и встреча. Фундаментальный, торжественный осмотр и всестороннее обсуждение блесен, жилок, крючков; заготовка продуктов, специй для ухи; переоблачение в одежду, которая значительно приблизит нас к природе... И вот — выходим. С целыми колчанами разнокалиберных складных удилищ, оверблуженные рюкзаками, весьма серьезные, даже важные на вид и, конечно же, всегда со сладостной, какой-то детской надеждой в душе...

Было когда-то у нас в деревне: самый как будто неподходящий для этого дела человек, тощий и желчный, отец большой, бедной и работающей семьи, вдруг неожиданно, на удивление соседям, увлекся удочками. Добро бы еще, как люди — на щуку ходил, а то ведь возьмет, словно мальчишка, два прута, баночку червей, несколько вареных картофелин или ломоть нечерствого хлеба и — задами — потопал на речку. Что касается рыбы, ее, известно, мало кто видел, а вот как он, дядька Рыгор, оправдывался — кто постарше, помнит и по сию пору. Да и не только те, кто постарше, все рыболовы нашей деревни лет уже тридцать утешают себя при неудаче:

«Не в том, брат, интерес, чтобы зацапать, а в том, как она берет!..»

Так утешают себя, разумеется, в конце рыбалки. Ну, а поначалу...

Да впрочем, ближе к делу.

Погожим июньским деньком, уже к вечеру, на старом рейсовом катере «Партизан» прошли мы километр тридцать по Березине, вверх от Бобруйска, и капитаны высадили нас на диком берегу — по нашей просьбе.

Тут-то оно, как сулил по пути Андрей, и начнется.

Однако стемнело еще до почина, и слишком уж быстро. Не только не поймав ничего, но и не намахавшись вдосталь, мы вспомнили про ночлег. Все — впереди!.. Пошли по росному лугу в недалекий лес. Вскоре весело горел сушняк, шкворчало и капало надетое на прутики сало, была и чарка, и хороший разговор, на том пределе мужской откровенности, что не часто приходит, да и то — по особому вдохновению... Потом Андрей мой захрапел, а я решил дежурить.

Над лесом — полная, таинственная луна. Смейтесь, если смешно, а мне всегда и грустно как-то, и хочется петь, когда я остаюсь с луной наедине... Сейчас я даже сигналию ей огнем. И костер мой трещит живым сосновым треском. Подбросишь ветку-другую, пламя так жадно накинется на хвою, что шум его напомним отдаленные раскаты грома. За центром мира — за костром — звучат вокруг и другие голоса жизни. На дальних подступах жалобно ноют комары — почти не слышно. Однообразно и назойливо, как графоман, скрипит дергач. Сыто, самодовольно кряхтят лягушки. С вечера за рекой долго слышалось натужное, с паузами, хрюканье автомобильного мотора: где-то в низине сражался с грязью грузовик. Позднее, около полуночи, по реке прошел последний пароход, неумоимо, мерно работая плицами, над самым берегом протянув веселый пунктир оконных огоньков, которым тоже не спится...

Не спалось мне, признаться, отчасти и оттого, что я как-то странно, безотчетно побаивался, не загорелся бы, чего доброго, лес, если оставить костер, не набрел бы кто-нибудь на сонных да не посмеялся над нами... А главным образом, не спалось от мыслей.

Не от глубоких. Я и вообще не знаю, когда именно наши мысли бывают глубокими. Просто мне вспомнилось то, о чем думал уже не раз. Говорят иногда: «Давай сыграем в карты, а не то к Алесю сходим, поболтаем — время скорее пройдет...» А я вот кончаю четвертый десяток и все сильнее чувствую: оно идет, оно бежит — безжалостно быстро. И страшновато уже становится, и обидно,

что увидено и сделано так мало!.. И хочется запеть под тихим чистым небом, наедине с собой. Чаще всего — ту, простую и глубокую, как сама жизнь, песню об одиночестве на кремнистом пути...

На Березину отправились мы, ясно, до рассвета.

Над лесом — все та же луна, только побледневшая. В росной траве, от леса — темная стежка наших следов. Огромный, багряный круг солнца за деревьями. Красивая, ласковая и, верится, не скупая река...

Но тут, как говорится, жизнь внесла поправку в наше поэтическое, почти молитвенное настроение. Дикую, варварскую поправку! Черт его знает, откуда возникнув, сперва послышалось чиханье мотора, а потом глухие подводные взрывы. Какой уж теперь спиннинг и какое там настроение!.. Когда они, гады — шесть человек на служебном катере с цинично звучащим при этом случае названием «Прогресс», — поравнялись с нами, мы начали разговор... Да что ж, на нашей стороне было лишь справедливое гражданское негодование, а у браконьеров — грубая сила, современная техника и полная, не отягченная какими-то там моральными тонкостями, недосыгаемость на широкой, глубокой воде. Огрызнувшись напоследок: «Стоите, мол, так и стойте себе!» — они тут же за поворотом ухнули новый заряд. И дальше... И опять... Теперь хочешь — иди вверх, хочешь — вниз по течению: счастье будет то же.

Так мы и проходили до полудня, поймав на двоих одну рыбешку...

Уха, однако, была. Горел заправский костер на песчаной косе, создавая впечатление удачи, пахло жареным луком, горячим салом и, если хорошо принюхаться, даже рыбой. В солдатском Андреевом котелке, один на просторе, то нырял, то всплывал в бурлящей воде, вместе с картошкой, бельмастый окунек... В неутешной печали мы допили свою «Беловежскую горькую», повеселев, искупались, и я уснул. Под дубом, на густой прохладной и душистой овчине муравы.

И приснился мне — словно в утешение за мысли ночные и грустное утро — радостный сон.

Вот я — такой, каким был в двадцать лет. Вчера привез с луга последнее сено, вечером славно искупался, лег на сеновале, но зорьки не проспал, хотя и воскресенье. Потому что поднялся писать, и, боже мой, как мне

писалось все утро, какой это будет хороший — от золотой земли до самых белых облаков — рассказ!..

Зной стоит над спелой рожью, над покосами, над полосками темно-зеленого, пестреющего белыми цветами картофеля... А я, по гладкой тропке в подорожнике, еду на тихом, быстром велосипеде и уже целую, закрыв глаза, в мыслях целую горячие губы моей недавно обретенной, ни с кем, ни с чем не сравнимой радости. И все кругом — мое, и все еще впереди, и я сделаю так много хорошего, чудесного — о, я сделаю непременно...

И хотя вокруг никого нет, хотя никто не идет, не стоит у меня на пути, я нажимаю на лапку блестящего звоночка, и он, как проснувшийся жаворонок, серебряно цвиринькает в спокойной колосистой ржи. Еще и еще, и еще раз!..

И уже их много вокруг, таких звончков-колокольчиков, они даже, будто бы, сине-лиловые и пахнут, как в сказке. И все звенят, весело и настойчиво звенят!..

И я, наконец, открываю глаза.

Переворачиваюсь на спину, гляжу на серые дубовые ветви, в неподвижную гущу листвы. Вспоминаю, как мать меня, еще более юного, чем во сне, посылала к соседям — попросить позволения нарвать у них во дворе дубовых листьев в огурцы. Солить их будем, так надо, чтобы до самой весны были крепкие. Вспоминаю Гоголя. Именно такого, каким я жил в те дни: с безудержным, неиссякаемым и, как спелые яблоки, сочным и вкусным смехом.

«Прекрасные жита по дороге! Восхитительные!.. Странно, что перепела до сих пор нейдут под дудочку...»

А потом вспоминается и то у Гоголя, чего я когда-то не мог постичь так глубоко, так горько, как сегодня, с дистанции времени.

— «О моя юность! О моя свежесть!..» — со вздохом шепчу я, и слова эти до самой глубины души становятся, как никогда раньше, моими.

Но что это — я уже не сплю, а колокольчики все еще звенят?

Сажусь. Обнаруживаю, что рядом со мной спит Андрей; походные наши манатки — разбросаны на траве; солнце уже склонилось сильно за полдень; костер на песке давно, видно, стал золою, а рядом — немытый котелок да косточки от жалкого, однако по-братски поделенного улова...

Да здравствует покуда проза! Андрей со смаком похрапывает, лежа на спине. Хлопаю его по животу и, разбудив, говорю:

— Ну что, «не в том, брат, интерес, чтобы зацапать»? Вставай, послушай. Что за музыка! Андерсеновщина наяву.

Мы закуриваем, сидя на траве, и вкус душистого, терпкого дыма окончательно возвращает нас к реальности.

А они все звенят!..

Уже не только я, но и Андрей их слышит.

— Пошли на пригорок, — говорит он. — Посмотрим.

Мы поднимаемся наверх, и тут нам открывается секрет всей этой музыки.

На разномастных конях — целый табун — кто просто верхом, кто боком, а кто и на мешочке с сеном, широким фронтом едут, едут, едут цыгане. Одни мужчины. Все в сапогах, а сами небритые. И у каждой лошади — на шее колокольчик...

Да что ж это за диво такое?

Тут уже скоро сорок лет после победы пролетарской революции, тут уже кругом — «хоть три года скачи» — колхозно-индустриальный социализм, «кто не работает, тот не ест», а они, зубокалы да лодыри, точно позируют для самой что ни на есть широкоэкранный, цветной и эпической кинокартины из прошлого. На собственных лошадях, вона, как здорово выгулянных на дядиной травке, топчут себе незаконно средь бела дня общественный покос и — хоть бы что! Черномазые, бородатые и безбородые, курчавые, в кепках и с непокрытой головой, дай боже — кузнецы, а не то конокрады, шулера или просто свободные художники на содержании своих языкатых, рукастых гадалок. Едут вот, беззаботно смеются и хмельно гомонят. Сытые кони то наклоняются щипнуть высокой травы, то стригут ушами, скалят зубы и лягаются с визгом, то просто идут куда-то, старательно, даже весело идут... И необычно, может, совсем неслыханно в этих местах, тельнекают, радостно перезваниваются, болтают колокольчики...

— Лошадей, видно, поить, — отозвался наконец Андрей. — Вон там брод, за вербами.

Он неожиданно засмеялся.

— Ты чего?

— «Ходят немцы и оббивают берег леса».

— Ну?..

— А это, брат, во время блокады... Немцы и их, цыган, гоняли по пуще, уничтожить хотели, вроде как партизанских помощников. Мы в те дни как раз на железку пробирались, выкручиваясь от карателей, и повстречали целый цыганский табор. «Откуда идете?» — «От Рудни», — говорит самый лохматый бэчка¹, вожак. «А что там слышно?» — «Ходят немцы и оббивают берег леса». И стало это выражение в нашем отряде крылатым. Не принесет, скажем, разведка толковых данных, так и смеются над ней: «Что, оббивают немцы берег леса?» И толмы с тех пор называли цыганским мылом.

— Почему?

— Да как-то прибились они было к нам опять. Оборванные, голодные — страх смотреть!.. Борис наш как раз тогда барашка свеживал. Цыганята набросились на требуху — давай руками рвать и глотать. А руки, видно, сроду немытые. Борис дал им мяса. Бросят кусок в огонь и, не долго мешкая, хватают прямо из жара руками да в рот!.. Накормили мы их и с собой дали. А сами уехали, кажется, гарнизон в Таричах громить. Так они в наш лагерь прокрались — там один часовой оставался, разиня, — и все разворовали. Даже тол. Думали — мыло... Помощники! Не доросли они еще помогать... Вообще, браток, коню цыганскому под хвост такая вольница!..

— Ну, а теперь, куда они теперь? Зачем им звон такой?..

Попозже, от встречного человека, мы узнали, что неподалеку отсюда, на опушке, второй уж день шумела цыганская свадьба. Гости-мужчины просто ехали к реке.

А все же и от этого объяснения, и от Андреевой трезвой правды дело не стало обычным.

Вот уже сколько лет прошло, и цыгане вроде не кочуют, вновь привыкая к оседлой, трудовой жизни, — а оно нет-нет и вернется опять... Что оно? Да луг цветущий, сытый табун, колокольчики. Несметное множество маленьких, звенящих колокольцев!..

И эта картина (для скептиков — анахронизм) примиряет тебя с рыбацкой неудачей...

Впрочем, рыболов я, даже и мягко говоря, неважный.

¹ Б э ч к а — батка в цыганском произношении.

Мне тоже куда интереснее «как она берет». А не берет, так есть впечатления, раздумья, встречи. Их всегда хватает. И они, по правде говоря, всего дороже. Потому что у меня порой и зависти нету рыбацкой. Вот и сейчас — могу даже признаться, что того окунька на Березине поймал, конечно же, не я...

ЩЕДРАЯ ЯСЕЛЬДА

Местечко это было присмотрено еще из окна автобуса.

Бескрайние полесские луга; широкая спокойная река, обрамленная ольшаником и лозняком; высокий, длинный неоконченный мост; домик дорожного мастера, к которому с насыпи за мостом спускаться надо по крутой тропке, почти кубарем, весело.

Была суббота, вечерело, рабочие с моста уже ушли, — нигде ни души. Только над домом дорожника, еще сильнее подчеркивая целительную тишину и пустынность, чуть дымилась труба.

Однако тогда остановиться здесь мы не могли. Костер наш заговорил над величаво-тихой Ясельдой лишь на третий день.

Из зеленого лесного городка сюда приехали с нами два молодых учителя, Геннадий и Микола.

Планировалась рыба и уха. На рыбу была у нас надежда, с утра даже уверенность, два спиннинга и четыре удочки. Для ухи хлопцы взяли свою холостяцкую кастрюлю и несколько картошек. Соль, лук, перец и лист лежали в одном из наших рюкзаков. Ну, а вода, конечно, там, где и рыба.

Слышал я однажды на Соже, как пассажиры пароходика, обгоняя плоты, кричали плотовщикам: «Дядька-а, может, воды дать!» А те даже головы не поворачивали — такая скука залегла, казалось, на длинных, медлительных «лавах» сосновых бревен...

Нам тоже хватало воды. Воды, зелени и солнца. Зной держался весь день на самой грани готовой вот-вот разразиться грозы. Кругом, низко над горизонтом, хмури-

лось, погромыхивало, таинственно и угрожающе, а дождь все не шел. И рыба не хотела брать. Ни на блесну, ни на наживку. Уверенность наша была утеряна быстрее, надежда — продержалась дольше. И некому было крикнуть с другого берега или с лодки:

— Дядька-а, может, рыбы дать?!

А уха нам была необходима. Ведь не могли же мы просто так отпустить этих милых дружных юношей, которые оказали нам столько внимания дома, а сегодня проводили даже сюда... И понятно, что, как только из-за камыша к нам приблизились на лодке два местных рыбака, прощупывая этот берег сетью-трегубицей, мы, почти не сговариваясь, дружно пошли на позор... Словом, обед был рыбацкий.

Только тогда, уже сильно под вечер, с относительно легким сердцем отпустили мы с Андреем наших гостей на автобус, а сами засели в излучине с удочками.

И тут-то, как назло, рыба стала клевать. Плотва. На хлеб.

Благословенное зеркало спокойной глубокой воды. Самодельный, из гусяного пера, или сине-белый покупной поплавок. Его тревожное, волнующее подрагивание. Решительный момент подсечки и — вершина радости рыболова — живое сопротивление!.. Как хорошо, что все это так свежо и непосредственно волнует тебя с самого пастушьяго детства, дает так много тихой радости, не тревожа вопросом: рыбак ты или ни то ни се?! И речка, и небо, и веселый, несмолкаемый птичий щебет, или солидный гул самолета в вышине, идиллический призыв пастушьей трубы, или звук всегда почему-то хрипловатого пионерского горна — все теперь полно великого и глубокого смысла, проникнуто радостным ритмом вечно молодой бодрости, новой и бесконечно свежей красотой.

То и дело с крючков в высокую траву шлепались трепещущие плотички.

А что-то нам все мешает... Под большим лозовым кустом, справа от нашей излучины, что-то все плещется, булькает, фырчит... Ну что за черт?! Андрей осторожно полез в куст, молча пошарил в воде сухой веткой, пожал плечами, плюнул... Вдруг под бугром, на котором я сидел, послышался шорох. Кто-то полз под землей, шелестя чем-то сухим. Потом — этот кто-то затих. А я поджидал его с почти кошачьей настороженностью. Опять шелестит!..

Тихо. Андрей снова сидит с удочкой. И вот под кустом этот самый кто-то опять начинает свою возню — словно пленки полощет, а потом будто купается, плавает, тихо и весело, без лишнего плеска, стараясь не рассмеяться над недоумением обескураженных рыболовов.

— Выдра,— сказал наконец Андрей.

Не считая клеток зоопарка, мне только однажды довелось видеть ее живую, и довольно близко. Я лежал в траве, задумавшись, глядя на реку; в зарослях аира стояла на привязи лодка; и вот на лодку она и выбежала, очевидно уверенная, что никого вокруг нет. Пробежала по борту до самого носа и тихо, не по-бобринному тихо нырнула.

Есть что-то необычайно приятное в таком вот молчаливом созерцании. Так подкрадывался я когда-то юношей к куликам на броне. Даже рассказ об этих счастливых минутах начал. Он пропал во время войны, и я нередко вспоминаю о нем с какой-то странной грустью, словно о чем-то безвозвратно дорогом...

Показаться — ну, такой чести мы от выдры не дождались. Да и нас она, должно быть, не видела, потому что не затихала под кустом до самой ночи. И здорово нам надоела, несмотря на всю эту экзотику.

А плотва клевала, не обращая внимания на плеск выдры. До самых сумерек клевала, пока и этим счастьем мы не насытились. Выпотрошив свой, сегодня неожиданно богатый, улов, мы разложили его на росистой траве и накрыли мокрым аиром — до утра.

С ночлегом тоже повезло. Невдалеке от нашей богатой излучины мы еще днем заметили недавнюю, скорей всего пионерскую, стоянку — два лежища из сухого уже аира и веток и целую гору ольховника, не сожженного добрыми людьми за ночь. Одно лежище мы оставили, а другое, разобрав, подтащили к куче хвороста. Заплясало веселое, фантастически красивое пламя...

Снова была добрая беседа. Снова полное смысла молчанье. И радость постижения — мира и людей.

Чуть не на каждом дворе сохнет бесконечная паутина рыбацких сетей. Чуть не на каждом хлеву или хате — аистово гнездо. Аистята, разморенные зноем, беспомощно раскрывают еще не покрасневшие клювики, а аиста

можно, кажется, привстав на носки, погладить рукой: и гнезда низко, и аист здесь — почти домашняя птица.

Среди этой лесной, луговой, болотно-песчаной, казалось бы, патриархальщины радостным чудом, уже обычным, выглядит новая школа-одинадцатилетка. Молодой, энергичный директор показывает нам классы, кабинеты и мастерские. И мне кажется, что ему и нелегко и радостно бороться с желанием хоть намекнуть как-нибудь, что он не пришел сюда из института на готовенькое... Но он и намека не обронил. Выходим во двор. Загорелый, в голубой тенниске и золотисто-соломенной шляпе, хозяин открывает гараж, с немалой затратой своей завидной энергии заводит старый грузовик, садится за руль, берет в кабину Андрея, и вот — широкой песчаной деревенской улицей — мы влетаем в лес.

После вчерашнего дождя, пригретый усердным, с самого восхода, солнцем, лес хмельно пахнет прелью и живицей. Ветки проказливо пытаются хлестать нас по лицу, но мы вовремя и охотно кланяемся — Геннадий, Микола и я. Теплый душистый ветер шумит в ушах, молодит щеки и заставляет весело жмурить глаза.

Лес переходит в поле, лесной дух сменяется хлебным. Какая славная рожь! Как ровно поднялась на торфяниках конопля! Походить бы в ее чаще через месяц, когда она встанет сказочным лесом, подышать бы тогда ее ароматом... За торфяниками — луга, прорезанные водяной стрелой канала. Что за прорва была здесь когда-то? Снова начинается лес. А вон и деревня, опять сети и аисты.

Тут мы останавливаемся возле праздничной толпы мужчин, директор наш, с присущей ему быстротой, договаривается с мотористом, тот забегают в хату, потом забирается к нам в кузов, и вот мы уже едем к озеру.

Бывалый грузовик скромно становится в тенек — как будто это не он так лихо примчал нас сюда. На берегу, у длинных мостков, привязаны четыре большие лодки.

Моториста зовут Роман. Это моложавый, приземистый крепыш в резиновых сапогах и кожаной кепке. Он отпирает свой «склад», просто будку из горбылей, вдвоем с директором они выносят и прилаживают мотор. Отталкиваем лодку и садимся. Капитан наш говорит что-то, взмахивая рукой, но мы не слышим его из-за грохота...



Моторы хорошо слушаются полещуков!.. Эта веселая мысль приходит ко мне уже на полном ходу, на зеркальном и теплом, кажется, безграничном просторе.

Костер наш вольно шумит на лугу над тихой и щедрой Ясельдой. Не смолкают птички в кустах. Назойливо зудят комары. В поднебесье время от времени пробормочет самолет.

Холодно было бы нам здесь, в зеленой мокрой пустыне, под космической беспредельностью,— холодно и тоскливо!.. Но у нас есть костер, и мы вспоминаем нашего далекого, закутанного в задубелые шкуры предка и не удивляемся, что он поклонялся, как первому богу, огню. У нас есть дружба, и мы то согреваемся словом, то молчим, каждый о своем, но все же не одинокие. У нас есть родная земля и родная жизнь, и мы то говорим об этом, то раздумываем, каждый видя свое, особое,— вспоминая новую, свежую красоту и мест и людей.

Я вспоминаю озеро; больше — вечернее и ночное.

Роман вернулся за нами на остров вечером, когда уже заходило солнце, и золотистая дорожка казалась на горизонте выпуклой, словно багряный шар тянул ее, как магнитом. Подбодренный чаркой и ухой, не очень разговорчивый до тех пор, моторист оживился. Повеселел даже его старый мотор. А все же до стада на другом берегу, за доярками и молоком, мы добирались долго.

Солнце зашло, и дорожка на воде, как полотно на лугу в руках у румяной девчины, свернулась, собралась в зарю. Впрочем, уже и багрянец зари стал наливаясь синевой и блекнуть. А все же на фоне ее, по мере нашего приближения, все отчетливее вырисовывался мягкий взлобок полевого берега, деревья, кусты, одинокая хата с тремя огоньками-окнами и силуэты коров.

К причалу, по отмели, мы шли на малых оборотах, а затем с шестом. Раньше, чем звяканье бидонов, женские голоса и звон тугих струй о ведра, слышали мы девичий смех и плесканье. Девчата купались совсем, кажется, рядом. Сумрак, еще более густой под сенью деревьев, заменял им купальники, о чем можно было догадаться по смеху да по кокетливым «ахам» над самой водой.

Директор и Андрей задержались на дворе с хозяином. Геннадий, Микола и я пошли за Романом в хату, откуда доносились голоса и музыка.

Это доярки помоложе, кто справился раньше и не пошел купаться, крутили патефон. Встретили они нас приветливо. Поставив в угол свои рюкзаки и брезентовые футляры с удилищами, не только без шапок, но и босые, мы расселись между девушек на лавке. Затеялся разговор.

— Работа, говорите, тяжкая? Так нам же не привыкаты. Только страшно бывает ночью, как витёр завоет, а Гозыро — ой, матинко! — как разгуляется, а Романов моторчик, трясца ему, закрихтит, зафыркает и загложнет... Ну ты, перестань, Роман! А то получишь по рукам. Больно ты сегодня расхрабрился... Хлопцев в нашем селе нема. Кто в армии, кто в город поразъезжались, разумники... Там веселее, ого!..

Говорила это моя соседка по скамье, девчина уже, даже по речи узнал бы, на возрасте, которой куда больше подошло бы не жаловаться вместе с другими, а быть спокойной и счастливой молодницей. Вот как эта черноглазая, что меняет пластинки и только молча глядит на нас.

Самая молоденькая из их пятерки, Ганночка, на днях окончила семь классов. Личико — почти детское, а косынка, как у взрослых, завязана «под бороду». Да и по всей ухватке этого подростка видно, что очень уж ей не терпится стать девкой. Готовая петь, танцевать или просто так вот слушать патефон и время от времени вставить словечко в разговор, она торжественно сидит на лавке, милая своей вчерашней детскостью.

Хозяйкин сынок, раскормленный на парном молоке, мордастый и щебетливый Сережка так и не сходит с девичьих колен. Тети эти и щекочут его, и целуют, и тетёшкуют. Дошла очередь и до Ганночки. И когда баловень уселся к ней на колени, едва не вровень с самой «тетей», Роману это показалось настолько забавным, что он, стоя посреди хаты, спросил:

— А что, и ты вже, Гануля, хочешь иметь люли-люли?

— Вот вы, дядько, какой!.. — застыдилась девчушка. Она дернулась к стене, босой Сережка, как кот, шлепнулся с коленей на пол, а нянька обиженно отвернулась, капризно поджав румяные губки. Да этого никто, кажет-

ся, и не заметил. И сама она скоро забыла и про стыд, и про обиду на смешного сегодня дядьку Романа.

Потому что он пристал уже к другой.

Из темной кухни в горницу вошла высокая бравая девка лет двадцати, задорно полногрудая, с хорошей улыбкой на пухлых губах. Мокрые светлые волосы под пестрой косынкой; расстегнутый ватник на синем, в крупный белый горошек платье; крепкие стройные ноги в блестящих, только что из воды, резиновых сапогах.

— Купалысь, Наталочко? — поклонился наш моторист.

— А вже ж, Романочку! — отвечала девушка бодрым, веселым голосом.

— А плечики так без меня и не помыли?

— Ой, дывись!.. Зараз внуки будут, а вин... А ну, куды лизеш з руками?

— Да я ж, Наталочко, только побачу вашу чудесну молоду красу, так бедные очи мои...

— Ой, дывись, якие воны у тебе пузыристые, очи!

— Так, может, хоть полечку? Посля купанья вам...

— А вы, дидусю, не упадете?..

Поддразнивая друг друга, Роман и Наталка взялись за руки, ладонями под локти, и, как только с пластинки послышалась полька, пошли.

Наш подвыпивший капитан топтался довольно-таки по-медвежьи, хотя и сейчас видно было, что когда-то, в свое время, он был мастак. А Наталкины светлые глаза и полные губы улыбались, словно она вот-вот скажет: «Булы б кавалеры — сидив бы ты, дядечку, тихо в кутку, да и не рыпався б!..» Ни ватник, ни сапоги — ничто не могло помешать ей быть молодой и пригожей. На щеках выступил румянец, глаза загорелись... Они, девчина и дядька, не кружились в польке, а, на местный лад, то наступали друг на друга, то отступали, затем, на смену, выбивали совсем, к сожалению, не звонкими каблуками чечетку, манерно, с вызовом кланялись в стороны, вскидывали головы, потом кружились, а тогда наступали вновь... Роман, изо всех сил стараясь не уронить своей былой славы танцора, все же сутулился. Зато Наталка ходила — одно загляденье!.. В их топоте и гомоне мне снова послышался тихий плеск воды на озерной отмели, игривый — теперь я знаю — ее смешок в вечерних сумерках... Представлялись даже мягкие прикосновения

прохладного льняного рушника к горячим, обласканным теплыми волнами, стыдливым и гордым девичьим грудям...

— Ой, нехай тобі... Більш не можу... — наконец рассмеялась Наталка. И, видно, вовремя. Потому что запыхался уже не только храбрый на словах Роман, но утомился и сам горемыка-патефон.

Костер наш урчит на положенной, противопожарной дистанции от нас и греет, главным образом, сам себя. Даже на сухом аире и будильнике, даже и в сапогах, одетому и под плащом — изрядно холодно. От комаров ты накрываешься с головой, злорадно прислушиваясь в душной тьме, как они воинственно гудят, роясь над недоступной поживой.

И мысли, как растревоженный рой, никак не хотят уgomониться...

Было бескрайнее звездное небо, а под ним — спокойная и теплая вода, тоже без конца и без края. Две большие лодки, связанные носами, до отказа нагруженные людьми и бидонами молока, шли, казалось, прямо в неведомое, в какой-то до легкой жути радостный, окутанный светлой грустью мир. Глуховато, но бодро чахкал старый работяга-мотор. И песня была под высокими звездами — песня тоже бескрайняя!..

Была она потому, что без нее нам не хватало бы чего-то большого, очень важного в нашей жизни. Она сливалась с тем, чем жили мы сейчас, как сливается колыбельная с гульканием малыша или милым блеском его бессонных глаз, как сливается песня жней с горячим шепотом колосьев, а любовная песня — с томительной сладостью и горькой грустью первого чувства...

И слова были в этой песне, но можно бы и без них. И не потому, что их — незнакомые — трудно ловить на лету и связывать воедино: к этой сильной, крылатой, душевной мелодии просились новые, неповторимой свежести слова, которые только здесь и только сегодня могли и родиться.

Генка и я сидели на корме лодки с бидонами. А рядом с нами, чуть наискосок, плыла, точно на экране, другая

лодка — с песней. Зачарованные, мы слушали, и я, как родные, узнавал в хоре два голоса: грудное мягкое контральто и нежный, несмелый колокольчик. Это Наталка — во всем без усилия первая — и грустила и радовалась, что живет. Это Ганночка, с восторженным светом в больших детских глазах, приветствовала радость нелегкой, волнующей юности... Это все они, пока отдыхают их работающие руки, песней говорили чудесному родному миру, как много еще нужно им настоящего счастья!..

Хотелось петь, и мы подхватывали их запев; хотелось молчать, и я молчал под песню, задумавшись.

Пока я любовался танцами, дядька-хуторянин рассказал на дворе Андрею, что тут, где теперь пасется колхозное стадо, на этом заозерном полуострове испокон веку стояли две многолюдные деревни. Летом сорок третьего года фашисты-каратели сожгли их вместе с людьми.

В газете писали, рассказывал дядька, что два выродка были опознаны в Латвии и там присуждены к смерти. Из их колхоза пятеро ездили туда на суд свидетелями.

«Да что, товарищ, с их, нелюдей, собачьей смерти!.. Разве ж оно выйдет одно на одно?..»

Человек этот, еще будучи солдатом польской армии, осенью тридцать девятого года попал к немцам в плен и только летом сорок пятого вернулся. Построился здесь, на родном пепелище, один за две деревни, семьей обзавелся, а все же душа кричит иной раз, особенно ночью, как подбитый журавль, — по старику отцу, по братьям, по соседям, по родному с детства миру...

«Такие, товарищ, раны не хотят заживать...»

С весны до осени гомоните вы здесь, девчата и молодичицы из третьей, без жителей когда-то сожженной фашистами, партизанской деревни. Трудятся неутомимые руки, гудит пол под резиновыми каблуками, звенит за полночь песня под гул бессонного колхозного мотора. И весело вам, и нелегко, и грустно бывает... До рассвета — дождь ли на озере, ветер ли — едете сюда, днем — еще раз, вечером возвращаетесь домой, чаще всего совсем в темноте, а через два-три часа — ни свет ни заря — опять в лодку... Когда мы помогали вам носить с берега полные бидоны молока, я рад был, по правде говоря, что вокруг ночь, что не видно, как даже я, мужчина, и не из слабых, сгибался. А вы же их носите, вот так же на плече, да трижды в день, да ежедневно! За исключением

разве что Ганночки, которой вы пока не даёте носить одной. За партизанское и фронтовое лихолетье, кровавый труд и непоказное мужество, за ваше детство со слезным дымом землянок и нечеловеческим голодом вы заслужили больше того, что имеете.

И в самом деле — пусть бы хоть время сейчас не бежало так быстро, юность пускай бы не уходила под хриплое вяканье задержанного патефона в одинокой хате за озером, с единственным «кавалером», который и семейный давно, и весел, лишь когда выпьет...

Видел мой опытный глаз, как вы поглядывали на наших Генку и Миколу. Увы — один из них уже женат, а у другого есть невеста.

Кто на кого поглядывал, а белокурая Наталка — на черного Геннадия. И мне невольно, не совсем кстати, вспомнилась одна некрасовская песня. Да ведь ты не такая, как та, что в песне, и он — не корнет, а наш, нынешний, деревенский учитель, этот скромный, задумчивый красавец, сирота военного времени, которого обучало и растило больше государство, чем мать, больничная санитарка. Он еще, Генка, и поэт, вернее говоря — он хочет и готовится им стать. Вот и сейчас он думает, как все это охватить — и ночь, и песню... А ты поешь, ты верховодишь, Наталка, тебе и в голову не приходит, что голос твой и твой милый девичий задор пойдут за ним, и он не сможет не вернуть их людям...

Звездное небо плывет и плывет, а озеро наше, к сожалению, упирается в берег. Возле Романова «склада» нас ждут два грузовика. С наслаждением бредем по теплой воде, бодро сгибаясь под бидонами, помогаем девчатам перегрузить удои в кузов трехтонки. И они нас — чудачки милые — «щиренько дякують»...

Чтоб вы пропали, рыбацкие комары!.. А ночь такая долгая — даже в июне, — когда не спится!.. А ну, возьму себя в руки, захраплю, как Андрей!.. Подтягиваю колени чуть не к самому носу, еще раз поправляю на себе легонький китайский плащ, стараюсь думать о чем-нибудь теплом, навевающим сон... Но где там! Лопатки зябко вздрагивают, а зубы вот-вот настроятся на совсем музыкальный, на цимбальный, черт возьми, лад. Терпи, рыбак, утром не пожалеешь!..

Славные ребята — Геннадий и Микола. Особенно, как мне кажется, Генка. А дружат они, поэт с математиком, так, что и со стороны смотреть — весело. Когда ранней весной Генкина Зося родила первенца и вскоре уехала с ним к бабушке, — математик сложил свой холостяцкий чемодан и пришел из общежития к «овдовевшему» поэту. «Ведь скучно...» Впрочем, и этого, вероятно, не сказал. Из молчаливых он, Микола, из тех даже, что кажутся суховатыми, — хотя изредка и замурлычет какую-нибудь песенку, а не то улыбнется, умно и открыто.

Зосину карточку Генка нам показывал. Смотрю, и кажется мне, что снималась она — уже мамой. Видишь, как сжаты губы, сколько решимости в глазах. «Я, сам знаешь, люблю тебя, я и не строптивая, однако прости, голубчик, — есть у меня уже то, из-за чего мы, если придется, можем и поссориться, за что я и поворчу, пускай, по-твоему, не очень поэтично»...

«Молодчина», — говорю я Генке и жалею, что нет фотографии сына, что я их с мамой на этот раз не увижу.

Вот и сейчас мне хочется представить себе Генкиного наследника, сравнить его, скажем, с моим... Ты теперь спишь где-то там, золотобровый мой да черноокий!.. А Генку я люблю давно, хотя знаю всего три дня. Потому что я когда-то писал о таком вот студенте и поэте и боялся, думал, что он — мое воображение. А вот он живой! Правда, Генка уже из студента превратился в учителя, но зато он куда лучше того моего воображаемого, хотя стихи его и «новеллы» еще слабоваты. Пока. Вчера ночью, когда мы, попрощавшись с доярками, Романом и директором, тряслись на колхозном грузовике с бидонами лесом и полем в зеленый городок, мы с Генкой говорили о нашем любимом деле.

Между прочим, и вот о чем:

— Слышал — к девушкам этим приезжали в прошлом году «письменники из газеты»? Много записывали, снимали, обещали напечатать. Ребята, говорят, еще молодые. И вот уже год в газете — ничего. Насколько я знаю — нет, не было и в журналах. Обманули «письменники». А почему, как ты думаешь?

— Надой низковат. Хвалить не за что, бить — покуда тоже. Просто жизнь, «без характерных черт современности». Если те ребята и увлеклись, так нашлись постарше, поправили.

— Ну, а на деле?

— Вы сами видели — люди чудесные. Боязно становится: как написать о них по-настоящему?..

«Напишешь, Генка,— думаю я теперь,— напишешь, чистая душа, будь только самим собой, не пугайся низких надоев, а гляди прежде всего на человека. И не учись черствому равнодушию да скользкой гибкости у тех, кто долго лгал и все отдал этой трусливой или корыстной лжи. И душа у него, словно торба пустая, дырявая, а писать он хочет еще и сегодня. Да не просто писать, а, по привычке, учить...»

— Черт бы вас побрал комариный!..— обрывает мои мысли решительный бас Андрея.— Ты спишь? Светает. Давай греться.

И правда — день начинается. Небо затянуло, будто к дождю. Сплошная матовость и холодная, неподвижная ртуть — и тучи, и вода, и роса, которая покрыла все, за исключением разве что костра. Мы подкармливаем его из неисчерпаемого запаса сухого аира и веток. Огонь — да здравствуют пионеры! — обрадованно взлетает вверх и начинает с жадным азартом хрустеть сушняком. А мы стоим и благодарно греемся, как старые немощные пилигримы, протягивая к огню подрагивающие от холода руки.

Но вот сигнал тревоги — всплескивает первая щука.

— Однако ж, брат, и здоровенная! — удивляется Андрей, твердо уверенный, что так оно и есть.— Пошли!

И я уже тоже слышу, а потом еще и еще раз — всплески, совершенно невиданной, волнующей силы. Берем... где там!.. Хватаем холодные, покрытые росой спиннинги и, бросив шумливое пламя, спешим туда, выше по течению, где, как нам вчера сказали, самое лучшее место...

И точно, раза два или три забросив, Андрей берет! Щуренка, правда, а все же... Ну, а у меня, чтоб ей пусто, «борода»!.. Белая жилка «ноль семь» — ведь нарочно же, зараза! — черт знает почему запуталась так, что и по заказу не сделаешь... Но, если посмотреть со стороны, я еще не очень злюсь. Я даже вспоминаю ту хитрую свекровь, которая именно так испытывала молодую невестку —

как она нитки распутывает, что у нее за характер. Ну что ж, коли уж ты, тихоня-Ясельда, такая свекровь для меня... Тьфу! Не свекровь, а теща... Мачеха даже. Ну, погоди. Так. И вот так. Вот и все! А теперь мы не пойдем «следом за дедом» — пускай себе он один прощупывает реку с той стороны — мы двинем вниз, где тоже есть местечко. А ну!..

Хлопцы, кто мне поверит, что, ей-богу же, с первого раза!.. Сперва был толчок, который обманывает почти так же, как и коряга или длинная зеленая плетеница трав. Но вслед за ним, за неуверенным толчком, волнуящим предвестником победы почуялось сопротивление!.. Она — таинственная и наверняка огромная она — сперва, туго натянув леску, упрямо водила из стороны в сторону, а потом небось показалась. Светло-зеленая в крапинку, повернувшись боком, согнувшись дугой — а все-таки шла!.. И шлепнулась на берег, в траву, окропленную ртутью.

...Встречи, впечатления, раздумья... Чудесно все это, ни с чем не сравнимо.

Однако недурно также, когда она, рыба, не только «берет»... Сидишь ты, к примеру, у костра, и греет тебя уже не только огонь, но и мысль, что вот и у нас, между прочим, какой мы ни на есть рыболов, а все же у берега, у той вон, до сих пор ничем не примечательной излучинки под лозовым кустом, стоит на привязи, как кобылица, вот э-та-ка-я, братцы, щука!..

БЫСТРЫЙ НЕМАН

Если уж человек берется за бредень, так и одевается, ясное дело, соответственно: в самое что ни на есть бросовое старье — штаны, ватник, шапку, которые потом и сохнут на заборе, и зимуют где-нибудь вместе с сетью.

А мы с Андреем, как случайные сегодня бреденщики, лазим по-городскому — в трусах и в майках, с непокрытой головой. И вода на нас брызжет из поднятой сети не так уж и приятно, и ноги мы довольно основательно пободрали среди осоки и корчаг, и комары уже нами интересуются, можно сказать, вплотную.

На берегу, за аиром, стоит третий наш компаньон — тридцатилетний здоровяк Володя, красивый малый с какой-то детской, доброй и немножко виноватой улыбкой. В одной руке у него неизменная папироса, в другой — обыкновенная авоська с беспокойной мелкорыбицей.

— А все-таки,— говорит он,— красота у вас тут какая, ребята! И река, и луг, и лес...

Мы не спешим с ответом, мы заняты. Андрей как раз заходит, подводит свой конец бредня к аиру, мы бóтаем от зарослей к сети, и вот — самый чудесный момент! — поднимаем. Еще раз, пускай скромно, но все же подтверждается упрямая народная молва: «Рыба, браток, в Немане есть!» На этот раз у нас — не суетливая плотва, не окуньки или ерши, а сама ее милость щукина мать! Отцеженная в мешке, она зеленой молнией заметалась в тине, по нитяным клеточкам, пока не екнула в мокрой и жадной руке. Только швырнув ее на берег и опустив сеть в воду, Андрей ответил:

— Красота, брат Володя. Впрочем, так мы и делали, чтоб красиво... Сюда, сюда... Левей. Под этот вот подозрительный кустик...

Нам ничуть не холодно. Надо бы этому удивляться,— поздний вечер, середина августа,— но мы не удивляемся. Мы принимаем и тепло, и рыбу как должное... Забираемся по самые ноздри в воду, избавляясь, между прочим, от надоед-комаров, заводим, ботаем, вынимаем, кидаем на берег — жадные и счастливые хотя бы теперь, после неудачливого дня со спиннингом.

Не замечаем, что и темнеет сегодня раньше времени, что и погромыхивает со всех сторон... Идем мы вдоль берега против течения, собираясь вот-вот вернуться на широкий плес, где в водорослях наберем, конечно, и плотвы и щучек... Не только надеемся, даже уверены.

Но тут начинается дождевая пристрелка.

— Конец, видно, или, может, еще походим? — без тени паники в голосе спрашивает с берега наш сухопутный энтузиаст.

Нет, брат, все ж таки конец!

И мы, три Ермака, плывем — один с поднятой авоськой, а двое таща сеть — наискосок, на свой берег, смеясь под крупными каплями, которые уже молотят по воде и по нашим головам, как заправский дождь, густо и споро.

«А он и правда — быстрый Неман», — думаю весело и с невольной тревогой...

Под густым, напористым ливнем мы добегаем до нашей полянки.

Сидим в «победе», закрыв окна и «ветряки», и этот наш со всех сторон застекленный домик грибом сутулится под несусветным потоком. Молнии уже не просто сверкают, а беспрестанно змеятся и змеятся за окнами, в лесу, над лесом, — бесконечным, волшебным, даже жутким огнем. Безжалостная, ураганная артподготовка грома!..

Ну, про эту ночку разговоров будет, конечно, довольно! Как про лютый мороз и вьюгу во времена моего детства, когда соседская лошадь ночью пришла с дровами одна, а самого дядьку Василя только утром нашли на лугу замерзшего. Как про то страшное лето, когда хлеба после грозы были точно прочесаны, смешаны с землей огромной скоропашкой. Как про ту грозовую ночь, когда молния ударила на лугу в шалаш, убив одной стрелой двенадцать косцов...

Но наш «шалаш» — мы вспоминаем об этом вслух — изолирован от земли резиновыми скатами, к тому же он не протекает, а мы еще — хотя и не очень — молоды. Мы, разумеется, не только молчим да курим: и смешное приходит на ум, и песня просится из души... Пусть гром лютует, разрывая в клочья небо, пусть не гаснут молнии, а ливень валится на нас непробивной стеной стремительной и шумной воды, которой не будет, кажется, ни конца, ни края...

Да, ни конца, ни края. Об этом бесстрастно тикают, справа от руля, часы с освещенным циферблатом. Час отсчитали, второй... Скоро полночь.

Только тогда ливень начал стихать.

— Кто-то ходит...

— Да что ты?

— Ну, брат Володя, слух у тебя — идеальный.

— А вы прислушайтесь сами... Во!..

Открываю переднюю дверцу и, высунув голову под дождь, гляжу назад, туда, где поляна и под обрывом река.

В последних вспышках молний, на фоне неба, черным, мокрым рыцарем предстает всадник в капюшоне, а рядом, у передних ног коня, кочкой чернеет куда более прозаический и жалкий «друг человека».

Это — Артем, лесник, и его помощник, лохматый, молчаливый Звонок.

— Эгей! — кричу я, но «рыцарь» уже и сам начинает слезать с лошади. Подходит.

— Ну, как вас тут, не залило? Вот плюхнул, так плюхнул, холерия его! В небе дырку прорвало...

— Давай, Артем, сюда, в теремок...

— Да мне тут, в моем балахоне, суше, чем вам. А уже ведь и дождя-то нет. Вылезайте.

И правда — дождя больше нет и, кажется, не будет.

В подтверждение этого лохматый Звонок молча протиснулся в наш кружок у машины и энергично с наслаждением отряхнулся, обдав нас градом холодных брызг.

— Пшел, холерия!..

— Костер, хлопцы!

Топлива мы еще днем наготовили вон какую кучу. Но разве сунешься теперь к нему со спичкой... Что ж, обливаем хворост бензином и, наперекор всей мокрети, пламя взлетает победной радостью.

Когда Андрей откупоривал бутылку «сучка», Артем, тоже присевший к разложенной на газете закуске, сказал:

— Едва раздобыл. Кабы не Петрик, так и приехал бы с пустыми руками. Все подчистили — и соль, и мыло, и водку. «Война!..» Да что ты, брат, хочешь — люди напуганы. Это уже, к примеру, сколько годов? — семнадцать с партизанки прошло, а многие — кто и дитем тогда был — помнят.

— Ну, Артем, бери, брат, да чокнемся.

— Будьте, хлопцы, здоровы! Как бы там ни было, а вот сидим да выпиваем...

Он ткнул белую пластмассовую чарочку под свой широкий нос и отдал ее Володе пустую.

— Кому это, известное дело, хочется, — жуя, продолжал он о том же. — Да еще кабы из-за чего, а то ведь снова из-за того самого паршивца. Аденавар этот — он ведь та же холерия, что и Гитлер...

— Ничего, Артем, — усмехнулся Андрей. — Надо будет, так пойдем.

— Известное дело, пойдем, куда же денемся.

— Знаешь, Володя,— сказал я.— Артем Степанович — один из первых в нашей округе партизан.

— Э-э, первый,— отмахнулся Артем.— Разберешь там, кто из нас был первый. Тут первый я, там первый он. У многих тогда других думок не было. А коли уж говорить про первых, так вот они, кансамольцы! — Он ткнул шепотью с огрызком огурца в Андрея.

Андрею было восемнадцать, когда они, группа деревенских комсомольцев, ушли весной сорок второго года в пушу. Вон туда, в эту мокрую темень за Неманом. А через неделю началась первая проческа. Эсэсовцы, регулярные части карателей — против кое-как вооруженных, необстрелянных деревенских юнцов. Смертельный страх и нескончаемые — если считать не на мирные дни, а на бесконечные военные часы — без сна, без пищи и воды тревоги и отходы. Пожары лесных хуторов и первые трупы: на деревьях, на пепелищах родных хат... Тогда и утвердился их юный, поэтически прекрасный патриотизм, утвердился на первых выстрелах по врагу, первых попаданиях, первых ранах и на первой жертве...

Обо всем этом я рассказывал Володе раньше. И мне теперь вдвойне приятно... Вообще радостно — за Беларусь, за двух ее партизан-гвардейцев. Пускай любит мой сибиряк. Он там родился, а сюда приезжает куда охотнее, чем в Сочи какие-нибудь или Ялту. Так вот тебе, хлопче, земля твоих отцов, вот она — наша лесная да полевая сторонка, наш батька-Неман и наш веселый костер!.. И Володя, которому в конце войны минуло четырнадцать, начитанный, с тонкой душой, Володя смотрит и слушает с живым любопытством в глазах.

— Тоже, брат, как теперь подумаешь, смелость нужна была,— говорит Андрей.— Решили мы спустить эшелон этот как раз там, где они меньше всего ожидают: у самого моста, чтоб с высокой насыпи кувырнулся. Ползем. А осень — темень, грязь! Иван Капуста — вот хлопец был! — ползет впереди, я за ним... Душа, брат, поет на самой высокой ноте настороженности. А потом я догнал Ивана и цап его за сапог, чтоб остановился. А он, браток, со страху, от неожиданности — господи прости — как ухнет!.. Я, брат, ну прямо подыхаю со смеху, не могу... Он озлился... А уже насыпь вот-вот, перед нами...

— Это ж тебя там, должно, и ранило, и побили вас что-то много. Или не там?

Артем из другой, соседней бригады: за давностью можно и перепутать.

— Нет, брат, тогда мы управились чисто. И эшелон спустили, и вернулись. Хотя досталось жару и нам.

Пауза. А потом, как бы нехотя, справка:

— Ранили меня, Артем, у Войнова хутора, на дневке... Может, хлопцы, еще по одной?

Опять пауза, треск огня и вялое закусывание.

— Было,— заговорил Артем.— Было, как ты говоришь, и страшно, было и весело.— Он хрипло смеется.— Расскажу я вам, хлопцы, а то и самому, видите, смешно!.. Отправился я со своим отделением в Бобровичи. Мельницу ту большую «разбомбить», что немцам мелет, холерия ее... Заведующий там ворюга, стерва, глаза так и бегают. «Напишите мне, говорит, товарищ начальник, что вы у меня не две тонны муки взяли, а три. Мне — для отчетности». Забрали мы там все, что смолото было,— воезов, кажется, семь... Нет, брат, восемь! И поехали. А хлопцы мои, гляжу в дороге, как цуцки, пьяные почти все. И сам я не разберусь, ворона, как он их там напоил? Тот холерия — «для отчетности». Ну, браток, и намучился же я с ними тогда! Тут надо тихо, а они... Мало им, что распевают, так еще меряться силами вздумали по дороге, Сашке Томашику руку вывихнули. А уже сюда, к Неману, подъезжая, у самых Верболозичей, Редька Федор, гундосина, увидел, что какой-то дядька-погорелец соломы, собранной по дворам, везет остромок. «А что, говорит, попаду я ему в дугу или не попаду?..» Ну, тут уж я его взял в оборот: «Такую твою, растакую, застрелю!..» Затвор его в карман себе положил. А он, холерия, говорит: «Стреляй! Я раком на дороге стану, а ты, говорит, попади!» Вот мурло!.. «А не попадешь, говорит, так сам тогда становись!..» Ну, я ему только по загривку заехал. Дети ж у тебя, дурило ты, думаю, мать-старуха, женка, да и сам ты хлопец как хлопец, когда не пьян...

Мы смеемся. Но мне и жаль, и даже как будто обидно, что все это сегодня — так упрощено, так невольно принижено, так не в тон тому истинно героическому, о чем я немало рассказывал Володе перед этой встречей, когда мы были одни. Не это хотелось бы мне, чтобы он услышал... Ну, хотя бы не только это!

И мне приятно убедиться, что и Андрей тоже не очень

доволен нашей беседой. Потому что он обращается к Артему:

— Ты, брат, расскажи, как вы Боровичка из немецкой больницы украли.

— Ага, украли,— соглашается Артем.— Трех нас послал тогда комбриг. Гоцку, Межевича и меня. «Не дозволю, говорит, чтоб мой лучший разведчик у фрица смерть в муках принял...» Они его подстрелили и взяли. А там у нас, в гарнизоне, был связной, даже в больнице той самой работал. Так он вышел аж до первой хаты, поджидал нас. И ночь подходящая выпала — хоть глаз выколи. Пришли мы, часового тюкнули, связного этого для отводу связали, даже платок в рот ему вперли. А сами за Боровичка, в сани его вынесли тихонечко и — ходу!.. Холерию ты поймаешь, а не нас! Да и с пулеметом мы были. Гоцка Костик носил тогда «Дегтярева».

Как это просто все, как буднично, Артем!.. Что-то сегодня у нас не клеится. Намекнуть, чтоб ты рассказал, как здесь твой «клятый» взвод (уже не отделение, а конный взвод, которым ты потом командовал), три дня не вдалеке отсюда держал на Немане оборону, как немцы не прошли, несмотря на минометы и танкетки? Что ж, ты и на это тоже поддакнешь: «Ага, не прошли... Мы их три дня держали и не пустили...»

Есть человеку о чем рассказать, есть что вспомнить и чем, не приукрашивая, похвастаться. А он, совершенно прозаически, приподнявшись на колени, говорит:

— Давайте, хлопцы, может, немного поспим? А то будем завтра носом, холерия его, клевать весь день. Веток настелем да у огня... Лежа все ж таки лучше, чем сидя в машине...

И мы готовимся ко сну. Потому что сырая тьма вокруг костра начинает уже так заметно сереть, что становятся видны не только ближние деревья, но и терпеливый конь лесника, который меж тем уже спит — по-своему, на ногах, время от времени раскачивая стремяна партизанского, давно уже старенького седла.

Лежим на зеленой, сперва подсушенной у огня постели. Ветки приходится поперек ребер. Жестко, конечно, но мы лежим. Рокочет ровным тугим гулом пламя, иной раз треснет, расколовшись, сучок. Сверху — нет-нет да и

шлепнется с листа какая-нибудь вовсе не нужная капля, щелкнув по плащу или до злости напугав твое ухо.

«Уж этот-то мог бы,— досадую я на Андрея.— У него ведь не только есть о чем рассказать, но и умеет он, в тихий час откровенности — вдвоем, втроем... А впрочем, почему он, этот час, должен был прийти именно сегодня? Оттого, что мне очень хотелось бы, чтоб и Володя услышал?.. Я расскажу тебе сам. Мне вообще нужно очень много и очень хорошо рассказать о таких вот, как эти, самоотверженных работниках нашего великого дела. Чтобы не ушло в небытие, не развеялось, пошумев местной легендой, чтобы не стерлось в памяти поколений, как и здесь, над нашим Неманом, пламенела красной лентой на овчинной кубанке, гремела мостью и молодым победным смехом белорусская партизанская слава. Не нужно только громких слов, не надо обижать ими не показную, народную скромность настоящих людей...»

Вспоминаю сегодняшнее: вот он лежит на высоком обрывистом берегу — вместе с нами, но чуть в сторонке,— наш молодой еще Андрей. Задумался.

Все мы молчим, кто — курит, кто просто так. Глядим на тихую в этой глубокой заводи воду, в которой, волнуя воспоминаниями детства, отражается нагромождение белых облаков и мягкая, сочная просинь. Глядим на луг за рекой, где стога уже сереют, выгорев на солнце, а покос затянуло веселенькой отавой. Глядим время от времени и на облака вверху, на их положенном месте... На фоне этой бело-лилово-голубой красоты, лениво планируя, переваливаются с крыла на крыло четыре аиста. Нет, больше. Дальше вон еще. И считать не хочется, так много. Пленум какой-нибудь или тренировка перед отлетом... У нас тут, под лесом, тенек. А за рекой, на лугу,— еще все солнечно; где-то далеко за нами солнце только начинает идти на посадку. В величавом покое трудовых деньков, в богатой августовской зрелости.

«О чем он думает?» — смотрю я на Андрея исподлобья, подперши подбородок поставленными друг на друга кулаками.

На том берегу стоит над самой водой березка. Одна, словно выбежала из девичьей стайки, чтобы поглядеться в это большущее, чистое зеркало. Молодая, а сколько на ней золотого листа!..

«О чем же он думает?.. А, знаю!»

Вопрос этот и мой ответ сейчас уже не совсем те, что были днем. Я фактически спрашиваю себя: «О чем он думал?» И к прежним догадкам, неразрывно сплетаясь с ними, добавляются новые.

Вспоминаю слова, сказанные здесь, у костра: «Ранили меня, Артем, у Войнова хутора, на дневке».

За обыденным — будто только для справки — звучанием этих слов, мне сейчас видится не то, как они прорывались из вражеского огневого кольца, как оборвались четыре жизни, каждая и страшно и прекрасно по-своему... Вижу почему-то другое, — уже оголенную листопадом пестренькую березовую чашу и дол, словно для целительной тишины богато устланный желтым листом. Три шалаша, в одном из которых лежит раненный в ногу парень. Два остальных шалаша — пусты: отряд ушел на задание. А с Андреем остался хромой Петрик. И только теперь выяснилось, какой это славный хлопец. И ухаживает за тобой, точно мать, и в душу не лезет. Будто бы вас тут и двое, и в то же время ты один лежишь на соломе, укрытый еще недавно чьим-то, а теперь уже только народным, ласковым кожухом. И непривычная боль первой, неумелыми руками перевязанной раны не так нестерпима для тебя, как боль по товарищам...

В сумерках раненому слышалось, что в роще словно листья шелестят под чьими-то шагами... Может быть, Петрик ковыляет, и это теперь такой жалостью отзывается в сердце, а ведь он давно, от рождения, загребает правой ногой? А может, даже кабан с наветренной стороны, не почуя, подошел?.. Но вот шелест слышался ближе. И Петрик, которого до этих пор будто и не было вовсе, мужским голосом крикнул: «Стой! Кто идет?» Рука Андрея сама нашла на соломе нарезную ручку нагана. Напрасно — голоса свои: Петрика и еще чей-то, так тревожно знакомый... Листья опять шелестят. В светлом треугольнике входа появляется темный, глядя снизу — могучий силуэт.

— Сынок, ты здесь?

Эх, батя, батя!.. Неужели это ты, тот самый, что, распиливая на пригуменье бревно на доски, стоял на козлах и оттуда, сверху, посмеивался над сыновьями? А потом, как Бульба, мерился с ними силой и радовался, как сам говорил, вдвойне: что и хлопцы поднялись, да и сам еще не слабак — даже старшего уложил... А теперь вот мол-

чишь, поглядывая в сумраке на меньшого. Что же ты молчишь — чтоб не заплакать?..

— Пойду я уже, видно,— глухо сказал он, посидев рядом с сыном.— А ты поправляйся. Я матери так и скажу, что все хорошо. А ты поправляйся...— Прошуршал соломой, встал.— Заморозки-то начались...

— Вы, может, сапоги мои обули бы,— сказал нерешительно сын.— Вон там в углу. И портянки, верно, в сапогах.

— Ха, тоже мне солдат!.. Пойду. Ну, будь здоров!..

Ушел. В чужую деревню, в чужую хату. Все еще бо-сой по жгучей изморози. И без шапки. Так, как выбежал с пожара...

И шаги еще долго, бесконечно долго шуршали палыми листьями.

И сегодня еще все шуршат — через девятнадцать лет...

...Когда мы лежали днем на берегу, Артем спросил у Володи:

— Так вы из Сибири? Может, от белых медведей?

Тот засмеялся.

— Ну, от медведей не от медведей, а вот олени от нас недалеко: один железнодорожный перегон.

— Олени, они вроде лосей?

Спросил Артем вовсе не потому, что не знает, а захотелось о своем рассказать. И рассказал, как в прошлом году, осенью, встретился на тропе с лосем. Сохатый как раз пары искал и был, понятное дело, очень сердитый...

— Вон кто выручил,— показал Артем на Звонка.— Кабы не он, так неведомо что и было бы. То молчит все, а тут как кинется на лося!.. А лось — вот такая, хлопчики, зверина! Голову нагнул да на него! Конь мой — даром что тихий — на дыбы, крутнулся на месте, холерия, да в чащу. Как я там только рук да головы не оторвал, удирая?.. И партизанку — хлопцы ж знают — и фронт прошел, а, ей-богу же, никогда, кажется, так не пугался!..

Вспоминаю, как был убит над Неманом храбрый немецкий майор. Немного повыше этого места, на лугу.

Перед началом блокады некий трижды орденоносный фронтовик, загодя, накануне примчался на мотоцикле к этой «ферфлюхтер флюс»¹, с намерением поглядеть, че-

¹ Проклятой реке (нем.).

го и кого тут так боятся тыловые крысы, откормленные зондерфюреры и разный неарийский полицейский сброд... Подъехал на мотоцикле с коляской. Сам за ручным пулеметом, а фриц в каске — за рулем. Остановился на высоком берегу, смотрит в бинокль на некошенный луг за рекой, залитый невысоким солнцем, на пепелища и землянки дважды уже сожженной партизанской «Москвы»... «Ферфлюхте вюстэ! ¹ А завтра мы пройдем в ваши бандитские логова!..»

Бинокль был еще у глаз, когда по обоим воякам полоснула автоматная очередь.

Из кустов на том берегу, спустя столько времени, сколько нужно, чтоб раздеться, вышел голый мужчина и, с пистолетом в зубах, саженками поплыл поперек быстрого течения.

Живым остался только мотоцикл: он все пофыркивал, готовый снова сорваться с места.

А оттуда, где майора поджидали, в ответ на очередь уже пришла первая мина — на выручку. Она разорвалась, правда, далеко на лугу, однако и мешкать нельзя было. Упершись, человек сдвинул с места нагруженный серо-зеленой падалью мотоцикл, докатил его до обрыва: ныряй!.. А сам — с трофейным пулеметом в левой руке, над собой, и с пистолетом опять-таки в зубах — поплыл назад.

Вторая мина разорвалась в воде. Но он уже выбрался на берег. Оттуда — с их стороны — слышался треск мотоциклов... Третий взрыв поднял в воздух луговую мокреть как раз на его дороге в лес. Четвертый ахнул правее... А человек шел — не бежал. Даже и одеться почти совсем успел — кое-что сразу в кустах, а остальное на ходу, пока не скрылся в первом березняке...

Да, это был Артем.

В те дни душа его была поражена жестокой болью...

Тихо подымаюсь. Не разбудил никого. Только Звонок, не вставая, спокойно глядит на меня и приветливо метет по траве хвостом. Костер требует хвороста. Приношу из кучи охапку и кладу. Проходит некоторое время, и пламя, собравшись с духом, пробивает ее, вздымается с довольным гулом.

¹ Проклятая пустыня (нем.).

Светает. Словно добрые глаза из-под сердитых бровей, из-под толщи туч глядит заря. Тучи поднимутся, встанет солнце. Будет еще один тихий, погожий день. Как это просто все — день после ночи, — и как это радостно.

День после ночи. А ночь перед днем? Та военная грозовая ночь...

Вспоминаются слова: «Было и страшно, было и весело...» Это, Артем, звучало у тебя... ну, просто как отговорка. Потому что о страшном твоём вслух часто вспоминать нельзя.

Новая хата в одной из приеманских деревень. Садик, грядки за домом, в палисаднике цветы. И то и дело детское личико за чистым большим стеклом — стоит лишь стукнуть калитке. В хате на стене выцветший снимок под стеклом — партизанская конница, целый взвод и командир в кепочке, Артем Малявка. Рядом — три розы с листочками — детская вышивка «стебельком». А над всем этим — восемь фотопортретов. Темных, с бесжалостной ретушью, переснятых и увеличенных с маленьких пятиминутных снимков местного любителя или бродячего портача. Отец и мать, такая же, как они, старая тетка, младшие сестра и брат Артема, первая жена с двумя девочками.

Все они погибли здесь, в родной деревне.

Девятого фотопортрета нет. Мишку еще не снимали, кажется, или, может быть, пропал его снимок. Пять лет было сыну. Говорили, он убежал. Потому и могила его была за гумнами.

Была. Потому что в прошлом году их из четырех могил перенесли в одну, над которой поставили памятник. Двести шестнадцать человек. Так подсчитали раньше, по памяти, каждый своих. А Мишка лежал один.

Отец сам его переносил. И сам рассказывал мне, что в той одинокой могиле вместе с останками сына лежал его мячик.

«Красно-синий, большой. И сегодня помню, как я его покупал... Положил ему этот мячик опять...»

Вижу одинокую хату над озером, дядьку-полещука, имени которого я не успел узнать. «Такие раны, товарищ, не хотят заживать...»

Одни не хотят заживать, а другие и вовсе не могут.

Сколько их принесла нам война?.. А все же: «Если надо будет, так пойдем, куда же денемся». Это — буднично, но зато это не фраза. За нею — вера, уже закаленная в огне.

Снова Артемова добродушная усмешка: «Разберешься там, кто из нас был первый...»

И в самом деле, что считать началом его, Артема, партизанской биографии? Майский ли вечер сорок второго года, когда он, оставив семью, ушел с группой односельчан в этот вот лес — не с топором и телегой, а на большие исторические дела? Или ту осеннюю ночь сорок первого, когда в оконце его хаты постучал самый первый в наших краях партизан? Или тот июньский день страшного, непонятного и позорного отступления, когда он, серый и тихий бедняк, поднял на дороге и, озираясь, унес в чащу кустарника первые три винтовки?..

«У многих тогда других думок — не было».

Какие слова нужны, чтобы поведать о тебе, о всех таких — ах, как сурово не оплаченных! — героях, рядовых и, действительно, незаменимых?

«У меня есть медали, — рассказывал он вчера, просто душно довольный. — Одна «За отвагу», а вторая партизанская, желтенькая. А уже за фронт ничего не дали. Я там шофером был. На мину, холерия, напоролся. В Германии. Только пыль и дым, ахнуло вверх столбом — а дальше ничего не помню. Голова и теперь частенько болит...»

И, по сравнению с соседями, немножко больше сена для коровы — привилегия лесника.

Другого тебе как будто ничего не надо. А о минувшем даже рассказывать не любишь. «Что я — один такой?» Это — не слова твои, я их не слышал, это — мысль. Мысль глубоко народная. Гордость и боль прикрывая, ты даже смеешься и вытаскиваешь на поверхность, чтобы веселей было, иной раз и не очень-то казистую партизанскую обыденщину, которой все еще боятся и те, кто пишет, и те, кто учит писать...

— Солнце всходит.

— А, это ты, Артем. Здорово!

Стоим на берегу, смотрим на восток, где — силуэтом на солнце — вчерашняя, Андреева, березка. А там пуща

и на вырубке, верно, ряды сосенок. Только одну почему-то вижу крупным планом, с каплями серебристой росы, что вот-вот зазвонят, как те, мои, над Березиной... В чаще, над заросшей речкой, длинноногий бурый лосенок тянет губами и мнет, будто бы жуя, лист аира, пока еще только играючи. Хватит ему и материнского молока. А лосиха стоит по брюхо в воде. Напилась и неторопливо, со вкусом вбирает-жуёт большие плавучие листы кувшинки, вместе с которыми к морде ее колеблется-плывет обреченный, нежно-белый, с солнечным сердцем цветок... Скоро солнце поднимется, и быстрая вода Немана, в которую глядится березка, заблестит, оживет, заиграет...

Хорошо у нас, Володя,— ты недаром вчера восхищался!..

Артем закуривает.

— Ну что? — подмигивая, тихо спрашивает он.— Будить их будем, рыбу чистить да уху варить, или пойдем, может, закинем, пока они спят?..

Родная, поэтическая проза!..

Когда-то, при панах, это был хутор. С шестью десятинами доброго поля сразу за садом, с новым, обширным гумном, двумя хлевами и маленькой древней хаткой. Четырехскатная соломенная, позеленевшая от мха крыша низко надвинулась на крошечные, подслеповатые оконца. Так и глядела хатка на белый свет с прищурью, совсем как ее хозяин Данька, старик Хаменок, безлобая голова которого точно выросла в зимнюю шапку, облезлую, бывшую когда-то, если верить старику, городской каракулевой папахой.

Теперь эта шапка все еще валяется где-то на чердаке, а сам Данька Хаменок лежит на пригорке под соснами и муравой. От хутора уцелели только сад, скрипучий журавль над колодезным срубом и та самая хатка.

В хате из всей Хаменковой семьи осталась невестка Галя с детьми: мальчиком и девочкой.

Тихий августовский вечер. Солнце уже зашло. Галин сын, подросток Антось, ушел в поле к молотилке. На верхушке старой липы за огородом погасла рдевшая листва, скворцы вспорхнули и перенесли свой базар в деревню. Под навесом за сенцами, отдав вечерний удой, улеглась на свежей подстилке корова. В хате за столом сидит черноволосая Сонечка, большими глотками запивая хлеб парным молоком. Тонкие загорелые ее ножки, как всегда у пастушков, исцарапаны жнивьем. Сонечка помыла их у колодца холодной водой, и ноги саднит до самых коленок. Она то потирает их одну о другую, то просто болтает ими под высокой лавкой. Сонечке хочется поговорить.

— Мамка,— говорит она,— а сегодня Степанов Леня надо мной смеялся. Ты, говорит, пани. Ты, говорит, хуторянка. А почему? Почему он смеется?

Галя стоит, опершись о шкафчик с посудой, даже чуть присев на него. Над головой у Гали на стене старые часы. На запыленном их циферблате ненашими буквами написано какое-то слово. Многие годы висят здесь часы, а никто и не полюбопытствовал, что оно означает. Вообще в часах разбирались только мужчины и Галя. Свекровь прожила свои семьдесят лет, ни разу не подумавши даже о том, какое сегодня число... Длинная стрелка часов сломалась еще во время войны, короткая застыла на месте уже недели, должно быть, три.

Жатва.

Галины руки, загорелые до локтей, гудят от усталости. Галя все еще как будто не дома. Перед глазами бесконечной цепью, одно за другим, движутся свясла, свернутые ловкими пальцами, один за другим ложатся на жнивье тяжелые снопы. В ушах все еще звучат стрекотание жнейки, отдельные слова, обрывки песен, смех, шум колосьев и шорох соломы...

— Мамка, почему?

Галя старается вспомнить дочкины слова.

— Почему? — переспрашивает она, еще не зная, что ответить.

И Сонечка отвечает на вопрос сама.

— Мы, говорит, в деревне живем,— повторяет она с полным ртом,— а вы на хуторе. И дед твой был пан, и отец — пан, и ты тоже паненка.

— А ты скажи ему, что он еще дурень,— отвечает Галя каким-то расслабленным, глухим от усталости голосом.

Она хотела еще что-то сказать, но вдруг умолкла. Слух ее снова уловил все тот же, на миг утерянный, гул. В хате, под старыми часами, снова стоит будто не она, душа ее еще там, в поле.

— Ты ешь, дочушка,— сказала она.— Ешь и ложись. Пора.

— А ты куда-нибудь уйдешь?

— Я скоро вернусь.

...Галя стоит за вишняком, опершись руками и грудью о серую слегу старой изгороди. Галя смотрит в поле. Ноги в терпкой холодной росе, глаза где-то далеко, далеко...

В пшенице, доходящей до самого вишняка, стрекочут кузнечики. Поодаль направо стоит в пучках лен; тоже много, много льна. Еще теплый, не остыл от солнца, пахнет, вкусно пахнет, как поджаренное масло. А над пшеницей, над льном, над обильной, спокойной землей высоко в небе полная и всем довольная луна.

Но все это между прочим, все это для того, чтобы мог далеко над полем разноситься гул. Где-то там — он, сидит за рулем, единственный в мире, которому от боли в сердце, от тяжелой печали хочется крикнуть:

— Се-ре-жа-а! Се-реж-ка-а!..

Он давно уже Сергей, а не Сережка, он давно уже, верно, забыл, стер из памяти все, что когда-то было. А ты кричи, ты вспоминай, раздирай свое сердце, глупая, хоть до крови...

А ведь было это, было, когда она могла звать его Сережкой. Ох, как давно это было! Да нет, недавно, будто только вчера.

Галя еще только в девки выходила, когда в их деревню, Гаросицу, пришли из Костюков портные-овчинники, два здоровенных, хмурых брата. Оба в больших овчинных кожах, как бы в доказательство того, что не всегда сапожник ходит без сапог; оба в огромных шапках, точно из целой овечки, в лаптях, и оба усатые.

— Девки, глядите, Торбы идут! — заметила из окна одна из прявших куделю девчат.

Овчинники и вправду так звались — Торбы. Тимох Торба и Тихон Торба. Мало знакомые и не различали, который Тихон, который Тимох.

— И какой-то хлопец с ними, девки, ой! Ей-богу, хорошенький! С гармошкой!

И в самом деле, с овчинниками шел парнишка... Ну просто мальчик! В коротком кожушке, в сапогах, с гармоникой за спиной. Одна из девчат постучала головкой веретена в окно, он, должно быть, услышал, обернулся. Помахал рукой и остановился, засмеялся: «Добрый день!» Может, даже и зашел бы, да один из Торбов, который шел с деревянным метром в руках, тоже оглянулся, сказал что-то, и хлопец пошел дальше. Станным показалось девчатам, да и всем в Гаросице, что у одного из этих Торбов вдруг может быть такой сын. Такой беленький, складный, совсем непохожий на этих двух уса-тых здоровяков.

Он оказался их племянником, сиротой из дальней деревни. Звали его Сергей, а фамилия тоже чудная, как и у дядьев, но красивая — Юрочка. Очень она подходила Сергею. Так его и называли: кто — Сережа, кто — Юрочка.

Ну и ловкий, веселый был Юрочка, хороший! Дядья его огромные, а все же умещались и в самой маленькой хате. Снимут шапки свои, кожихи, одни усы при них останутся, присядут у стола — только сопят над овчинами. Так и живут на свете — молчком. А Юрочке в любой хате было тесно. Понятно, не одному — с гармоникой. Иной раз и до вечера не дотерпит: воткнет иголку в рубаху на груди, обернет вокруг нее нитку, оглянется на дядьев — и за свой инструмент. Все у него как полагается. Гармоника не как-нибудь, а в теткин платок завернута. Развернет платок — гармоника прямо блестит, а растянет ее — просторнее станет любая хата!

Один-два танца проиграет — дядья молчат. Потом старший Торба, Тимох, тот, что с метром ходит, пробасит:

— Может, хватит, Сергей! Может, люди не любят?

В ответ на это Юрочка круто, с разгону переходил с вальса на «Микиту».

Все находившиеся в хате, казалось, сразу молодели. Девчата, ну, те, известно, тут же готовы были сорваться со скамеек, поднять ветер широкими юбками. Сам хозяин, если он не слишком еще стар, начинал незаметно притопывать под лавкой носками лаптей. Даже бабка, которая еще барщину помнит, и та свешивала голову с печи... А Юрочка потряхивал чубом и под музыку напевал:

А Микита жито веет,
Микитиха муку сеет.
Микитá, Микитá,
Клином шубонька сшитá!..

Хорошо, звонко пел гармонист!

Только дядья слушали молча. Даже шить не бросали. Да тоже не скажешь, что им не нравится, тем более, когда знаешь, что и гармонику Сергею купили они.

Веселый месяц был тогда в Гаросице. Танцы, песни — каждый вечер! Жаль, что не хватило овчин на всю зиму...

Ой, мамочки! Для всех веселый, а уж для Гали... и не говори!

Все это прошло.

Сейчас над полем тихая полная луна. Галины ноги в холодной росе. Плечи стынут под тонким платьем... А трактор гудит и гудит... Не уйдешь от того, что было, не забудешь, что это Сережа, ее Сережа. Боже мой, как горько, как больно от этой мысли! А ведь было это: они так горячо, так много целовались. Да недолго, всего одну неделю, а в неделе ведь только семь ночей...

Первой полюбила Галя, сама боясь признаться себе в этом, стыдась лишний раз взглянуть на него, чтобы не подумали чего, не узнали. Она была моложе всех в их девичьей компании. Сирота из самой бедной в Гаросице хаты — Марыли Батрачихи. Так их спокон века и называли — Батраками. Отца у Гали не было. Никогда не было, хотя и жил он где-то, а может, и сейчас живет, даже не думая о том, что есть у него дочка. Мальчишки на выгоне называли ее иной раз грубым, безжалостным словом — «байстриючка». Но со временем слово это отстало от нее, как шелуха. Красивой, складной росла Галочка. У бедной сироты только и было — хорошо это в песне поется! — что черные брови. Зато брови шнурочками, большие карие очи, маленькие ловкие руки и легкие ножки. Красная косынка с вышитыми спереди пшеничными колосьями, как-то по-своему, на особый лад повязанная на черных густых волосах, была в этой сиротской красоте чем-то очень существенным, необыкновенно удачно найденным, от чего с ума сходили чуть ли не все гаросицкие хлопцы. А пойдет Галя плясать — глаз не отведешь!

Сначала и Юрочка только глаз не сводил. Глядел и почти без отдыха наявливал на своей гармонике. Понятно, плясать под хорошую музыку каждому охота, а подменить Сережу было некому...

Но вот однажды в воскресенье пришел из соседней деревни Кочаны Иван Черногребень, который тоже умел играть. Это был уже солидный кавалер, подпольщик, шесть лет он просидел в тюрьме, только этой осенью вернулся. Молодые хлопцы в Гаросице и особенно девчата — хотя он был простой и веселый — невольно, не сговариваясь, уважительно говорили Ивану «вы». В то время своей гармонике у Черногребеня не было. Покуда

сидел в тюрьме, матери пришлось круто, и сын написал ей, чтоб продала трехрядку на хлеб. Только позднее узнала Галя, что Сережа был уже знаком с Иваном. И не только знаком... Не раз ходил он ночью в Кочаны, да без гармоники: по каким-то тайным делам... Но об этом он не успел ей ничего рассказать.

Теперь, когда Юрочка поставил на колени Ивану свою гармонику, они по-свойски улыбнулись друг другу. Один с просьбой: «Не резанешь ли, Иван Степанович, на радость да на легкий пляс трудящимся?», другой — с каким-то не по возрасту молодым задором: «Резану, браток, давно уже не приходилось!»

И Черногребень резанул. Не так, правда, как Сергей, но все-таки полечка «Галка» пошла «с ветерком».

Юрочка мотнул головой, отряхнулся, как выпущенный из горсти воробей, поправил поясok на вышитой рубахе и направился в угол, где сидели девчата. И хата, полная людей, насторожилась. «Меня возьмет, меня», — засветились глаза, забились сердца девчат. А он подошел к Гале. Просто и ловко, как все, что он делал, Сережа поклонился. И с такой улыбкой, что все в ней разом — и просьба и радость: «Наконец-то мы пойдем!»

И вот они вошли в круг, взялись за руки.

Мужчины приподнялись на лавках, женщины напирали из угла на стоявших в середине, молодежь точно замерла в ожидании чего-то, что не каждый день можно увидеть.

Выждав такт, Юрочка притопнул и завертелся. Его сапожки то чуть касались досок пола, то вдруг гулко и отчетливо — на поворотах влево и вправо — отбивали, точно выговаривали, чечетку. Возле его светловолосой головы так и мелькало румяное личико под красной косынкой. А все-таки можно было приметить, разглядеть и золотые колоски на красном фоне, и черные брови, и губы, не умевшие сдержать улыбки стыда и счастья... Все это видели, а Юрочка — лучше всех.

— Круг, круг давайте! — кричали парни, хотя никто из них пока и не думал сам идти в пляс.

А круг все сужался, не сдержать его было и десяткам плеч.

Дядька Роман Кругляк, старый уже, седой человек, взобрался с валенками на лавку и оттуда, подняв большой палец, вот-вот готов был выкрикнуть: «Эх!»

Как бы почуяв это общее восхищение, Юрочка запел:

Черна галка,
Черна галка,
Ты моя,
Ты моя!..

На этом песню его прервали.

— Правильно, Юрочка! Правильно! — загудела, вздохнула с облегчением хата.

И только тогда, как бы считая, что все уже в полном порядке, молодежь пустилась в пляс.

Так началась их любовь.

Это было только вступление к большому счастью, которое должно было прийти, которое зародилось в ту ночь, когда он целовал ее у окна, а Галя закрывала лицо руками и просила: «Сережа, миленький, не надо...» Но разнять эти руки ему было совсем не трудно, а счастья, хмельного счастья, они никак не могли напиться вдоволь, хотя и простояли на снегу чуть не до рассвета.

Через неделю Юрочка ушел с дядьями в Костюки, домой.

Кто мог подумать, что прощание их — навеки!

А теперь вот стой да слушай, как за пшеницей, за выдерганным льном гудит его веселый, работающий трактор. Думай о первой своей любви, кричи, сходи с ума и кричи, чтобы вспомнил тебя и пришел. С ним когда-то на снегу тепло стоять было, а теперь тебе, баба, холодно уже и от летней росы. Иди, иди, глупая, в хату, зря стоишь... Пускай гудит трактор, пускай не дает тебе спать до утра!

Галя тихо пошла.

Двери и в сенцах, и в кухне, и в горнице старые, скрипучие. Как ни остерегайся, все равно скребнут по сердцу. В хате темно. Стоит-то она окнами на юг и на восток, но оконца эти глядят из-под нависшей крыши, как хмурый человек: только под ноги. Галя идет в угол, где стоит кровать, наугад, на ходу расстегивая платье. Раздевшись, она ощупывает край постели и осторожно ложится. Но все это напрасно. Сонечка до сих пор не спит. Щека на подушке, рука под щекой, глаза глядят во тьму. Галя нащупывает рукой ее теплые, хрупкие плечики и прижимает девочку к себе, вместе со всеми ее мыслями.

— Мамка, а где наш папа?

— Спи, доченька, он скоро приедет.

— «Приедет», «приедет»... Я маленькая была, ты все говорила «приедет» — и теперь говоришь. Мамка, а папа хороший?

— Хороший, хороший...

— А Ленька, дурень, говорит, что папа не в городе, что он в остроге сидит, что он... Как это, мамка?

— Что?

— Ну, как это?.. Ой, я забыла!..

— Ты спи. Завтра опять вставать не захочешь.

— А Ленька говорит...

— Да замолчи ты! — крикнула Галя и сама удивилась неожиданной злости.

Девочка вздрогнула и затихла. Сейчас бы ей как раз и заплакать от обиды, но она минутку помолчала, потом теплая, тонкая ручка ее потянулась к Галиной шее, обняла и, казалось, неудержимой силой снова притянула мать к себе.

— Я, мамка, буду спать. И ты спи. Ладно?

— Ладно. Ты только повернись к стене... Вот на этот бочок...

Нелегко Гале произнести сразу столько слов. Но вот малышка затихла. И хорошо. Так лучше и для нее, и для матери.

«Рано ей еще видеть мои слезы, рано знать, что я думаю о том, кто стал, на горе наше, ее отцом и... моим мужем... Давай, доченька, уснем лучше...»

Над низким потолком, над крышей — высоко над хатой стоит в небе тихая полная луна. За пшеницей, за душистым льном остановился где-то в поле трактор. Спи, молодница, не успеешь отдохнуть, пока луна погаснет. Спи, спеши уснуть, пока тракторист и прицепщик перекуривают... Но она, конечно, не уснула. Да и не старалась, видно. И трактор снова гудит, снова катится над полями, как волна на большом озере, его бодрый гул.

— Мамка, а я уже вспомнила: наш папа — спекулянт... А что это, мамка? Ты спишь?

Галя молчит.

«Не в том только беда, что он, твой отец, спекулянт. Но я покуда помолчу. А ты лучше спи, не забивай голову такими мыслями. Пускай уж мать — ей поделом, она заслужила — пускай лучше мать подумает...»

Сергей не явился больше в Гаросицу — ни шить кожухи, ни целовать свою Галю, ни тайком от нее ходить в Кочаны. Вскоре после их первого расставанья его, комсомольца, паны посадили за решетку. Не одного, конечно, — взяли с ним вместе и других, из Гаросицы и из Кочанов. Опять пошел в тюрьму и Иван Черногребень.

В сентябре тридцать девятого года, вернувшись в родную деревню, Сергей узнал, что девчина его за другим.

Как это случилось, что молодой Хаменок, сын Даньки, взял дочку Марыли Батрачихи?

Глядя со стороны, пожалуй, нечему было и удивляться. Он, видно, так влюбился, что пошел против воли родителей. Ну, а на Галином месте не одна бы за него вышла. Такой, люди милые, хутор, да и парень — ничего не скажешь. А что свекор лихой, так ведь не с ним же, не с Данькой слюнявым, жить. Придет час и на Даньку.

Сама Галя знала другое. Микола домогался ее давно, еще до Юрочки. Слух об аресте Сергея, Галины горькие слезы были для него радостью. Сначала она, понятно, и слышать не хотела, а потом грусть немного утихла. Микола же с каждым вечером был все настойчивее и настойчивее. Даже плакал и грозился, что наложит на себя руки, зарежет и ее и себя... Защитить ее было некому. Об этом счастливом замужестве трубили не только чужие: и родные и мать были на его стороне. В первый раз он взял ее чуть не силой. Сразу свет застил. Оставалось только плакать и молча пойти за ним, у него же и искать спасения от позора. На Данькин хутор она пришла еще совсем девочкой. Когда же молодница не могла уже скрыть того, что стало заметно раньше, чем дома ожидали, — в вечном зудении свекра только и слышно было: «Байстрючка, нищенка, неудаха...»

В последнее слово он вкладывал свой особый смысл. Она была и ловкая и работающая, да что толку. И жить, и работать нужно для того, чтобы быть богатым. Хаменок жил для гумна. Голова под облезлой шапкой и старая хатка на взгорке значили для него куда меньше, чем это гумно. Гумно должно было быть всегда полным. Для этого нужно иметь поле. Большое поле — полнее будет гумно. Меньше поспишь — больше наработаешь. Не съешь, не сносишь — больше останется. Собираясь женить сына, Данька переложил гумно, расширил его для

тех снопов, которые придут сюда с поля снохи. А сын с ума спятил... Галя была для Даньки не член семьи, она только заменила батрачку. Сколько бы она ни работала, все не то. Никогда ей не отработать разочарование, урон, нанесенный Данькиному хозяйству.

Микола только сначала, до свадьбы, казался непохожим на отца. Здесь, на хуторе, когда она с ним перешагнула порог этой чертовой ямы, Хаменок показал себя Хаменком.

Свекор Данька... Три раза за все время видела она ласку от этого человека.

В первый день после свадьбы свекровь сварила чугунок картошки в шелухе и в чугуне же поставила на стол. Данька снял свою шапку, разгреб руками волосы, перекрестился и сел за стол.

— Масла, может, немного растопишь,— сказал он жене.

Это была послушная, тихая, верная женщина; лет сорок уже она молчала, как выносливая, неприхотливая кляча. Пошла в кладовку и вернулась с ложкой масла. Его было мало для целой сковородки. Еще раз возвращаться в кладовку, снова лезть в горшок — это было уже выше ее сил, да и не в хаменковском обычае. И старуха схитрила перед новым членом семьи: повернулась спиной к столу и плюхнула в масло три ложки горячей воды. Все это видели, но каждый смолчал. Галя удивилась, Миколе стало даже неловко, а старик был доволен вдвойне: и хитростью своей хозяйки, и тем, что этой хитрости никто, как видно, не заметил... Черными ногтями давно не мытых рук он чистил свою картошку и, щурясь, молчал. Затем стал макать ею в «масло». Чем больше откусит от картофелины, тем глубже лезет щепотью в жижу.

— Ешь, невестушка, ешь,— говорил он.— Дома-то у вас не было. В нужде росла. Макай.

Во второй раз услышала она ласковое слово через полгода, в летнюю ночь. Миколы не было дома, старуха кряхтела на печи, а старик еще бродил по двору. Потом он постучал грязной щепотью в окно и совсем неожиданно позвал невестку по имени:

— Галя!

Она даже вздрогнула.

— Иди сюда, Галя!

Удивилась. Вышла. «Чего ему нужно?..» Данька затрусил по стезжке туда, где у поля разросся вишняк. Остановился. Она подошла и остановилась поодаль.

— Ночка какая, а? — сказал старик. — Клевер-то как пахнет Семенов, будь он неладен... Сколько копен!.. Пойди, Галя, возьми вторую дерюжку. Сходим еще разочек, принесем. Зимой лишнюю охапку где найдешь?

Она увидела у него под мышкой смятую дерюгу.

— Я никогда не крада, — сказала она. — Надо вам, своего мало, так сами и идите.

Повернулась и пошла. Не слушала даже, что он там ворчал. Известно, что. Недаром он снимает свою шапку, только крестясь перед иконой, а разувается раз в неделю, в субботу. Недаром он построил большое гумно.

В третий раз смилостивился он, когда она родила Антося и после тяжелых родов целую неделю лежала в постели.

— Курицу надо зарезать, — на третий день объявила свекровь.

Мысль эта, рожденная в муках, не очень-то растрогала Даньку. Не действовало и то, что сын, до тех пор такой послушный, умница, тоже настаивал, что курицу зарезать все-таки нужно. Была и курица такая, не несушка, только ходила и квохтала под окнами, черт ее знает отчего, точно сама просилась под нож. Жена и сын не отставали. Невестка, чтоб ей пусто было, лежит, а картошка еще не вся выкопана... Старик заманил курицу в сени, закрылся, словил ее в уголке и взял топор. Приговор был приведен в исполнение на пороге. Данька внес курицу в хату, кинул на пол, сказал:

— Нате. Ешьте.

Было это 16 сентября 1939 года — в последний день панской власти.

Паны сбежали, а Хаменок остался. Данька протянул недолго. Не спал, не разувался всю зиму, даже креститься стал в своей шапке. «Конец... Конец света...» — кричал он, лежа на печи. К весне старика наконец обмыли и вынесли из хаты вперед ногами. На завтра Микола закинул его шапку из сеней на чердак и стал хозяйничать сам. Через год умерла свекровь.

...Гудит трактор. Полная луна стоит высоко над полями. Один будет гудеть всю ночь, другая — светить трактористу до самого утра.

Черноволосая Сонечка тепло дышит носиком в мамино плечо. Давно уснула. Вспомнила слово, которым называли на выгоне почти неизвестного ей отца. Пускай спит покуда, пускай не знает...

Галя встала. Хотела выйти на кухню напиться, но раздумала, подошла к окну. Не открывается оно, и форточки нет. А все-таки здесь слышнее, как за морем колхозной пшеницы, за душистым льном бессонно, неугомонно работает трактор.

— Сережа! — шепчут сухие, горячие Галины губы. — Сережка, зашел бы? Ну, хоть напиться...

Да нет, он не зайдет.

Он заходил в эту хату один только раз.

Это было в начале сорок четвертого года.

Около полуночи разбудил Хаменков стук в окно. Ясно, кто: одни только были в то время хозяева ночей. Открывать пошла Галя. Сам хозяин в таких случаях не вставал с постели.

Следом за Галей вошли двое, остальные стояли с конями на дворе. Галя поправила фитилек в коптилке, а сама отошла в угол. Ее дело сделано, разговаривать будет хозяин сам.

— Добрый вечер! Что, болен? — спросил один из партизан.

— Да вот, товарищи, чтоб ему пусто...

— Сердце?

— Нет, оно, как бы это сказать...

— Язва?

— У меня, товарищи...

— Что ж, душа о родине болит? Лежи, лежи. Я знаю, ты справки хочешь показать.

Партизан включил электрический фонарик, и хозяин замигал на свету.

— Все нормально, — сказал партизан. — Болезнь протекает как положено. Борода отпущена, сапоги спрятаны, самогоночка есть...

Микола понял это по-своему.

— Да где-то капелька оставалась, товарищи. Хорошо, что вы напомнили.

— Лежи, лежи, Хаменок, не вставай. Пускай стоит твоя самогонка. Завтра бобики заедут. А с ними, может, и сам герр фельдфебель. А нам твои танцы и песни не нужны. Вахлак!

— Вот вы не верите, товарищи...— начал Микола.

— Да что нам верить, мы видим,— перебил его партизан.— Видим тебя насквозь. У нас, брат, точно записана вся история твоей болезни, и бородатой и безбородой. Ты везде сух из воды выйдешь со своей самогонкой. Народ обливается кровью, а ты... Виляешь, как сука, и нашим и вашим. Да что с тобой говорить! Где Каштанка? Подъем!

Хаменок все еще тяжело, с видом больного человека, поднялся и сел на постели.

— Галя, дай мне валенки.

Ей не хотелось выходить из угла. Швырнуть бы их, эти нарочно рваные валенки, в эту рыжую, нарочно отпущенную бороду!.. Заплакать бы от обиды и стыда... Но она взяла с печи валенки и понесла их перед собой, чтоб хотя бы таким способом подольше не обнаружить перед людьми, от кого она опять ходит тяжелая...

— На,— произнесла она единственное слово, которое смогла вымолвить.

И тогда он, Сережа, сказал:

— Добрый вечер, Галя! И ты от нас прячешься?

Ах, зачем ты, глупая, не крикнула ему тогда: «Забери меня отсюда, родной!» Почему не назвала его именем, которое дороже тебе всех имен на свете,— Сережей? Почему?.. Потому, что и слова и слезы иссякли — от жалости к себе, от стыда.

— Добрый вечер,— сказала она, опустив глаза.

Хорошо еще, что при коптилке было темно, что он не осветил ее фонариком. Видно, хоть немножко еще уважал ее.

Она не пошла за ними на гумно, осталась в сенях, на пороге, у открытых дверей. Кутаясь в незастегнутый кожушок, она слушала, не слушала, а жадно впитывала каждое слово молодых, вольных, счастливых людей.

Вся Хаменкова хитрость оказалась просто смешной. Два дня выгребал он в скирде соломы берлогу, три месяца мучилась в темноте раскормленная кобылка. А тут один из хлопцев постучал, должно быть, по ведру и, точно поп, возгласил:

— Где ты там, грешная душа? Выходи на божий свет!

Каштанка в ответ зафыркала, и фыркание это покрыл веселый смех и говор на току.

Он, Хаменок, все еще ныл:

— С виду она и вправду как будто ничего, а на деле падаль, без ног...

— Хе! Та у нэи дійсно тилькы чотыры нижкы, хлопци! — слышался приятный голос одного из тех шутников, которые мастера бывают петь. Украинец. — Так що, товаришу взводный, — говорил он, — беда моя, а ваш наказ залышыться, мабуть, у сыли. Я конячку сидлаю, так?

— Седлай, Артем, только поскорее, — слышался голос Сережи.

«Он командир. Я так и знала!» — с невольной радостью подумала Галя.

Тем временем тот, которого звали Артемом, снял с небольшого конька седло и надел его на их Каштанку.

— Гэй, здоровэньки булы, ластивко, — сказал он. — А мого Чалого ты, борода, бэры. Тилькы у яму свою не став. Прыиду, то побачу, як ты його годуватымэш. Вин заслуженый кинь. Ну, господы благословы!

Хлопец поставил ногу в стремя, и вот на светлом фоне снега вырисовался над Каштанкой его силуэт. Взнузданная кобылка затанцевала возле гумна.

— Бывай, борода! — слышался еще один голос. — Ты, кстати, пакость свою сбрей. Мы как-нибудь зайдем, проверим. Вообще разочка два в неделю бриться — это полезно.

— Не слушай, дядька, что он за фельдшер. Ты лучше пчел в ней разведи.

— Точно! Медку не будет, а заснуть не дадут.

— За мной! — снова раздался голос Сергея.

Они уехали, а Хаменок продолжал стоять. Оставленный, выбившийся из сил конек, которого он держал за повод, поднял голову, заржал как-то грустно, с надрывом вслед их молодому смеху, цокоту подков по обнаженным камням дороги...

— Не плачь, иди ложись, чего ты... — бубнил Хаменок из-под одеяла. — Ты думаешь, мне ее не жаль. Такая, чтоб им пропасть, кобыла!

— Пошел ты к черту! — сказала Галя и полезла на печь.

Хаменок молчал недолго.

— Ага!.. — слышался в темноте его злобный голос. — Так ты это по нем, по этому висельнику! Ну погоди!..

Он и тогда все еще страшал, уже в конце хозяйничанья чужаков, уже накануне освобождения.

...За окном начинает светать. Большая, полная луна вот-вот побелеет, закончит свое дежурство над полем, передаст его солнцу.

А трактор гудит и гудит...

«Зайди, Сережа, зайди еще раз! Последний разок!»

Галя смотрит вдаль, опершись руками и грудью на подоконник.

А гул будто все приближается. Да, он ближе, с каждой минутой ближе!.. «Приди, приди, дорогой мой, отсюда, куда ты ушел под песню своей гармоникки, под цокот подков на дороге, с той светлой стороны, откуда ты так долго не возвращался!..»

Сбылось!

Трактор остановился. Рокот утих.

Галя встала и отошла от окна. Невольным движением она поправила волосы, затем так же невольно закрыла руками лицо.

Идет Сергей. Все еще молодой, как и тогда. Только теперь — в синем испачканном комбинезоне, с пшеничным чубом над голубыми веселыми глазами, с кепкой в руке. Вот-вот зашелестит под его сапогами росистая трава, захрустит песок у завалинки, протянется к окну родная рука, постучит тихонько в стекло — и кончится все, что было... «Иди, иди, я жду давно... Ох, как давно!»

Но что это?

Ну, а ты как думала?..

Трактор снова гудит. И гул этот теперь с каждой минутой дальше. Как это все просто, как понятно, что он повернул, и как страшно!.. Сядь и сиди у окна. Хочешь — кричи, а хочешь — молчи, поглядывай. И еще одно тебе осталось — плачь.

И Галя выбрала последнее. Не выбрала — это пришло само. Припав лицом к подоконнику, она заплакала — горько, навзрыд. Плакала долго, как обиженный ребенок, когда его бросят в такой вот чужой и темной хате. А потом, как ребенок, устала от слез. Тяжелая истома смежила глаза, мягко, властно легла на душу...

Жнея уснула.

А трактор гудит и гудит...

...За садом — пшеница, колхозный хлебный простор. Над колосьями — густая туманная пелена, сквозь кото-

рую спокойно смотрит на землю негорячее солнце. Сегодня, в воскресенье, оно словно само отдыхает и хочет дать отдых от зноя всему живому.

Такого моря пшеницы не видели здесь, на месте недавних полос и межей, никогда. Присмотришься — почти не колышется тяжелый, негнибающийся колос, теплый, слегка влажный от тумана, точно вспотел... Хорошо! Над медной щеткой хлебов — серые суетливые воробьи. Так и летают, так и щебечут, так и садятся на колосья, как пчелы на цветы. Только те всегда трудятся, поют свою песню деловито, а воробьи просто беззаботны и счастливы. Легкомысленный народ!

А трактор все еще гудит и гудит...

Кто там сменил гармониста Сергея?..

На дворе у колодца умывается Галин сын — Антось. Натаскал в корыто студеной воды, снял сорочку, и на весь двор слышно, как он фыркает и покряхтывает от удовольствия. Славный малый, живой, работающий. Хорошо, что тянет его к людям, к учебе, к труду. Он уже понимает, что за отца не за что и не на кого обижаться. «Обижайся, старый дурень, на самого себя. Еще и сыну за тебя стыдно». Мать — дело другое. Антось утирается свежим льняным полотенцем. И снова, кажется, на весь двор слышно, как чуть ли не скрипит его загорелое лицо, крепкие руки, заслужившие отдых.

Галя очень любит Сонечку. Галю в детстве никто не снимал. Какие там могли быть снимки! Хорошо, что хоть зеркальце было у Батрачихи. Но Галя глядит на свою Сонечку, как в зеркальце. Такой, верно, именно такой была она сама когда-то: большеглазая, черненькая, щечбетунья...

Сонечка стоит на постели в короткой чистенькой рубашонке. Еще сонная, с улыбкой в прищуренных карих глазах, она протягивает Гале тонкие, загорелые ручки. Мама надевает на них маленький кремовый лифчик, потом застегивает его, быстро перебирая пальцами белые пуговики. А тонкие, теплые ручки девочки уже обвились вокруг Галиной шеи. Черноволосая головка склонилась на мамино плечо. Ох, и прилегла бы она еще на подушку!.. Но ничего, Сонечка и встанет тоже охотно. Она знает, что сейчас, в жнитво, она должна заменить Антося-пастуха. В саду уже ходит по росистой траве ее подружка — ласковая, спокойная Буренка. В желтом чис-

теньком жбанке стоит на столе возле кружки парное молоко.

— Ты, мамка, спала со мной?

— С тобой... Так мы же вместе с тобою заснули...

— Сегодня, мамка, воскресенье?

— Воскресенье. Платице ты наденешь новое, доченька. Вот это.

— А ты, мамка, пойдешь в поле. Жито дожали, так теперь надо овес... И овес, и пшеницу. Антось тоже пойдет.

— Он поспит. Он всю ночь молотил.

— Антось у нас большой. Он у нас, мамка, хороший.

— Хороший, дочка, хороший.

— И я хорошая, мамка. Я тебя слушаюсь.

— И ты хорошая, доченька. Ты лучше всех.

Галя натягивает на девочку такие же, как лифчик, свежевывглаженные трусики, а потом прижимает ее к груди, такую родную, теплую. «Солнышко мое! Почему я не родила тебя от того, кто был мне люб?!»

А за окном слышно, как гудит, рокошет неутомимый работага трактор... Кто это там сидит за рулем? Кто сменил Сережу?

— А я вчера думала-думала, думала-думала,— шепчет Сонечка,— и вспомнила: спе-ку-лянт! А что это, мамка? Что?

— Вырастешь еще немножко, дочка, и тогда поймешь, тогда я и расскажу. Ты хорошая, ты больше не будешь спрашивать?

— Не буду.

...Галя идет по росе мимо пшеницы туда — в поле.

«Нет, он не только спекулянт,— мысленно говорит она, как бы все еще продолжая разговор с дочкой.— Он трус, злобный и мелкий, вредный человечек. Он никогда не был твоим отцом, дочушка моя, не был моим мужем. Никогда!»

Она вспоминает его бороду. Кудлатую, рыжую, чуть ли не с «пчелами». На завтра после того как забрали Каштанку, он долго скреб эту бороду тупой бритвой, кряхтел, стонал перед облезлым обломком зеркала, а все ж таки скреб. И каждую неделю брился, до самого прихода нашей армии, еженощно ожидая тех, кто обещал приехать проверить. Они, конечно, не приехали, но и он, конечно, не стал другим. Пошел на фронт. Ну

прострелили ему немного руку... Куда он только не со-
вался с этой рукой, чтоб доказать, что он за Советскую
власть! А сам разъезжал за дрожжами и в Столбцы,
и в Минск...

И вот доездили. Сидит.

Может, нехорошо это, что она его не жалеет? Ведь
он же отец ее детей, столько лет прожили... Но нет, не
жалеет, ни разу даже не подумала!

А трактор гудит... Скоро рассеется туман, и за пше-
ницей, за льном откроется черный простор свежей, ду-
шистой пашни, станет видно, сколько за ночь поднял
земли ее Сережа.

Кто-то идет по дороге.

Боже мой, он!

Гале хочется рвануться, побежать туда, но она оста-
навливается, глядит. Сережа идет без шапки, в синем,
раскрытом на груди комбинезоне — такой точно, каким
она видела его в окно.

«Нет, он не должен меня видеть!.. Нет, не теперь!..»

Она сошла со стежки в пшеницу.

Сергей идет и не видит над колосьями ее головы в
белой косынке, сливающейся с туманом. Да он сюда и
не смотрит. А ему вслед глядят Галины карие грустные
очи.

«Вернись ты хоть на миг, моя хорошая, моя загублен-
ная молодость! Вернись, спой мне веселую песню про
черную галку, которая и сейчас твоя, глянь мне в глаза,
и я сама подожгу этот проклятый хутор, возьму детей,
пойду за тобой, куда захочешь!..»

А пшеница, какая пшеница кругом! Густая, чистая,
высокая... Так и должно быть!

Это еще не мысль, это — только чувство. Мозолистая,
ловкая рука жнеи прошлась по колосьям, и нежные
прикосновения их разбудили в душе что-то светлое,
легкое...

«Иван Степанович! Дядька Иван! Помогите мне,
дядька...»

Галины губы шепчут эти давно заученные слова.
И дядька Иван, умный, хороший Иван Степанович, тот
самый Иван Черногребень, в прошлом подпольщик и
гармонист, теперь председатель их колхоза, смотрит
на Галю из-под густых, уже с проседью бровей.

«Чего ты хочешь, Галина?»

«Дядька Иван, я не могу там жить, возьмите вы меня назад в нашу деревню. Постройте мне хатку, и мы с Аптосем отработаем, за все отработаем! Снимите с меня его имя, дядька Иван. Ведь вы и сами все знаете: кто он, кто я и кто мои дети...»

«Не плачь, Галина, не надо. Уладим».

А Галя плачет. Идет по дороге и плачет. Сквозь туман и сквозь слезы, заслонившие от нее этот еще не стертый с лица земли хутор, она видит протянутые к ней тонкие загорелые ручки; они тепло ложатся ей на шею, и у самого уха слышится:

«Ты хорошая, мамка моя!»

«Нет, это ты хорошая, ты, мое солнышко, ты лучше всех! И доля у тебя будет не такая, как у мамы. Никто не надругается над твоей жизнью...»

А трактор гудит и гудит...

Там не Сережка. Но это ничего. Ночью будет опять он. Опять будет болеть по нем ее душа, до самого рассвета...

Пускай! Только бы гудел.

Две рыбацкие деревушки, где живут дед Вячера и внучек его Михась, разделяет великая вода. Дедова деревня, Подволока, стоит на южном склоне длинной косы, которая, врезаясь в озеро, делит надвое глубокий залив. А Нивищи, где семь лет назад родился Михась, видны, если смотреть с самого мыса, на другом берегу — по воде километров пять.

Еще очень рано. Августовское солнце только собирается взойти, Михась спит в сарайчике на сене, до ушей натянув выдавший виды мамин кожушок. Пойдем сперва к дедушке, в Подволоку.

Земля здесь плохая, песчаная, и очень ее мало: только и всего что на косе, по гектару, по два на хату. Подволоковцы спокон веку живут рыбой — и до Советской власти, и теперь, когда они стали лучшей бригадой большого рыбхоза. Все здесь у них рыбацкое: и название деревни пахнет рыбой, как неводы-подволоки, и озеро пахнет, и песок, и хаты, и ножи, которыми режут хлеб, и подушки, которые кладут гостям на сеновале...

Дедова хата глядит всеми окнами на озеро, на солнце. За гумном (а гумна здесь, по урожаю, маленькие), на высоком взгорке, торчит заросший бурьяном немецкий блиндаж, еще с первой мировой войны. С него как на ладони видно все озеро — водный простор, заполняющий почти весь обруч горизонта.

Покуда жива была старая Вячериха, она часто взбиралась по тропке на этот блиндаж и из-под руки выглядывала своего неутомимого Остапа. Прожила она, грех жаловаться, семьдесят семь годов. А вот уже десять минуло, как дед, малость постарше ее, живет один. И только нынче перестал он рыбачить, отдав этой тяжелой

работе не какие-нибудь тридцать лет и три года, как тот, кто поймал золотую рыбку, а ровно семьдесят пять. Многие рыбаки даже не помнят уже, когда это деда Вячеру прозвали «королем угрей» — лучшим мастером по ловле той удивительной рыбы, которая в грозовые ночи выходит из глубины на блеск молнии и скачет змеей над волнами, выползает по росе на берег полакомиться молодым горохом, а нерестовать идет в далекое, теплое море... Теперь старик сам взбирается иной раз на высокое местечко, где поджидала его когда-то Гануля, и так же из-под руки, но куда более острым глазом, глядит на милую сердцу воду, и ласку и капризы которой он изучил не хуже, чем нрав своей покойницы, а дно озерное — лучше, нежели пол родной хаты.

По давней привычке и сегодня отставной «король угрей» поднялся до рассвета. Внучки еще спали на широкой постели за печкой — куда рука, куда нога. Невестка тихо копошилась тут же, начиная одеваться. Прикрыв кепкой нерасчесанную седину, дед вышел из хаты, осторожно скрипнув дверью. Обивая серыми штанинами росу с зеленой картофельной ботвы, как-то косо ставя сухие загорелые ступни, словно на всякий случай стараясь покрепче держаться за землю, старик двинулся по той самой тропке-борозде наверх, на тот самый семейный наблюдательный пункт. Он спешил; однако, взойдя на блиндаж, казалось, замер, глядя туда, откуда вот-вот должно было показаться солнце.

На востоке, за тихим заливом, за соснами, на далеком пригорке вспыхнул язык пламени... Нет, это не почудилось: он окреп, стал разрастаться, принимать полукруглую форму и, наконец, разлившись в багряный круг, прямо на глазах оторвался от земли. И тут же нырнул верхним краем в тучку, затянувшую в том месте горизонт.

Высоко-высоко над дедом порозовело легкое облачко. Узкая тучка на горизонте все наливалась и наливалась краской, а облако в вышине светлело, теряло румянец. Огненный круг еще одним усилием прорезал верхний край тучки. Озеро радостно засияло.

Даже отсюда, с блиндажа теперь видно, как за огромной липой, за редкими и тощими копенками ржи, за отцветающей гречихой и прибрежным ольшаником в первых лучах нового дня поблескивают крылья чаек.



На юге, за большим заливом, четко отражается в воде высоко поднятый желтым обрывистым берегом сосняк. На севере, там, где рыбхоз, вдоль берега пополз легкий туман... Можно подумать, что старый академик Василь Романович, добрый знакомый деда, опять затопил на новой даче печку и опять ворчит на печника, а дым, как и вчера вечером, опять не тянет вверх... На восток не очень-то поглядишь — солнце взяло свое!

А над всей этой красотой, в чистом небе, чуть поодаль от облачка, уже потерявшего румянец, стоит полная луна. Она не светит, — пропустив вперед солнце, она отступила, скромно поблекла, а вскоре незаметно исчезнет...

Но, глядя на восток, старый Вячера не любит. Оттуда должны показаться лодки. Бригада еще не верну-

лась с первого в нынешнем году лова силявы. Собственно, бригада бригадой, а нужен старику сын. Даже не столько сын, сколько лодка... Под козырьком мятой кепки, под сединой бровей напряженно щурятся глаза. Они нагляделись за свой век и на ясное солнце, которого так много на прозрачной озерной воде, и на студеную черную темь, когда вода и ветер — не разберешь: кто сверху, кто снизу! — издеваются над упорством человека. Уже усталые, но все еще по-рыбачьи терпеливые, быстрые глаза разыскали в веселом блеске золотой воды то, что им нужно.

— Идут,— прошептал старик.

Четыре лодки подошли к берегу почти через час.

Не только женщины и старики, но и младшие отпрыски рыбачьих семей — как это ни странно для прибрежных жителей, все черноногие — высыпали на влажный, затоптанный песок. Вслед за людьми на встречу силявы появилось из хат, чердаков и всевозможных закоулов все кошачье население Подволоки.

Взрослые оживленно переговаривались и перекликались с лодками. Дети, закатав штанишки и приподняв юбочки, шумно полезли потрескавшимися ногами в чистую и теплую, словно нагретую мамой, воду. Коты, в зависимости от возраста, то неторопливо похаживали, задрав хвост, терлись о ноги хозяев и надоедливо вякали, то сдержанно, солидно облизывались, жмуря лепивые глаза...

Только один, самый бывалый и опытный тигриный свояк, известный на всю деревню бродяга и вор Терешка, сидел поодаль, на зеленом пригорке, поглядывая и на воду и на сушу с одинаковым скепсисом на усатом мурле...

Четыре большие черные лодки одна за другой черкнули носами по песку. Бабы, деды и дети с веселым гоном двинулись к лодкам, а рыбаки, более сдержанные в выражении своих чувств, потащили навстречу им коричневые охапки сетей, в которых неживым уже серебром переливались неисчислимые сотни силявок. Началась кропотливая работа — выпутывание рыбы из ячеек сети, погрузка в ящики для отправки, когда подойдет рыбхозовский катер.

Вчера старый Вячера, которому и на пенсии не сидится дома, сам выбрал место — надежное, верное. Все четыре тридцатиметровых полотнища сетей, незаметной

стеной опущенные в глубину на якорях и поплавках, были теперь густо утыканы силявой. Видно, не один ее резвящийся или напуганный щуками косяк напоролся на невидимую капроновую смерть. Как всегда, старая силява засела в ячейках жабрами, а молодежь, подсилявники,— пупками. Нежная, жирная рыбка заснула давно, только-только попав в беду, однако и в сети, и в руках, и в ящиках, стоящих на берегу, она приятно пахнет вкусной, соблазнительной свежестью.

— Ну, батька, тоня, брат ты мой, удалась — во!

Сын Вячеры Иван, высокий белобрысый мужчина лет сорока, который только с этой зимы вместо отца ходит в бригадирах, вытер руки о штаны и стал сворачивать сигарку.

— Сегодня пойдете туда, за Качан, на Митрофаниху,— глубоко пряча гордую радость, показал дед длинной рукой на водяную бескрайнюю гладь.— Может, ты в лодке покуришь, Иван? Поехали!

— Куда?

— А ведь я вчера говорил.

— Ты опять за свое!.. Ганночка! Эх, лягушонок! Не умеешь сама, так на маму гляди!..

Пухленькая девочка с большими светлыми глазами, очень похожая на отца, возилась с уже измятой и растерзанной рыбкой, тщетно стараясь вытащить ее из ячейки сети. Молодой пестрый и поджарый кот, словно желая помочь малышке, с налета вцепился в рыбку, яростно мурлыча. Девочка крикнула: — Апсик, чтоб ты сдох! — а отец схватил кота под живот, размахнулся и швырнул его в воду:

— Еще и он, ядри его айн, цвай, драй!..

Это стало сигналом тревоги. Терешка — самый бывалый и наиболее скептически настроенный подволоцкий тигриный свояк — молнией шуганул от воды. За ним — все кошачье поголовье. Пока пестрый поджарый горемыка выбирался из воды, отчаянно молотя лапками, все его соплеменники уже облизывали усы, с заборов и крыш поглядывая на потерянный рай.

Почти никто не смеялся, разве что Ганночка и другие малыши. Глядя на них, улыбнулся и молодой Вячера, скрыв под улыбкой свое раздражение.

— Эх, батька! И вздумалось же тебе, брат ты мой!.. Ну что ж, пойду возьму пилу и топор...

Южный берег большого залива, берег, к которому направились старик и Иван, встречает вечно живым шумом соснового бора.

Хорошо здесь, если есть досуг полюбоваться!

Вот и сейчас: понизу стелется вереск в румянном утреннем свете, а над вереском, тоже залитые солнцем, густо вздымаются высокие сосны. Хорошо закинуть голову, заглядеться на их серо-зеленые, со стальным отливом, кудрявые вершины на фоне лазури и голубиных облаков. Сосны гудят. Словно рассказывают чудесные сказки детства — одну за другой, неустойчиво и радостно, тихо и мудро, как умеет добрая, ясная старость. Озеро сегодня молчит. У низкого берега — песчаного, кое-где в пятнах реденькой травки, — блаженно прихлебывает чуть слышная волна. Чайки играют над зеркальной водой, пикируют на добычу, садятся на влажный, вылизанный приливом песок, только их следами исчерканный, с пестринками только их перьев. Тут же вытолкнутая на берег не одним бурным прибоем, незаметно превращается в прах, доживает на солнце свой век разбитая лодка. По рыбацкому обычаю лодку бросают там, где ее настигла последняя беда.

Обрывистый берег — дальше, южнее. Высокий, с морской галькой внизу, с мыльным намывом пены. Вода дни и ночи годами подмывает желтые слои песка, который сползает, предательски оголяя корни самых смелых сосен, густо вышедших здесь на край обрыва. Они — большие и поменьше — отчаянно цепляются за обрыв, а потом все-таки падают...

А наверху по-прежнему потрескивают под ногами мелкие сучья, старые хрусткие шишки. Выглядывают милые глазки иван-да-марьи. Время от времени в вершинах пересвистываются коршуны, и никак не подходит им этот свист, ничуть не молодецкий и не грозный.

Очень бывает приятно, когда в дикую чащу с живописной тропинкой, петляющей вдоль берега, когда в эту буйную глухомань врежется вдруг клин душистой палевой ржи или цветущего картофеля. Свидетельство, что и здесь потрудились рука человека...

«Король угрей» сидит на корме, правя небольшим веслом, и внимательно вглядывается в недалекий, порос-

ший соснами берег, словно что-то там выбирает. Подбородок старика, в густой щетине, больше чем когда бы то ни было, задран кверху, чуть не к самому носу. От этого всегда спокойное, приятное лицо деда кажется сейчас не просто злым, а даже хищным...

Причина этой злости с лодки еще не видна: она вот-вот откроется за поворотом... Но старик уже видит ее: перед глазами его с самой весны стоит густой, высокий Переймовский бор, искалеченный подсочкой... Еще один след человеческой руки...

«Чтоб ей, этой самой, и отсохнуть! Не дай боже, коли рука без головы!..»

Так думает сейчас, кажется Ивану, его неугомонный батька.

А у Ивана уже злость прошла. Он не спеша, с прирожденной рыбацкой ловкостью работает веслами и время от времени улыбается, глядя на отца. Правда, есть Ивану очень хочется, но что ж поделаешь: старый — как малый!.. Гребец сидит спиной к берегу, к которому они плывут, и из-за плеча рулевого то слева, то справа ему все еще хорошо видна родная Подволока. Серые стрехи. Редкие деревья. Липа — словно темная туча за их гумном. Левей — давненько дряхлый ветряк, только с двумя ободранными крыльями, очень похожий на стрекозу. Между липой и ветряком бородавкой торчит их блиндаж. Лодки и люди на светлом берегу. Народ уже расходится. Эх, ядри его айн, цвай, драй! Славно бы сейчас растянуться на свежем сене под прохладной крышей гуменца! Даже чтоб Маня туда и поесть принесла. Чтоб двери сами за ней затворились...

Иван со стариком были недалеко от цели. Уже слышался за всплеском весел печальный шум подсоченной переймовской сосны. А тут вдруг произошло совсем что-то неожиданное... Вся Подволока стала видна Ивану из-за спины старика и поплыла, поплыла, поплыла вправо...

— Ты куда повернул, батька?

— Куда надо. Махай поживее!..

Иван сперва озлился — ну, вовсе в детство впал старик! — а потом рассмеялся. Они домой повернули... Ну что ж, потом, когда старик отойдет, узнаем, что это у него за выверты. А тем временем даже как будто запахло жареной силявой...

Изгибы волн, растревоженных лодкой, отражаются, поблескивают на песчаном дне. Дальше от берега, на глубине четырех-пяти метров, видны густые высокие водоросли — точно лес под крылом самолета. Потом исподволь начинается «поглубь» — таинственная сине-серая бездна. Там где-то неслышно рыскают в поисках добычи огромные, как бревна, ненасытные щуки. Рыскают, гады, а в сеть не идут!..

Когда лодка пристала к опустевшему берегу, у сетей, развешанных на кольях, уже не сновали даже контролеры-коты.

Силява жарится без всякого жира. Можно даже, если спешишь, и не чистить ее, достаточно перемыть как следует. Жарить ее лучше всего в печи, чтоб рыбу подрумянило легкое пламя сухих, как соль, сосновых поленьев.

Когда мужчины вошли в хату, Маня, еще через окно увидевшая, что они приближаются к берегу, тут же поставила на стол большую, пахучую шкворчащую сковородку. Иван нарезал толстыми ломтями свежий хлеб и нетерпеливо позвал из сеней отца. Старик вошел в хату с бутылкой желтенькой перцовки.

— Жил один чудака,— сказал он, ставя на стол поллитровку,— который с каждым дурнем чаркой делился... Дай, Маня, стакан. Да и сама присаживайся.

Ладонью в донышко он легко выбил из бутылки картонную пробку, налил первую чарку. Торжественно пожелал сыну с невесткой доброго здоровья. Медленно, смакуя, выпил.

— А потом? — спросил Иван, с затаенным смехом глядя на почти совсем распогодившееся лицо старика.

— А потом он и эту порцию, что раньше подсовывал кому попало, стал сам выпивать. На доброе, сынок, здоровье!

Пахучая, крепкая жидкость приятно обожгла рот и все нутро. Иван уплетал за обе щеки. Эх, и рыбка же — силява! Даже косточкой не уколешься!..

— Вот я и говорю,— начал старик, старательно двигая покрытым седой щетиной подбородком,— ручка бы та отсохла, что головы не слушает.

— Ты опять про подсочку?

— А что ж! Разве ж это порядок! Весь Переймовский бор подсочили! Над самым озером! Я еще, не при вас будь сказано, голозадый бегал, а он уже стоял. Две

войны выстоял, а теперь вот нашелся дурак — на сруб его!..

— Вы, батя, ешьте,— тихо отозвалась полненькая чернобровая Маня.— Стоял он и будет стоять...

— Повалят, доченька! Год-два, и повалят! Потому и подсочку сделали... А ты чего скалишься?

Иван, отсмеявшись, спросил:

— Так ты его пожалуй собрался? С пилой?

Старик вскипел, даже руку с ломтем хлеба поднял.

— Готовое, то, что на дворе лежит, каждый дурень взять может! Ты мне не тыкай этим поленом в нос! Сам с головой, знаю, что делаю!..

— А ты бы помолчал! — накинулась на Ивана жена.— Ешь да иди куда надо! Я вам, батя, еще вот... Нашел, над кем скалить зубы!

Она захлопотала у шестка и вернулась оттуда к столу с большой кружкой чаю, заваренного на липовом цветке. С той самой, как туча, липы, что за гумном. Потом принесла желтый глиняный горшочек с медом и чистую ложку.

— А где ж это дети? — спросил дед.

— Геля пасет. А Гаиночка умчалась куда-то.

— А ты им чаю давала?

— Давала.

— И Геле надо было тоже. Она что-то кашляла ночью...

Вконец разморенный липовым цветом и медом, старик смотрел на единственного, оставшегося в живых, младшего, складного и веселого сына, на тихую работающую молодичку, от которой никто в семье никогда еще дурного слова не слышал. Смотрел и прихлебывал помаленьку. Подумал даже, что недурно бы сейчас прилечь на часок отдохнуть... Но, допив из кружки сладкую теплоту, он неожиданно стукнул посудиною по столу и встал.

— Что ж, пойдем возьмем свое! Покличь кого-нибудь еще — Храпуна или Степановых хлопцев...

3

Всего красивее бывает человек, когда он не знает об этом, когда не видит самого себя. К сожалению, чаще всего даже тогда, когда его никто не видит.

Старого Вячеру в лодке видела сейчас только пятилетняя Ганночка. Пухленькая светловолосая любимица семьи, она вертелась, как синица, на средней лавке перед своим дедушкой, смотрела на него, совсем не думая, что любит, и то сама щебетала, то слушала, не горюя, что многого еще не понимает.

А дед был хорош.

Без шапки, в серой, как пашня, расстегнутой на сухой загорелой груди рубаше. Упершись худыми и пружинистыми, как смолистые ветви, ногами в ребро большой лодки, «король угрей» медленно и неустанно раскачивается взад-вперед, ритмично взмахивая тяжелыми веслами. Точно и скупое, как это и необходимо для дела, загребают он тихую прозрачную воду. Так же вот легко и красиво, складно и споро идут, гоня прокосы, настоящие косцы. Белый морщинистый лоб над загорелыми скулами щедро окроплен потом. Серые волосы, хотя и причесанные перед выездом в люди, как только он снял кепку, снова рассыпались в привычном беспорядке некрутых кудрей.

Хороша была эта очень естественная, жизненная простота, эта все еще не растраченная сила, которую и не иссушили и не исчерпали девять десятков больше каторжных, нежели радостных лет. Хорош был взгляд светло-голубых глаз под густыми седыми бровями, глаз, открытых и чистых, как само безоблачное небо, отраженное в родниковом зеркале бескрайнего озера. Хороша была и вся эта простая, обыденная картина: большая черная лодка на водяной глади, в лодке — серый дед и светленькая внучка, а за кормой, на буксире — длинное сосновое бревно и протянувшийся вдаль треугольник растревоженной воды.

— ...И сковали они, внученька, деда цепями и погнали аж в Вильню. И стали они там в каком-то подвале скоблить меня плетями, лить в нос воду с керосином...

— А зачем?

— Чтоб больно было, внученька. «Ты, говорят, коммунист проклятый, безбожник, бунтовщик!» — «Какой я, говорю, коммунист? Весь народ обиженный, все наши побережане поднялись, сколько есть деревень вокруг озера!.. Не хотим мы, чтоб вы его у нас под казну отбирали!» — «Молчи, говорят, хам! Мы у тебя, говорят, не только озеро, мы у тебя и здоровье отобрать можем!..»

Однако же не отобрали, внушенька, хоть и я побывал в этих самых Лукишках...¹

— А на каких это лу-кишках?

— Смеешься, глупенькая! Это тюрьма такая, куда паны запирали нашего брата.

— А зачем?

— Чтоб он там гнил, внушенька. Чтоб он супротив их не шел. А как ты не пойдешь? Беда сама тебя погонит. Как говорится: не ради пана Езуса, а ради хлеба куса. Сколько людей шло за нашу мозолистую правду! И молодежь, и старики. Даже и девки, и бабы. А он мне говорит: «Ты коммунист!..» И в тюрьму. Чтоб дома, внушенька, семья твоя слезами кровавыми обливалась.

— А бабуля твоя обливалась?

Ганночка знает только свою бабулю — мамину маму, которая время от времени приезжает к ним из той деревни, где совсем нет озера. Другая бабуля, о которой ей часто рассказывает дед, — существо почти сказочное, так как жила она давно и была, видно, только дедова.

— Обливалась, внушенька, еще как!

— А папа обливался?

— Хватило и на его долю. И на него, и на тетю Надю, и на тех твоих дядьев, что на войне погибли. Батька твой был тогда уже настоящий работник.

— А мама?

— Она, внушенька, жила еще у своей мамы, в Воробьях.

— А она обливалась?

— Не знаю, сколько там на нее пришлось. Потому как было оно, внушенька, так: кому — по кому, а кому — так и по два.

— Дедуля!

— Ну?

— А я вот возьму, да с лодки — скок!

— Я тебе скакну, глупенькая! Скакнешь, да и не выскочишь!

— И выскочу! Выскочу на полено, которое лодка тащит, а потом побегу, побегу, побегу по полену!.. А потом по воде! И далеко-далеко-далеко! Вон туда, где лес, или еще дальше — туда, где солнце. Заберусь в тучку и — скок!..

¹ Лукишки — политическая тюрьма в Вильно.

Дед уже не отвечает на этот милый, как звон жаворонков над ними, лепет. Он тихо, беззвучно смеется, подняв весла, откинув назад голову.

Вот тут и рассказывай ей!.. Жили люди, сколько страху, сколько бед, сколько мучения всякого было, а она теперь и слушать не хочет. Как сказку на печи: интересно — глаз не сводит, а нет — не хочу. И пускай себе! Ведь двадцать лет уже прошло с тех пор, как мы тут, бедняки, бунтовали...

Дед и внучка молчат. И все вокруг молчит: и вода, и небо. По дороге из Нивищей в местечко — деду уже хорошо видно — идут машины. Одна — с сеном, другая — со снопами, а то — пустые. Однако идут они бесшумно. Не слышно также и цокота жнейки, помахивающей крыльями вон там, на желтом поле. И чайки почти не летают. И рыба не жирует. Один только белый мотылек несется навстречу лодке. О, мимо! Из Нивищей в Подволоку. Мал, а не боится. Сидел бы там, дурень, на своей капусте! Небось намахнешься — близкий ли свет!.. Не дает о себе знать и блесна на длинно отпущенной дорожке, дощечку которой дед подложил под себя. Время от времени он подергивает жилку, проверяет, хотя и не очень верится, что в такую глухую пору какая-нибудь безголовая клюнет. Пускай тащится... При немцах один партизан рассказывал, что когда-то у них в Орловской губернии, идя в церковь, мужик брал с собой недоуздок: авось попадетса лошаденка какая по дороге, так подведем!

Потом старик вспоминает свое утреннее путешествие. Зря только время потерял, выбрался теперь из дому чуть не в полдень. Он долго молчит. А Ганночка тем временем перевесилась через левый борт и полощется ручками в воде.

— Сядь, глупенькая. Не дай боже, случится что, так мне и не нырнуть за тобой. Из меня такая щука, что оба на дно. Сиди хорошо, как сидела.

Говоря, дед не перестает думать о своем. Но думать мало, надо поделиться с добрым человеком.

— Другой живет, — начал он, — и сам не понимает, что вокруг него на свете. Такой лес, внученька, что душа радуется. Над самым озером, сосна в сосну! А вот подсочили!..

— А что это?

— Смолу выпускают из сосны.

— А зачем?

— Лес хотят рубить. Крапивою бы его, чтоб полгода сидеть не мог!.. Где кто вздумает, как вздумает, так лес и валит... Ходил я на днях в район. А по дороге зашел к Василию Романовичу, потому что мы с ним, внученька, любим иной раз поговорить. Вон туда!..

Он мотнул подбородком в ту сторону, где километров за шесть по водной глади виднелась новая дачка. Ганночка внимательно посмотрела и, ничего, кроме светлого пятнышка на сине-зеленой ленте леса, не разглядев, сказала:

— У них есть мальчик Игорь.

— Есть, внученька. Я ведь тебе о нем говорил. И сам Василь Романович тоже человек хороший. «Мы,— говорит он мне,— доберемся до них, Остап Иванович, до этих лесорубов!..» Вот, думаю, такого б начальника в район!.. А вчера, внученька, иду это я опять мимо дачи, захожу, а мой Василь Романович как не ездил в Минск, так и не едет. «Что же вы,— говорю ему,— ждете, покуда заместо Переймовского бора одни пеньки останутся?» А он смеется, сидя в тенечке, в таком, внученька, кресле, что все качается туда-сюда. «Образуется, говорит, Остап Иванович. Не будьте, говорит... писимисом». Парень, думаю я о нем, тоже не молокосос, говорил, что шестьдесят, а неужто так ослабел да обессилел?! Само оно не образуется. У себя небось не ожидал, покуда оно образуется — кубометров сто на дачу срубил. Да и так еще лесу гектара два огородил. Чтоб даже и по грибок из-за забора не выйти!..

Ганночка уже не переспрашивает. Она сидит совсем тихо, смотрит на деда и на все вокруг, не шевелясь... И дед догадывается, в чем тут дело.

— Сейчас, внученька, доплывем. Кабы не эта колода, так мы бы с тобой... Ах, ты! Видали вы?..

Он отпустил весла и выхватил из-под себя дощечку дорожки.

— Ага! И здоровая, видать! Ты только, внученька, сиди! А я ее... Дай бог побольше!..

Старик стоял в лодке во весь свой высокий рост и, по-молодому радостно-взволнованный, туго наматывал дорожку на дощечку.

— А ну, покажи свой норов! Коли уж ты, дуреха, зацепилась в этакую пору, так я тебя... Ага!..

Над водой показалась раскрытая в смертельном ужасе пасть хищницы. Увидев этаким зев, этаким ворота, большинство спиннингистов кричат: «Килограммов, брат, десять!» И перехватывают, конечно, раза в три, в четыре. Дед Вячера слишком уж привык к этой купле на глаз: ошибался только на граммы. А все же и он волновался сейчас, как мальчишка.

Взятая на надежную привязь щука, как «овсяный» жеребчик на корде, не очень долго и хорохорилась. Старик то отпускал ее, то снова натягивал дорожку, а потом, улучив момент, поволок без лишних слов. Нагнувшись, он взял со дна большой сачок, ловко подвел его под щуку и отпустил дорожку. Насмерть перепуганная дурында отчаянно, слепо нырнула в большую сетчатую торбу и вот уже заколыхалась в ней над поверхностью воды, вот уже, освобожденная из сачка, шлепнулась на дно лодки. Старик вцепился одной рукой в ее толстый, как полено, хребет, другой мощным рывком прижал храп книзу и услышал, как внутри, в зашейке щуки, хрустнула кость. Блестящая скользкая рыбина перестала упруго и лихорадочно биться в руках, обмякла и легла на черное, просмоленное днище. Зеленовато-золотистая, в белый горошек.

— Два с половиной, от силы два шестьсот,— переводя дыхание, сказал старик.

Испуганная было всей этой возней светленькая Ганючка теперь уже смеялась, подпрыгивая на лавке, всплескивая пухлыми загорелыми ручками:

— Михасю! Дедуля, миленький, Михасю! И щуку, и мешок с силявой — все!

— Все, внученька, все ему,— проговорил, тяжело дыша, дед и снова взялся за весла.

4

Силява вкусна и в ухе. И мудрить долго не к чему: перемыл ее да в чугуи — чем больше, тем жирней и вкусней. Соли туда, пару картофелин, если есть под рукой, хотя бы одну луковицу. Если б перцу да лаврового листа — еще лучше. А то есть у некоторых мускатный орех... Эх, жаль сироту — не стерпеть животу! Сохрани, боже, от горшей беды, нежели уха без этого ореха или без перцу...

На загуменье деревни Нивищи, на сухом песочке, в трех шагах от озера, у ольхового куста, шевелится, потрескивает небольшой костер. В бледном пламени стоит таган, а на нем большой чугунок. Уха только что поставлена. Дочка деда Вячеры, еще не старая, подвижная вдова Надя, только что прибежала с жатвы — сварить обед мастерам, перекладывающим хату. Поставив уху, Надя чистит щуку. «Рыба с рыбой... Ну что ж! Ведь не у себя в печи...»

Слышно, как во дворе тюкают топоры. «Отец командует, дай ему бог здоровья. Этакое бревно приволок! И не спросила даже, где взял: в лесу или дома? Словно бы оно лежалое... Видать, свое. Под окна, говорит, очень подходящее. Хату-то ведь не новую рубят, а перекладывают старую. Пять кубометров только и дали в районе. Начальник молодой еще. «С лесом, говорит, теточка, у нас сейчас большой дефенцит. Стройтесь из местных материалов: из кирпича, из самана. А мы тогда поможем вам и шиферу достать». Говоришь ты, хлопче, может быть, и складно, да где ж я эти местные материалы возьму, коли их в нашем колхозе не делают? С моими ли зубами мышей ловить? Пускай уж когда хлопцы подымутся. Юрка вон с топором на углу сидит, как настоящий работник. А Михась...»

Она подняла глаза от щуки и посмотрела на озеро. От берега до глубины — идешь, идешь, идешь, да и надоест. «Вот малышам благодать! Как утята, плещутся на мелководье. Вон кричат! И Михась там, и Ганночка...»

Старик Вячера подошел почти неслышно. Когда Надя оглянулась на шорох босых ног, отец, по обыкновению без шапки, стоял за ее спиной, из-под руки глядя туда, где шумели малыши.

— Он нас вон где встретил! — показал рукой старик.

— Целехонький день из воды не вылезает, — с усмешкой заметила дочь. — А вас так дожидаться не мог. Уши все прожужжал: «Дед да дед!..»

— А она еще в лодке платьишко сбросила, штанишки сбросила, сама хлюп в воду. Понаучились! И не узнаешь теперь, которое твое: все голые, все плещутся, все кричат!..

— Вы, батя, прилегли бы где-нибудь да отдохнули. Сделают и без вас. А я вот скоро...

Старик, не отвечая, вошел в воду, даже не закатав своих серых штанов.

Свежих людей — скажем, дачников, которых много приезжает на рыбхозовский берег, — очень удивляет, что рыбаки зачастую совсем не умеют плавать. Кто не умеет, а кто и не любит. Савка Секач из Подволоки и спал бы, кажется, в лодке, а уже лет двадцать — сам хвалится — не купался в озере. Пускай себе удивляются, кто хочет. И старик Вячера, «король угрей», тоже плавает как топор. Об этом страшно думать, когда смотришь, как он спокойно стоит в лодке, выбирая перемет, а лодку швыряет с волны на волну, как щепку!..

Чтоб легче было сгибать натруженную на срубе спину, старик остановился только тогда, когда вода была ему по колено. С усилием нагнулся, зачерпнул жилистыми сверху и корявыми на ладонях руками чистую теплую воду и с наслаждением зафыркал. Еще и еще раз. Хорошо! Хотел было окликнуть внуков, но подумал: «Пускай себе! Им теперь не до деда...» И побрел обратно к берегу.

— Есть такие, — начал он, присев у костра, — только и смотрят, как бы где урвать, цапнуть, стащить... Чужому не скажу, доченька, потому стыдно... И я ведь тебе колоду не свою хотел привезти, а тоже краденую. Вчера такое меня зло разобрало за эту подсочку... Я говорил уже тебе. Да и на Василя Романовича, что тянет... Уже с Иваном до самой Дикой Бабы доплыли. Леснику Буглацкому, думаю, залью глаза какой-нибудь там перцовкой — и как камень в воду... Однако уберег меня господь на старости лет. Не наелся ты, говорит, Вячера, так и не налижешься. Пускай стоит та сосна да бога хвалит, что я хотел, да он хотенье отнял...

Хвост дыма, черт его знает откуда и как взявшийся, махнул Наде в глаза. Не утирая слезы, женщина смотрела на отца, держа сковородку за длинную ручку, и не могла придумать, как начать.

— Может, батя, Ивану это не понравится, что вы свое, готовое со двора берете? Ивану или Мане...

— Оно известно, доченька, готовое каждый дурак может взять. Но я еще в своей хате хозяин. Кому не понравится, так тот и помолчит. Скажем, мое солнышко уже на закате, не могу я, как прежде, день и ночь — на угря ли тебе, или на силяву, или на щуку... Однако же

и пенсия моя, мои пятьсот рублей тоже на земле не валяются!.. Да что-то мы с тобой, доченька, не о том. Брат тебе Иван или не брат? Двое ведь вас только — меньших — и осталось у меня. А такой Мани, как наша, днем с огнем поискать...

К слезе от дыма прибавилась вдруг еще одна. Надя ниже склонилась над сковородой.

— Ничего, доченька... Кабы беда, только по лесу ходила! Здесь не подменишь: дай-ка я за тебя помру. Сколько раз лег бы я за это время!.. Мать твоя, покойница...

Но здесь их взрослую, грустную беседу прервал детский смех и крик:

— Ура! Сдавайся!

Это кричал Михась, и поддерживала его, не менее воинственно, Ганночка. Оба голые, мокрые, в песке.

Они подкрались из-за куста. Все вышло очень удачно. Сперва они ползли — совсем-совсем так, как Михась видел недавно в кино. Потом бежали согнувшись. Потом опять ползли... Да вот только дед совсем не испугался. Он сидит, обняв худыми руками мокрые колени, и, закинув голову, хохочет.

— Дед! Ну дед! Ну хватит!

— Хватит, внучек, хватит. Не буду.

— Ты на войне был?

— Да провались она,— был.

— Я знаю! И на японской, и на николаевской, и с панами за озеро воевал!.. За ту войну у тебя георгиевский крест, а за эту — партизанская медаль. Потому что ты уже был старый и только так помогал партизанам!..

— Будет тебе! Затвердил, как молитву! — попыталась остановить его мать.

— А Ганночка говорит, что, если мы подкроемся и крикнем, дед испугается... А ты...

— И не говорила! И не говорила! — смеялась, пытаясь зажать ему рот ладонью, девочка.

— А я ей говорю...

— Да будет тебе, смола! — крикнула мать. — Где ваша одежда?

— Там!

— Вояка! Раскричался тут, голопупый! А ну бегом одеваться! Обедать будем.

Все это говорилось не только беззлобно, даже с какой-то суровой многообещающей нежностью. Голые, вы-

пестованные солнцем и водой рыбацкие ангелочки, хотя и без крыльев, рванулись с места, потешно перебирая ногами по желтому и рыхлому горячему песку.

— Девчушка, не сглазить бы, как колобок! — засмеялся вдогонку старик. — И Михась удалой хлопец. Чисто ершик, да и только! Радость одна — и малой и старший. Справные хлопцы, доченька, а ты...

Вскоре ершик и колобок, один — в черных коротеньких штанишках, а другая — в светлом платице, шли рядом со стариком по дорожке от берега к срубу, и до чего же им хотелось взять своего дедулю за руки. Однако обе они были заняты: дед нес перед собой большой черный чугунок с горячей ухой, обернув его тряпкой. Мать хотела взять чугунок сама, но дед ей не дал. И вот она идет сзади и несет только сковороду и миску с кусками жареной щуки.

— Дед! — забегают вперед Михась.

— Ну что?

— А ты поднял бы то полено?

— Какое?

— Ну то, что ты приволок!

— А-а, то. Надо полагать, поднял бы. Только, если бы выхлебал всю эту уху да, может, еще кабы умял всю щуку. Ну и хлеба тоже буханку с доброе колесо.

— А мы купались, так ребята говорят, что ты не поднял бы.

— Э, ничего они не знают.

— Глобышев Ленька... Так он не знает даже, за что тебя зовут «король угрей»!..

— Вот видишь! Какой, внучек, король, такая и слава.

Возле сруба, под сиренью, обедали: дед, мама, ихний Юрка, два чужих дядьки, которые нанялись перекладывать хату, и они — Ганночка с Михасем. Малыши сидели, конечно, по обе руки деда. Потом мама опять ушла в поле, а те дядьки, Юрка и дед «прилегли чуток отдохнуть». Чуток, чуток... А сами уже и заснули, уже и храпят!

Михась задумался, стоя перед своей гостьей посреди пустого залитого солнцем двора, усыпанного щепой и перетертой соломой со старой крыши. На вишне они сегодня были дважды. Яблоню тоже трясло. В рот ничего не возьмешь от оскотины. Купаться, пожалуй, попозже. На большак идти — неохота. В поле, следом за мамой, — ничего не выйдет, все равно прогонит назад...

— Давай в классы поиграем! — сказала Ганночка.

Они отгребли солому и щепки, нарисовали палочкой «классы». Попрыгали немножко на одной ноге, а потом Михась сказал, что больше не хочет.

— Я скоро пойду в школу, — сообщил он новость, которую уже и Ганночка слышала не раз. — Мне еще двух месяцев не хватает до семи лет, а учитель говорит: ничего. И я уже писать умею.

— Ну, напиши что-нибудь. Как наша Геля.

— Как раз, много твоя Геля напишет!..

Чем написать — Михась знает. У старшего плотника, дядьки Антося, который храпит вон там между дедом и Юркой, есть за голенищем черный плоский карандаш. Он очень большой и называется столярным. Долго не раздумывая и не посоветовавшись с Ганночкой, Михась на цыпочках подкрался к дядькиной ноге и осторожненько, даже подперев языком щеку, вытащил этот столярный карандаш. «На стенах пишут только такими. Напишем — и опять его дядьке за голенище. А написать лучше всего здесь».

Сосновое бревно, которое дед утром притащил, было уже хорошо обтесано, взято в углы и называлось теперь «подоконьем». Оно легло в стену как раз на высоте Михасевого лба. Забыв, что дядькин карандаш не химический, мальчик послунил его и взялся за работу. Пока он, пыхтя, опять подперев щеку языком, выводил шесть букв, из которых слагались два его заветных слова, Ганночка смотрела на руку Михася и на таинственные выкрутасы толстого карандаша как зачарованная. За шестой буквой стала точка. Чтобы ее написать, Михась в последний раз послунил столярный карандаш и ввинтил эту точку ямочкой в не совсем затвердевшую смолисто-ароматную древесину.

— О! — произнес он тоном победителя.

— А что это?

— Вот и не знаешь!

— Ми-хась-ка, что-о?

Черненький, загорелый ершик, внук старого «короля угрей», гордо и радостно прочел:

— «Мой дед».

МАРЫЛЯ

У богатого дядьки Жука, до поры разрешившись, померла невестка Марыля.

Свели молодицу со свету свои же. Свекор был зверь и скаред, «утроба ненасытная». А сынок — и того почище. Воза сена наложить не мог, никчёма, и без перестану злился. А кто ж всегда под рукой, как не жена? Ей и доставалось. Когда только поженились, так он и побить ее толком не умел, потом уж научился. Свекровь больно была жадна до работы. Когда-то даже детей в поле или на гряде рожала. Теперь ходила сгорбившись и все подбегом, рысцой, как будто ей, пуще чем всему свету, времени не хватало. На базар едет, и то, кажется, бежала бы на возу, чтоб скорей управиться. По совести, ей и вовсе не следовало бы работать, а она, глядь, везде поспевает. Всю молотьбу цепом отмахает вместе с молодыми. Тогда уж, само собой, смело пилить можно: «Я вот и то, и то, а вы что же?» Сквалыга — не приведи господь...

Марыля — сирота из дальней деревни. И толкнул же ее нечистый выйти за этого Ивана! Жила она дома с отцом и братом. Потом отец помер и отписал ей целых полторы десятины, потому что была она с изъяном: на правой руке три пальца наискосок отжевало шестерней молотилки. От золотой руки первой на деревне жнеи и пряжи осталась культя. Марыля заматывала ее косынкой, сперва от боли, а потом от стыда. Сваты стали обходить ее, и молодость увяла без времени. Марыля была тихая, работающая и девичью свою печаль прятала глубоко: по глазам — погрустневшим, правда, после несчастья — не узнать было, сколько слез пролили они тайком. Думала уже в девках вековать, да с думкой этой можно было жить, покуда дома ее жалели. Со временем

же пришлось всякого послушаться от брата, а уж от братовой жены,— и говорить нечего... Марыля стала совсем чужой и лишней в отцовской хате, и чем дальше, тем все больше думала о замужестве — какой бы ни был, только бы свой угол. И вот тогда принесло Ивана.

Послушать бы надо, что говорят о нем люди, но точно туман нашел на девчину, ничего не видела. Приехали они тогда,— мамочки! — водка, конфеты, вино... Сватом был купец-свинобой. Одеты оба по-пански. А как начал сват говорить — заслушаешься, да и только! Иван с первого же взгляда не понравился ей. Рассказывает, сколько у них поля, коров, свиней, как он с мамой лен полел. И все икает спьяна, все дымит папиросой прямо в глаза. А нос, нос! — будто чем налитой, сам вниз смотрит и тянет за собой выпученные глаза. Пришлось, однако, пойти, потому что не было надежды на лучшего.

О приданом долго не спорили. Полторы десятины — это почти половина всего отцова хозяйства. Просить у Микиты, Марылиного брата, больше можно было, только не имея совести. Однако сват не постыдился потребовать еще и корову.

— Молочко нужно не мне и не вам, оно понадобится дочкам, сынкам,— говорил он Миките.— Наше дело старое, а их — молодое. Молодой с молодушкой, раз-два и дочушка, а через годок — сынок, а то и снова дочка, подай молочка, и точка! Не скупитесь, пане Микита, и будет у нас все шито-крыто...

Микита был человек горячий, часто бранился, случилось, и кулакам волю давал, однако устоять перед сватом не смог,— уступил и корову, хотя у него в хате тоже были малыши. А провожая Марылю, расплакался, как бобер, и все отдал потом, и свадьбу справил из последнего, как все добрые люди.

Вечером, накануне свадьбы, девчата, заплетая венок из руты, запели:

Сборная суббота настает,
Марылька дружину в дом зовет.
Нет ее моложе среди всех,
Опустила головушку ниже всех,
Опустила головушку с косою,
Полилися слезоньки рекою...

И Марыля заплакала. Заплакала не свадебными слезами, по обычаю, а настоящими, сиротскими. Так ясно

увидела она сейчас, что зря прошла ее молодость, что и теперь на счастье надеяться трудно...

— Не плачь, голубка, стерпится,— шептала ей тетка, мамина сестра, и, оглянувшись на Стэпку, Микитову бабу, зашептала еще тише: — Хоть не будешь без хлеба, да без доброго слова маяться, как у этой змеи.

Но Марыля не слышала, не понимала ничего. Она все плакала, припав к теткиной груди.

...Грызня, побои, беспросветный труд... Дома даже с культей работницей была, а там недотепой прозвали. Переделай — худо, недоделай — еще хуже! А погода старики вдруг спохватились, что мало их «Ванечка» приданого взял... Тогда пошло еще горше.

И почему ж не узнала она вовремя об Иване, почему не нашелся добрый человек да не сказал ей всего, почему и ее ослепило?.. Лучше бы уж наймишкой век вековать.

Этот придурок никак не мог ожениться. Куда ни ткнется — примут, известно, богатый,— но поглядят на него, послушают, что люди о нем говорят, и на попятный. Тогда взялся женить его пан Чижевский, тот самый торгош из местечка, свинобой. Ведь вот — собачник и пьяница, а брехать ловок,— хоть кого убаюкает. Как возненавидела она, узнав обо всем, его толстую, свиную морду!.. Уходила из хаты, когда он к ним заезжал.

...Высохла девичья грудь, провалились глаза, культя всегда обернута тряпицей, а левая рука корявая, потрескавшаяся. Поначалу хоть песни пелись. Как вспомнит о своей доле — в напеве сиротской тоски и печали выльет то, что сжимало горло, перехватывало дыхание, и хотелось по-детски заплакать: «Мамочка, голубка!..» А потом и это уж стало не в мочь.



На второй год понесла Марыля первое дитя. Но и это не избавило ее от пекла. На восьмом месяце и случилась та беда, что свела молодницу в могилу.

Перед косовицей кончилась в погребке картошка, и старик приказал бабам очистить погреб. Сам он крыл гумно у соседа, а Иван поехал на мельницу. Марыля забралась в яму, наскребла первую корзину грязи, перемешанной с гнилой картошкой и кострицей, и, подавая

ее наверх свекрови,— вдруг охнула, бросила корзину и села...

Как только прошла эта ночка!.. Под утро как будто отлегло. Свекровь знала, что быть беде, и потому не пошла на лен, а стала полоть гряды. «Ну и свет нынче,— бормотала она,— чуть что, и на тебе...» Старик чинил в хате хомут. Марыля лежала на полатах с кафтаном под головой и, не умолкая, стонала. Вдруг она пронзительно ойкнула раз и другой... Началось. Старый Жук еще ниже сгорбился над хомутом, а потом не выдержал все-таки,— вышел и позвал старуху. Обтирая черные руки подолом, тетка Катерина засеменила в хату. Старик постоял у плетня, уставившись на грядку, пошел под гумно, вернулся к клети, снова постоял над плетнем, тупо глядя на зелень,— и нигде не мог найти себе места.

«Что же это? — подумал он.— Испугался?» — и пошел в хату.

— Мамочки мои, а-а-ах, род-нень-кие-е-е... — стонала Марыля. Не глядя в ту сторону, старик прошел и уселся над хомутом.

— А тебе, дурню, чего тут надо? — закричала старуха, выбегая из кухни с чугуном воды.

Старик виновато сгорбился и засуетился: за хомут да из хаты... Но и в клети он не мог взяться за работу. Слушал. Марыля кричала хриплым, звериным голосом, а потом затихла. «Видать, конец?» — подумал старик. И вдруг слышит: шлеп, шлеп, шлеп от сеней — идет его Катерина.

— Ну, бросай хомут, Степаи: надо гробик сколотить,— сказала она, входя в клеть.— Боже мой, боже!.. И что ж это делается? — И вдруг — а-ха-ха-а! — заплакала навзрыд.

...В ногах у сомлевшей невестки лежало мертвое дитя. Старик глянул на него и молча двинулся из хаты. Взял в каморке топор, пилу, горсть гвоздей и пошел в клеть. Руки у него как-то странно дрожали. Присел на колоде и закурил люльку. Успокоившись немного, взобрался на чердак и стал со стуком перекладывать доски, отыскивая нужный кусок. Выбрав источенную шашелем шелевку, сбросил ее вниз, поскреб немного рубанком, распилил и сбил гробик.

К тому времени вернулся с мельницы Иван. Он вошел в хату, ничего не зная.

— Ты, пададь, обормот криволапый! — встретила его мать.— Сколько раз я тебе говорила: не бей! Дорвешься — съел бы ее, чтоб тебя короста заела, чтоб тебя! Теперь вот получай!.. Тяни носом, петля бы тебя затянула!..

На этот раз Иван смолчал и понуро поплелся из хаты.

Старуха вытащила из-под изголовья грязную, протертую на спине рубаху, оторвала лоскут, завернула в него необмытое тельце ребенка и положила его в гробик. Неловко стучая молотком и загибая старые гвозди, сама забила крышку и, покликав из сеней Ивана, приказала ему нести гробик за ней.

Марыля зашевелилась, повернула голову и открыла глаза.

— Ах, ма-моч-ки-и... Мама, сынок?..

— Неживое, детка, оно неживое... Никто тому не виною. Вот понесем, похороним...

Марыля вытянула руки, хотела опереться и встать, но сил не хватило. Только рывком подняла простоволосую голову, уронила ее снова на кафтан и, закрыв глаза, заплакала...

Старуха взяла в сенях лопату и засеменила на загуменье. Следом за ней шел Иван, неся под мышкой гробик.

...Наутро той же стежкой шли на кладбище четверо мужчин с лопатами: копать другую, уже большую могилу...



— Молчи уж со своим «по-хорошему»! Он ее со свету сжил, а ты... Задушить его мало за это! Я с него шкуру полосами драл бы!..— кричал Марылин брат Микита.

Его по-детски пухлые губы дрожали от злости под рыжеватыми запущенными усами. Из-под шапки выбивалась лохматая, нестриженная чуприна, блестели глаза. От него несло водкой, слюна так и брызгала изо рта на шурина Сымона, сидевшего рядом с ним. Микитова баба, сухопарая, белобрысая Стэпка, с хитрыми, как у Сымона, глазами, сидела на передке. Они возвращались с похорон Марыли. Возвращались до времени, так как пьяный Микита расплакался со злости и, схватив ска-

мейку, кинулся на Ивана. Их разняли, и осторожный Сымон поспешил убраться. Они отъехали уже четыре километра от Подгорья, а Микита все еще ярился. Стоило ему вспомнить лицо мертвой Марыли и стук комьев земли по доскам гроба,— снова хотелось бить носатую морду недоумка Ивана, убийцы его сестры...

— Эх, Микита,— говорил Сымон,— ты вот и на меня уже злишься. Тут, брат, ни кулаки, ни слезы не помогут. Ну, что ж, наложили б нам сколько влезет, и всё... А надо по-хорошему. Марылю из гроба не подымешь, а приданое надо вернуть. И поле, и корову. Детей нет — черту лысому даришь? Молодой Жук — балда, да старик ходовой человек, с ним без суда не обойдешься. И ты не зевай, а в суд, по-хорошему, во! Тут еще путает дело, что поле сменили, да и это ничего.

— Вот-вот,— согласилась Стэпка,— а то прыскает слюной, только и всего. Я уже говорила...

— Что ты говорила? Я сам знаю лучше вас! Она у меня не сестра, а сестренка была, а он!..

— Эй, машина вон, держи! — перебила его Стэпка.— Держи хоть ты, Сымон!..

Из-за пригорка, блеснув стеклами под лучами заходящего солнца, с ревом выполз автобус.

— Я и сам свою кобылу удержу! — кричал Микита.— Никаких мне чертей не надо, сам растил. Машка, гляди!

А Машка уже закусил удила. Это была гнедая, еще не до смерти замученная кобылка, из тех горемык, что тащат по свету мужицкую тяжкую долю.

— Держи, чтоб тебя схватило и не отпускало, чтоб тебя! — кричала Стэпка, но Микита мог видеть только, ее разинутый рот, руки, отчаянно вцепившиеся в грядку телеги. Веселый шофер загудел.

— Чтоб у тебя так в горле гудело! — кричала Стэпка.

Машку вот-вот посадили бы на хвост, да левая вожжа,— известно, вся в узлах,— лопнула, и Машка полетела через канаву направо, в рожь. Телега перевернулась. Сымон, выкарабкавшись из-под Микиты, схватил кобылу за уздечку. Забыв о своем страхе, Машка жадно хватала сизые колосья цветущего жита.

— Пьяница ты, лежебока! Вожжей путных нету! — ругалась, барахтаясь под возом, Стэпка.

— Дай мне, дай мне эту пададь! — бросился Микита к Машке. Он лупил ее кулаками по храпу, а кобыла втягивала голову в хомут и отворачивалась, не выпуская из зубов захваченных колосьев и серо-зеленых молодых стеблей.

— Еще мало, мало тебе?..

От удара по кости заныла рука, а у Машки на губах показалась кровь.

— Мало, еще мало тебе?..

Казалось, всю обиду свою хочет на ней выместить. Потом заплакал, обмяк. А она только мотнула головой да снова за колосья.

— Ну, что ты за хозяин? Разве ж так надо по-хорошему? Эх, ты!..— говорил Сымон, связывая вожжу. Микита молчал. Бессильная злоба излилась на Машку, его безотказную помощницу, и ясна стала вся бессмысленность и дикость этой горькой злобы.

— Помоги,— приказал Сымон, берясь за перевернутую телегу. Микита с виноватым видом помог, а потом попросил:

— Я лягу, Сымон, а ты за меня потрудишься...

...Солнце зашло, надвигались сумерки — тихие, свежие, с росой и комарами. Машка, уже забыв обиду, деловито тупала по песку, тычась вперед голубиной походкой. Брат толковал сестре о том, как им отсудить Марылино приданое, говорил спокойно, «по-хорошему», и сестра поддакивала ему. А мужик ее, бедный лохматый Микита, лежал ничком и ничего не слышал: сначала он вздрагивал от глубоких, из самого сердца, рыданий, а потом уснул и захрапел.

«Уж я-то за него возьмусь!» — все возвращалась к этой мысли Стэпка.



— А дело, брат, это очень простое,— говорил старому Жуку пан Чижевский.— Тебе, значит, надо вот так: бабе и сыну вдолби, что покойница невестка сама захотела свое приданое продать, потому земля была вам не с руки. Вы хотели те же полторы десятины поближе купить, а она была гуляка: лишь бы одеться хорошо, поесть, выпить, конфеток, скажем, пососать. Деньги что вода — сюда, туда, и перевела без толку...

— Да видите, пан Чижевский...

— Что тут «пан Чижевский»? Свидетели — главное. Ты, брат, сам должен знать, не маленький: не подмажешь, не поедешь.

— Я знаю. Я только к тому — удастся ли.

— Отчего же вдруг «удастся ли»? Присяга, правда... Но кто ж ее нынче боится? Ну как, подумай — свидетели найдутся?

Разговор этот происходил в местечке, в отдельной комнатухе корчмы. На столике стояла бутылка и закуска. Жук получил вчера повестку в суд, — Микита подал на него, чтоб вернуть Марылино приданое, — и, как с каждым важным делом, он пришел с этой повесткой к Чижевскому. Это был местечковый кулак, наживший на торговле свиньями толстую мошну и еще более толстую морду. С каждым днем он становился все больше и больше похож на свой товар, и видом и естеством. Никакая подлость, начиная от недовешивания и обсчитывания и кончая хотя бы делом вроде сегодняшнего, не останавливала его, был бы только барыш. Жук каждый год продавал ему два-три откормленных борова, и между ним и Чижевским давно завязалось что-то вроде дружбы. Марылино приданое продали, правда, с ее согласия, и купили столько же земли поближе. И потому можно было теперь опасаться, что Микита отсудит его...

— Ну, как ты, Жук, надумал что? Или мне искать?

— Да вот разве Лустач или Свисток, — отвечал старик, поразмыслив.

— Оба пойдут, — сказал свинобой. — А третий есть у меня. Говаку Юзика знаешь?

— А как же.

— Ну, так ты их позови. Они сегодня на базаре. Да, впрочем, и Говаку сам покличь. Скажи ему, что я просил. А я вас тут подожду. Подготовлю все, как положено...

...На базаре в гуще возов с поднятыми оглоблями старый Жук первым нашел Лустача. Рядом с ним у воза стоял и Роман Чечотка, по прозвищу Свисток.

Лустачиха, окончив свои дела, уже сидела на возу и смотрела на лошадь, похрустывающую сеном из передка, — смотрела угрюмо и тупо, дожидаясь, когда ж это лошадь повернется к ней задом и повезет ее, наконец, домой... «И чего он все еще копается тут? — сердито ду-

мала она о муже.— Нализаться не успел, побей его гром!..»

Жук поздоровался, отвел Лустача в сторону и стал с ним шептаться.

Лустач был примакom довольно редкой среди них породы, которые умеют сразу захватить в доме власть, после чего жене остается только огрызаться, издаleка и с опаской, чтобы не попасть под горячую руку. Этот тоже был из тех подлецов среднего разбора, которые способны защищать свои интересы любыми средствами, правда, не нападая первым. Но за добрую чарку он готов был и другому помочь, так как на свою чарку не всегда хватало.

— Это можно,— сказал он, довольно быстро раскусив, в чем дело. Чаркой запахло ощутительно. Он дождался как раз того, без чего ему так скучно было возвращаться домой.— Роман! — позвал он Свистка.— Поди сюда!

Роман Чечотка, высокий, подвижной мужчина в аккуратных лапоточках, был при царе городoвым и до сих пор не мог привыкнуть к работе на земле. За старую службу его прозвали Свистком. Хозяйство было у него маленькое, две десятины, поле доброе, но без умелых рук хлеба давало немного. Свисток «сделал комбинацию» — продал отцовскую землю и купил шесть десятин песку за Неманом, перевез туда свои постройки и стал считаться хуторянином. Подросли дети, взялись за дело лучше отца, но песок не стал от этого плодороднее чернозема, брошенного в родной деревне. Нельзя сказать, чтобы Чечотка недоволен был именно панской Польшей, чтобы он, как другие бедняки, ждал прихода Советской власти. Свисток вообще, не углубляясь в политику, ждал перемены, прихода другой власти, которая отметила бы его былые заслуги и чин. Сегодня Роман приехал купить пудик ржи. От самого дома он всю дорогу «обдумывал комбинацию» — как бы от тех двух злотых, что жена собрала, продавая яйца и масло, оторвать пару грóшей на чарку. Женки он не боялся. Вот ведь и на базар сегодня приехал один. Но за женой теперь стояли два взрослых сына. Они уже разговаривали с отцом, как мужчины, и это было не очень приятно...

Сейчас Свисток, с мешком под мышкой, слушал Жука и Лустача, дружка своего еще с японской войны,—

и с первых же слов почуял, что бог наконец обратил на него свой взор.

— Коли надо, так надо,— сказал он.— Вот только должен я зайти к Цукерману, ржи купить.

— Зайдешь потом,— солидно сказал Лустач.— Цукерман твой в лес не убежит.

— И то правда,— так же солидно согласился Свисток. Он подошел к возу приятеля и кинул на него свой мешок.

Лустачиха все поняла.

— Пилип,— сказала она.— Опять налижешься! А я тут стой до ночи.

— Трясца тебя не возьмет,— отвечал примак.— Сиди себе и ворчи сколько влезет. Пошли, мужики!

Старый Жук сказал им, куда идти, а сам отправился искать Говаку.

Говака сегодня тоже был на базаре без бабы, с рябой, как кукушка, дочкою. Она стояла у воза, глядя, как отец собирается запрягать кобылу.

Выслушав просьбу Жука, Юзик Говака, мужчина в новом рыжем полушубке и в крепких, заляпанных навозом сапогах, повернул коня в оглоблях головой к передку и прислонил дугу к колесу.

— Когда Чижевский там,— сказал он,— так и я тебе, браток, не враг. Пойдем и сделаем.

Это был уже матерый подлец, для которого подлость давно стала символом веры. Вся округа, кроме его немногочисленных приятелей, людей, разумеется, «не менее достойных», считала Говаку гадиной, которую лучше не трогать. Но он, чаще всего, сам трогал. Сразу после войны Говака приобрел за бесценок недурной хутор поблизости от своей деревни и, судом отбившись от домоганий законных наследников покойника хуторянина, вошел во вкус сутяжничества и умел выигрывать дела. Потравит твою рожь овечками да, гляди, тебя еще и засудит, если сунешься к «сендзи покою» — мировому судье.

Жука Говака считал себе ровней, «настоящим хозяином», и просьбу его исполнить согласился охотно. К тому же суд — дело привычное, а даровую чарку выпить в хорошей компании — тоже можно.

— Я, брат, кстати Чижевского сегодня еще не видел,— говорил он, идя рядом с Жуком к корчме,

Через две недели состоялся суд. Миките отказали в иске, основываясь на показаниях свидетелей, которые единодушно подтвердили, что приданое свое Марыля сама продала и прогуляла. А полторы десятины в урочище «Новинки» куплены, мол, Жуком за его кровные деньги.

— Встать! — строго крикнул судебный пристав.

Присутствующие встали. Судья надел свою шапочку и торжественно начал:

— Именем Речи Посполитой Польской...

А перед ним стоял растрепанный Микита, в лаптях и дырявой куртке. Он смотрел на довольные рожи Ивана, старого Жука и их свидетелей, и ему хотелось схватить с покрытого зеленым сукном стола крест с распятым богом и швырнуть его в сытую, важную морду судьи... Но перед ним на этот раз была не Машка, и не его баба, на которых можно безнаказанно сорвать злость, а грозная стена, которую ни сдвинуть, ни пробить головой.

— Пан судья,— сказал Микита уже со слезами на глазах,— я не согласен с решением. Я буду подавать выше...

— Ваше право,— спокойно отвечал судья,— на это есть окружной суд в Новогрудке.

...В той же корчме Жук с сыном, Чижевским и свидетелями sprыскивали выигранную тяжбу. А в это время по большаку голубиной походкой спешила тощая горемыка Машка. Микита, выпив с горя, лежал ничком на телеге и уже совсем не понимал, то ли смириться с несправедливостью, то ли подавать выше,— где ему, при его бедности и простоте, тоже вряд ли добиться правды...

ПРАВЕДНИКИ И ЗЛОДЕИ

1

Было это в январе тридцать седьмого года. Петрусь Гриб, один из богатеев местечка Дворок, прослышал, что лес его рубят нещадно, еще больше, чем всегда.

«Поеду,— решил старик,— погляжу, а может, и поймать кого удастся...»

Надо ж было случиться, чтоб в ту ночь, когда он должен был выехать, баба его — всегда точная, как будильник,— проспала.

Лежали они оба на печи — Гриб к стенке, а Грибиха к хате, ближе к стенным часам. Глуховатый под старость, Петрусь спал еще крепко, мог не услышать часов, и потому понадеялся на свою Аксиныю.

На большом сундуке старухи, на сеннике и с подушкой — все, как полагается,— спал ночлежник.

Много теперь народу ходит по большаку,— раздумывала с вечера Грибиха.— То безработные, то святые, то политики. Вот и им староста привел одного из тех, кто после тюрьмы за коммуны и не имеет права проживать в своей волости, а идет невесть куда, на высылку. Кажется, живи себе человек как человек, так нет — куда там! Петрусь ему про лес, про нашу беду начал, а он... Выходит, по-ихнему, что чуть ли не мы сами виноваты, а не тот, кто наше добро крадет.

Петрусь не стал с ним долго разговаривать. «Будем, говорит, лампу тушить, хватит. Мне завтра в лес как можно пораньше, а вам — почему ж нет! — хорошо похаживать, есть время и поговорить...»

Отвернулся Петрусь и заснул — слава богу за сон...

Сама старуха никак не могла уснуть. Разбередил ей душу этот хлопец. Долго сидела на печи без огня и все думала, вспоминала...

Жили они с Петрусем, можно сказать, всю жизнь одни. От сына Михася путной помощи не было. Сперва учился, а потом — фельдшером стал. Учили его, думали — корысть будет, почет, уважение. А он больше из хаты, чем в хату тащил. Подумать только — лекарства голытьбе на свои деньги покупал! А заработает грош какой несчастный, так и тот от родителей скроет, чтобы опять-таки отдать... Уж был бы лучше неученый, да разумный, как отец с матерью. Заснет он, бывало, а они — давай шарить деньги по карманам у него или в книгах. А он однажды возьми да проснись, — а может, и вовсе не спал, — и вышла у них с отцом свара. Подумать только — отца иудой назвал... А чаще так бывало: сунет утром руку в карман, покачает головой и скажет: «Ну и люди же вы, мать...»

Рано Михась налетался. Не хотел отца слушать. Подхватил где-то тиф, лежал несколько дней и помер. Годы через три что-то, после того как царя скинули, начался у них тиф. Так Михасю и удержу не было, покуда не наскочил.

Какой бы он там ни был, все ж таки своя кровь. Да и один ведь как зрачок в глазу. Горевали крепко, сколько слез она пролила!.. Все самое лучшее тогда вспоминалось, каждая ласка... Не отходила она от него ни на шаг день и ночь. И как-то раз повел сынок взглядом по хате, остановил глаза на ней... «Мама, старушка моя...» — прошептали сухие, горячие губы. И она ответила ему накипевшими за все это время слезами. Поднял руку, и рука бессильно упала старухе на колени. Пальцы зашевелились, нашли ее руку... А тут скрипнула дверь, и, как тень, встал на пороге Петрусь. Михась попытался подняться. «А-а, это ты, отец, — сипло пробормотал он, — деньги пришел искать...» И снова упал на подушку.

Это были его последние слова.

Правда, зря на отца грешил, да простит ему господь. Для кого ж, как не для него, копили они весь век? А что он против бога пошел, так пускай бог его помилует...

Долго после того жили они совсем уж одни, сил покуда хватало. Петрусь — хозяин хоть куда. Закрома все-

гда полны. Два раза горел, два раза отстроился. Горел из-за лихих соседей: поджигали. Теперь вот дом как стеклышко, пятистенка, службы глинобитные. На лето нанимали батрака, покупали вторую лошадь, навоз прикупали у лавочников-евреев, поле обрабатывали как следует, вот оно и давало. Да и у нее овощ не хуже, чем у огородников-татар. Они с Петрусем не старались, как иные, получше поесть, выпить, одеться. Думали о достатке, чтоб люди, каждый, как говорится, дурак, не смеялись. Помолился богу, да и пошел, не разгибая спины, от темна до темна. И «бог давал»: и хозяйство ладное, и в мешочек, на дно этого самого сундука, подкладывались одна за другой «червонные головки» — николаевские золотые пятерки и десятки. «На черный день. Самое верное дело...» К зиме батрака отпускали, продавали лошадь, зимовали вдвоем. Тяжеленько, да зато спокойно.

А потом попутал-таки нечистый. Надумали себе подмогу взять и родичей облагодетельствовать. У него был племянник, — э, босяк какой-то здесь в местечке, — а у нее племянница — славная девчина, хозяйка справная, хоть и деревенщина. Ведь говорила же: бог — богом, а бумажка само собой, бумажку надо сделать. Да Петрусь не послушал. Пошло одно за другим... Где уж! — с родным дитем не ужился, а это ж чужие. Спихватился Петрусь прогнать, да куда там — Ваньку голыми руками не возьмешь. Ганны только жалко было. Девка она невидная, а Ванька — хват! Вовек бы он Ганны не взял, когда б на Грибово добро не позарился. А тут начал еще бить ее и грозиться: «Брошу!»

А еще у них девчоночка родилась, Лидочка. Не могла и подумать старуха, как это с Лидочкой разлучиться. Однако своя рубашка ближе к телу. Выжили они «примаков». Да так-таки ни с чем! Петрусь — ходок, умеет судиться. Ну, да и золото что-нибудь значит.

И вот снова живут целый год одни. Дом почистили, подкрасили, сдали под квартиры панам чиновникам, а сами кое-как в боковушке-кухне. Много ли им надо! Летом, как и в прошлые годы, управились. Теперь батрака отпустили, лошадь продали, и живется спокойненько.

Да вот прослышал Петрусь, что болотская беднота — злодеи эти! — лес ихний рубят. Хочет завтра поехать. Лошадь у Лейзера взял. Не проспать бы...

Так думала старуха, засыпая.

И проспала.

Приснилась ей Лидочка, звездочка ее ненаглядная, внучка, хоть и не родная. Приснилась в точности, как это раньше и бывало. Искупала она Лидочку будто бы и качает, поет:

Люли, люли, люли,—
Кота в лапти обули...

— А-а-а,— тянет Лидочка из-под косынки, помогая бабушке. А потом — и спит же, кажется! — подняла головкой косынку, стащила ее ручкой, смеется, рыбка, и говорит: — Бабуля, бу-у!..

— Бу-у, бу, негодница, бу-у-у,— упирается бабка морщинистым лбом в тепленький лобик внучки.

Тогда Лидочка ловит бабушкины губы открытым ротиком, как птенчик... А потом, шельма, за поцелуй:

— Бабуля,— говорит,— опа-па...

— Бессонница ты моя,— укоряет бабушка. Берет Лидочку на руки и садится с ней на низкой скамеечке перед печкой.

— Онъ, онъ,— показывает Лидочка пальчиком на огонь в печке.

— Огонь, огонь, коток,— отвечает старуха. А сама загляделась, как зыблются тени в ярком березовом жару, и снова думает о том, что ушел из хаты мир и покой и только Лидочка, как искра божья, светит среди них и соединяет их в одну семью. А то и носы бы друг другу пооткусывали...

Проснулась старуха и задумалась. Как-то они теперь — Ганна, и Ванька, и Лидочка?.. Старые стенные часы тик-так, тик-так, а Грибиха все думает. Вдруг часы захрипели, и, набравшись духу, сипло бомкнули один раз, и снова пошли махать маятником под бородой и выстукивать: тик-так, тик-так...

«Первый час,— подумала старуха,— поспеет еще, ему бы хоть в три выехать из дому. А то, гляди, и сам иззябнет где-нибудь под кустом, поджидая вора».

Снова погрузилась в свои мысли...

Все то же в голове вертится: то ночлежник и сын, покойник Михась, то примаки и Лидочка... Грустно стало старухе, как подумала о своем одиночестве... Вот ведь — богатые, а и не вспомянет никто после смерти...

«А может, они неверно ходят?» — вдруг подумала Грибиха. Поднялась, нащупала спички и слезла с печи.

Зажгла лампу на столе и подошла с нею к часам. Подняла фитиль, зажмурилась. Сквозь пыль на стекле на Грибиху глядели цифры и стрелки старых, как она сама, часов. Тик-так, тик-так, тик-так...

«Ах ты! Без малого три, вот-вот зазвонит. А тут еще и лошадь Петрусь не кормил, и поесть не сготовлено...»

— Петрусь, вставай! — крикнула старуха, повернувшись к печи. — Вставай, одёр старый, три часа!..

Петрусь, хоть и глуховат, и спит еще крепко, сразу проснулся, сообразил, в чем дело, и стал ее ругать:

— Неряха ты безмозглая! Теперь что? — зря я Лейзеру лошадь накормил, чтоб тебе полыни наесться! А там весь лес порубят!..

Старуха снова вспомнила Лидочку, Михася, и вся ее злоба на жизнь, накопившаяся за многие годы, казалось, собралась в один комок:

— А я что, — заскрипела она, — камень? Мне больше всех надо? Ты тут разлеживайся, как пан, а я тебе везде поспевай. Шиш! Истоптались ноги — все одна... С тобой же никто не уживется. Ганну прогнал...

Удар кулаком прервал ее речь. Много ли надо!.. Старуха так и осела возле стола, обеими руками схватившись за сухую, впалую грудь. Старик испугался, что и это ей уже лишку — один-то кулак. Он постоял, затем дунул на лампу, оделся и вышел. А старуха перевела дух и заплакала.

Ночлежник на сундуке проснулся еще при первом крике, но только сейчас разобрал, в чем дело. «У-ух ты, какое гнездо!» — подумал он теми же, что и вчера, словами.

— Тетка, чего вы?

Старуха притихла: не ожидала, что он не спит.

— Тетка, что с вами?

...«Таким голосом говорил в тот раз Михась... И еще: «Мама, старушка моя...»

А хлопцу вспомнилась вдруг далекая, родная деревня. Там, за Барановичами, где начинается Полесье. Деревня, куда он вернулся,

...объездив без билета далекие сторонки —
Короньво, Гродно, Вронки...¹

¹ В этих городах находились известные тюрьмы буржуазной Польши. Строки — из написанного в те годы стихотворения М. Танка.

Как сильно изменился он за три года. А деревня и мама были, казалось, все те же. Он возмужал за это время. Уже не стыдясь своей жалости и ее старческих ласк, он целовал сухие, натруженные руки и почему-то дрожал. А теплые слезы катились... А она — все такая же, замученная работой, в лаптях, она целовала его губами, которые не могла свести от плача, прижимала к иссохшей груди его худую стриженую голову, обливала горячими слезами и твердила:

«Коля мой, милый мой Коля... Дитяtko мое, что они с тобой сделали!.. Что они сделали!..»

А сейчас вот другая мать здесь плачет. Только о чем и почему?

Микола встал с сундука и, босиком на холодном земляном полу, начал шарить в темноте. Угол стола... спички... Зажег одну, засветил лампу. Огляделся. Старуха сидела на земле у печи.

— Вставайте, тетка, я помогу.

— Я сама, сынок, я сама,— испугалась она. И сама встала. Доплелась до лавки. Села. А Микола снова лег. Долго оба молчали. Он смотрел на нее запавшими, влажными от слез глазами. Потом повернулся на спину, уставился в потолок и задумался...

— У меня тоже был сынок,— начала, помолчав, старуха.— Тоже доброе сердце, да простит ему бог...

— Я знаю, слышал.

Но тут зашаркали валенки, потом стукнула дверь, и еще до того, как Петрусь вошел в каморку, беседа оборвалась. Петрусь разделся, потушил огонь, полез на печь. Там он ногой об ногу сбросил с валенок галоши, и, одна за другой, они мягко шлепнулись на пол. Это были последние звуки. Затем мрак слился с тишиной.

Пока хозяин раздевался, ночлежник следил взглядом за его медленными важными движениями, и вчерашнее неприятное чувство снова вернулось к нему...

«До чего же отталкивающий и дикий старик! Как все-таки странно складывается иной раз жизнь: в такой семье, словно колос на мусорной куче, вырастает вдруг такой человек, как их сын...»

Вчера вечером староста, ведя Миколу сюда на ночлег, рассказывал о Грибовом сыне, и хитрая усмешка не сходила с его лица. Тот был «толстовец», а все-таки

стремился к чему-то лучшему. Вишь, не пошел за родителями, тянулся к бедноте, погиб в борьбе с болезнью... А мать его?.. Все они немножко друг на друга похожи, наши матери... Жалко старуху... А старый кулачина — мерзкий...

2

Утро наступило морозное, ясное. Пока растаяли в небе звезды, побелел осколок месяца и зарумянился над лесом восток, — деревни уже проснулись. Рассвет никогда не застаёт их спящими, потому что зимний трудовой день в деревне начинается ночью.

В Болотце, той самой деревушке, рядом с которой находился лес Петруся Гриба, конечно, тоже не спали. Над стрехами серых хат, заваленных снегом, столбами стояли дымы. Там и сям поскрипывал журавель или тарахтело колесо над колодцем. Стежками к гумнам проходили мужчины. И только кое-где в окне светился запоздалый огонек.

В хате горбатого портного Лапинки завтракали при огне. Раньше, чем всегда, потому что сегодня у Лапинки ночевал по дороге из города и теперь хотел пораньше выехать Алесь Живица, друг детства, сосед из той занеманской деревни, откуда был и Лапинка — примак в Болотце. Примачество было незавидное: у невесты полоска поля и хата на курьих ножках. Да Лапинка жил дома при брате, недобром человеке, в горе и унижении, и потому он согласился и перевез сюда через Неман свою машину. С тех пор в старенькой Мартиной хате весело стрекотала портняжья машина, а над ней без усталости пел и болтал, болтал и пел веселый, как скворец, калека-портной. «Черт не одни лапти истоптал, покуда такую пару подобрал», — подшучивал он над собой и Мартой, однако детки, как говорится, шли, да еще один за другим.

Двое старшеньких — Костик и Шурка — завтракали сейчас вместе с отцом и гостем. Марта ради гостя нажарила сковородку сала, и все макали в него картошку и ели торжественно, по-праздничному.

— Я ж толкую, брат, хлопцы у тебя — молодцы. И напрасно ты все плачешь... — говорил гость. — Поглядеть только — что ни год...

— Сердце мое трепещет, Алешечка, как услышу... Сам, как говорится, гроша ломаного не стою, да уж дети зато — слава богу, — говорил Лапинка. И выходило у него это как-то по-бабьи: ня-ня-ня...

Маленький рядом с Алесем, чуть из-за стола видать, и ноги не достают до пола. Он был горбун без горба, не от рождения: малышом еще свалился, постреленок, с вишни и вбил, как говорится, ноги в зад, не вырос. Голова — без шеи, как у ежа, и пострижен «ежиком».

— Вот погляди, — говорил он, — Костик мой — хозяин, слава богу, новобранец, двенадцатый годок осенью пошел. Помогает мне: наметку вытаскивает, греет утюг, пуговицы пришивает. Уже и в лесу два раза был. Или Шурка. Девятый годок, читает — как репу грызет, и гусей пас все лето...

Костик и Шурка со вкусом ели, то и дело облизывая стекающее по пальцам сало, и молчали, будто речь шла не о них.

— А Коля еще спит, — говорил Лапинка, — как пшеницу продавши, ни о чем голова не болит... Погляди, Алесь!

Дядька Алесь слышал этот перечень еще вчера вечером, и теперь ему снова вспомнилось то, что тогда пришло на ум: сгнившие пеньки придорожной вербы, обожженные пастушьими кострами, дуплистые, а все-таки живые, потому что из-под корней пробивается поросль молодых кудрявых веточек, живых, веселых.

— Да, браток, пошел ты весь в корень. Будь здоров, детей — что у Янкеля, нашего корчмаря, — сказал он и засмеялся. — Да что ж ты этого еще не помянул, что в зыбке? Все равно уже: «Господи помяни...»

— Хы-хы-хы, — захохотала Марта. — Стыдится, убей меня бог! Я говорила — на что оно нам, четвертое? Хватило б и троих. Да все он, убей меня бог.

Лапинка смущенно покраснел.

— Ну ничего, Кастусь, — смеялся гость. — Дал бог детей, даст и хлеба. Мир велик. А как же это он у тебя в лес? Разве нанял лошадь?

Лапинка оживился.

— Какое там, Алеша, он сам. Как люди.

— Волоком?

— Какое! Не знаешь разве, как у нас дрова возят, по-шляхетски? На себе. Вырубит бревно — на плечи

и понес. Каждое утро, как волки, так и ползут из кустов...

— Проще пана, деликатно,— засмеялся гость.— Еще зонтики бы взяли, чтоб не накапало на голову... А ну вас с вашим панством! И ты уже, вижу, шляхтич стал, пан: дрова на сыне возишь...

— Ну, живешь с ворóнами — каркай по-оному. Чем я не пан? — смеялся Лапинка.— Воду ем, воду пью, водой умываюсь и на пол лью...

— Э, браток, нет лучше, как у нас лес крадут. Пошлешь разведку, а сам — с оглядочкой. Свалишь лесину, колец в семьдесят — восемьдесят, да обернешься за день разика два-три. Тут хоть овчинка стоит выделки. А то, как говорится, и не поел, а только замурзался.

— Что ж ты равняешь, Алеша. Куда мне, червяку несчастному. Я рад, что хоть так, как люди. Кабы мне лошадь, да сам был человеком. Раньше нанимал, а теперь и я как все.

— По-па́нски,— усмехнулся гость,— под зонтиком. Эх вы, шляхта, шляхта!..

— Не могу, Алеша, и сам никак привыкнуть. Нет того, чтоб просто, по-нашему, по-людски, а все козырем. Бабка какая-нибудь задрипанная в хату войдет, и то: «День добрый папам». А ей все с таким важным видом: «День добрый, пани». Нет того, чтоб — тетка или бабка. На соломе спят, зубами ищутся, а панство...

— Ты уж не молол бы, побей меня бог,— не выдержала Марта.— Вот потуши лампу да ешь!

— Что, не правда? — огрызнулся Лапинка. Однако встал, дунул на лампу — раз и еще раз — и сел.— Без огня видно,— сказал он.— Ну, так неси, что там еще есть...— И когда Марта вышла на кухню со сковородкой, тихо сказал гостю: — Моей пани, вишь, не нравится. Тоже ведь шляхтянка.

— Будешь тут молоть, молоть,— говорила Марта, подавая на стол затирку,— а сейчас еще то трепло придет. Лучше бы уж Костик шел скорей, а то опять прицепится, проповедовать начнет, побей меня бог.

— А кто это? — спросил гость, берясь за ложку.

— Ученик мой, брат Миша.

— Как это: брат? Двоюродный?

— Да нет! Это брат во Христе. Из Заречья один, баптист. Пятидесятники — так они называются.

— А чего ж вы его боитесь?

— Вот еще,— отвечала Марта,— волк собаки не боится, да не хочет бреха слушать. А мой ему покажет...

— Не след этак, Марточка,— перебил ее Лапинка,— он не свое говорит. Написано: «Не укради». Ну, он и стоит за слово господне. Кричит на меня, что Костик ходит лес красть. Грех. И коровку на панском лугу пасти — тоже грех. Вот он какой, брат Миша. Живут они справно, на все Заречье, хозяйство как стеклышко. Он — старший сын у отца, сметанничек, двадцатый год, голос звонкий, у самого забот никаких, чистый, гладкий...

— Небось кабы своего не было, так попас бы,— вмешалась Марта.

Гость облизал последний раз ложку, положил ее и начал:

— Грех...

— Ешьте, ешьте еще, ей-богу,— перебила его Марта.

— Нет, благодарствуйте,— встал Алесь.— Грех...— сказал он, вынимая кiset с махоркой.— Грех, как говорится, в мех да палкой по боку. А они: заграбастали пол-света — и не грех. Это, брат, одна лавочка: попы с богатыми. А наш брат бедняк хоть сдохни. И ты вот день и ночь сохнешь с иголкой, а в хате полена дров нету. Нет, брат, кто, как слово молвится, в лесу не вор — тот и в хате не хозяин. Присказка спокон веку идет. Сам накрал, девать некуда, а ты, как говорится, гол, так будь еще и свят.

— Оно так, Алешечка,— оживился Лапинка.— Пять с половиной злотых одна кубометра дров, три злотых — повозка. И ехать на край света, в пущу. А я тут сохни три дня за возок. И насколько его хватит! А хлеб, а одеться, обуться? А здесь у тебя и правда лес под боком, да нельзя. И сам не дам, и никому не дам. Нет, сами-то они гамают, а ты на него только поглядывай, как цуцик... А посмотришь опять же, по Евангелию... ведь написано же...

— Написано...— возразил гость,— ты скажи, чего еще до сих пор не написано? А в Евангелии не сказано разве, что «горы и доли сровняйте»? Не говорил разве этот самый Иисус: «Горе вам, богатые»? Говорил?

— Говорил, Алешечка...

— Ну, видишь. Тут и вся программа: поделись, как с братом. А они что, баптисты твои — только других укоряют. Как соберутся вместе, так ай-ай-ай, хоть ты к ране его прикладывай, прямо-таки потом исходит от любви. А разойдутся — у каждого святого рука к себе загребаёт. Он тебе проповедует, мне. Пеклом нас страшит. Да где ты найдешь горше пекло, чем здесь? Ты вон пойдешь, тем, кто орудует нами, скажи, что грех... Видел я их один раз да и решил — хватит. Иду это по Заречью, слышу в хате одной чуть на стену не лезет народ, вой, визг... Что это, спрашиваю. Молятся, говорят. Вошли мы. А чтоб вас, с вашей молитвой. О-о да о-о! А потом, браток, как подняли тарарам, — хоть ноги уноси!..

Лапинка рассмеялся. Вспомнились ему собрания зареченских баптистов. Вот уже шестой год пошел, как у них это началось, как его тянет туда на песни, берущие за душу, и милые сердцу слова о пролитой господом крови. Ходил туда часто, — чужим себя чувствовал среди болотской шляхты. Оттуда и этот самый «брат Миша», что пошел учиться у него шить и шьет уже вторую зиму. И все старается, молокосос, перетянуть его в свою веру, перекрестить в Немане, второй раз, только теперь уже не голого, а в исподниках... На собраниях Лапинка с чувством подтягивал хору своим бабьим голосом, слушал проповеди и исподтишка поглядывал по сторонам. Когда же «верующие» становились на колени и громко, с воплями и стенаниями, молились, по обряду закрыв глаза, — Лапинка тоже прикрывался рукой и украдкой сквозь пальцы следил за тем, как кто молится, особенно когда «крещенные духом» начинали бормотать на «иноземных языках».

— Да простит мне господь, Алешечка, — заговорил он, улыбаясь, — и грех и смех! Петрусь из Новоселок, старый кавалер, рыжий, морда, точно куры поклевали, зажмурит глаза, надуется, словно табаку понюхавши, да только пофыркивает «А-фу-лэ!» Это он с духом святым по-заморскому. А Роман Дуля — ух ты, в новом кожаном, грудь вперед, ляжки толстые, шах-шалах, голенища блестят, бух на колени... «Господи! Ты благоволил, о, чтоб я прозрел и научал народы, о-о, молю тебя». А говорит, что твой пророк, зигзагами все, обвиняками. Тоже с духом святым. А я себе думаю: мазурик ты, мазурик!

Забыл уже, сколько от тебя девок наплакалось? А теперь ты «прозрел и научаешь народы». А кто у Татьяны коноплю замоченную украл? За чем погнался!.. А бабы, Алешечка, еще почище. Марылька Гарцева — баба работающая — что годок, то и сынок. Эх, зажмурится, сожмет колени и залется: «Осанночка, Иисусичек мой, золотенький!..»

— Ха-ха-ха, а ты, брат, все тот же, тебя ничто не меняет,— смеялся гость.— Артист, ей-богу, артист, спектакль!..

— Смеется,— говорила Марта, тоже заливаясь,— смеется, трепло, а сам скоро будет такой же перекрест, побей меня бог.

— А что ж,— согласился Лапинка,— я тоже уже «брат приближенный»... Ждут они, ждут, когда я уверую и креститься пойду, а я уже четвертый год хожу нетелем. Раз на годовом собрании сижу это я сзади, а брат Репейка — проповедник, что был в Америке — эх, только глаза поблескивают, полный, хороший — «братие, говорит, поближе сюда. Вот ты, брат, маленький, со смиренным видом — ты ближе сердцу господню. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные...» Я это за шапку да на самую первую лавку сажусь. Гляжу: Настуля Кукобина, первая богачка на деревне, молится, а сама все посматривает за речку, как бы с гусями чего не случилось. А потом — эх, полетела — «а — кыш!»... Ну и пушил же ее брат Репейка. Нельзя, говорит, служить сразу и богу и мамоне!..

— Все одним миром мазаны, побей меня бог,— перебила Лапинку Марта,— молчал бы лучше.

— А ты чего вякаешь? — спросил Лапинка.— Мне что? Все же лучше, чем: «твою мать» да «твою мать», да еще накурят — не продохнешь. А не то шляхта эта, проше пана, только насмешки с меня строят. Какой я пан,— я просто так, чисто одетый.

Лапинка встал с лавки и, согнувшись пополам, заковылял, как селезень, к машинке. Сел, потом оглянулся на Марту. Она вышла на кухню.

— Моей пани, вишь, не нравится,— зашептал он.— Только и лежала б на печи, как медведь. А я, будто рак в кипятке, верчусь...— Взглянул в окно.— Вон и брат Миша идет. Нагрешил я, господи, попадет мне и в хвост и в гриву...

Грибов ночлежник все еще спал.

— Пан, эй вы, пан!.. Человек, вставайте! Завтрак готов,— будил его Петрусь, трясая за плечо.

С тяжелой головой Микола сел и начал одеваться. Тускло светила лампа, и за четырьмя стеклами глубокого в толстой кирпичной стене окна все еще была ночь, бесконечная зимняя ночь...

Пока он одевался, умывался холодной водой и утирался корявым полотенцем, старик сидел у стола и говорил:

— Я думал вчера, что вы одной категории с моим покойником, однако нет. Мой был, правда, тоже с придурью, но хваткий в работе. Лечение — лечением, а за дело возьмется — кипит. И какое хочешь — столярное, печное, портняжное. Золотые руки! Да что ж, без головы. Толстого нашел, антихриста. Отрекся от церкви святой, от бога, от семьи, от родителей. Бог его и наказал. Чего б ему не жить теперь, поживать, с нами вместе? А вы еще почище перец! Видна, брат, птица по полету. Спать бы только да похаживать из угла в угол, помахивая палочкой, на всем готовом. И тюрьма не помогла. Комиссаром быть захотелось, легкого хлеба. А дома, верно, родители бьются на хозяйстве, коли есть какая кроха земли, и плачут... Э-хе-хе, не так бог велел. Ну, садитесь...

Сели за стол. Нечищенная картошка, подогретые в глиняном горшке вчерашние щи, хлеб как земля и холодные оладьи, тоже вчерашние. В довершение роскоши старуха принесла с шестка закопченный горшок с солью, зачерпнула пригоршню на стол, а горшок так и оставила: может, еще кто захочет... Микола слушал, нехотя ел и никак не мог побороть в себе все возрастающее отвращение. Сидя рядом со старухой, он старался не смотреть на то, как она жадно, будто вороньей лапой, хватала костистой рукой картошку или отрывала лоскут тугой кислой оладьи и молча, благоговейно ела. Петрусь громко чавкал, перекидывая на беззубых деснах горячую картошку, хлебал щи и все говорил, говорил... Еда и так не шла Миколу в горло, а тут еще лезет в душу эта самоуверенная, гнусная проповедь:

— Нет, не так жить надо. Мой все хотел богу угодить, перекрест, да дуром... (Шлеп, шлеп губами.) А вы

так и совсем отреклся. Думаете, бог простит? Нет... (И опять: шлеп, шлеп...) Ты живи честно, трудись в поте лица и молись, человече, святую церкву почитай — и все. На то и есть святая церква. И у нас тут тоже... я в братчиках... (Шлеп, шлеп.) Я два раза горел — все из-за соседей, два раза отстроился. Теперь сами видите: все у меня есть и на голытьбу еще всякую хватит. (Дохлюпал, положил ложку, взял картофелину из чугунка и начал чистить черными ногтями.) Вот я говорил вчера, — лес у меня верст десять отсюда, у деревни Болотце. (И снова начал шлепать.) Четыре гектара. Там одна голь живет. Рубят, кому не лень. Известно, нет глаза. Сила не та: семьдесят восемь, слава богу. Небось кабы это раньше было, я б тебя отучил... А так он там думает, что коли я в лес не приеду, так ему и сойдет... А бог? Я ж покупал, старался! За обиду мою он тебя скрутит, не бойся. Голым был, голым и подохнешь. А Петрусю хватит, потому он с богом, а с ним хоть на край света. «На тя, господи, уповахом и не постыдимся вовеки». Налей еще затирки, Аксинья, пускай ест человек...

А «человеку» уже и совсем не лезла еда в глотку. Едва сдерживался, чтобы не плюнуть на все эти вчерашние оладьи и картошку, за которые Гриба два раза жгли, и на этого его кулацкого бога...

Старуха с трудом встала и, волоча ноги в стоптанных валенках, маленькая, сгорбленная, в замусоленном клетчатом балахоне, медленно и тяжело, как жаба, поползла к печи. Налила на шестке затирки и понесла ее к столу. Большой палец ее руки, ухватившийся за край миски, — корявый, с желтым ногтем, — весь окунулся в мутную затирку. Миколу стало противно, как будто он только сейчас разглядел всю эту грязь...

— Правду говорит старик, — скрипела она с посветлевшим уже лицом, — он отец, его надо слушать. А то вы все так и загинете зря, без отцовского наставления... Да что ж это вы так вдруг? Ешьте, ешьте, чего там...

— Не нравится, видно, — говорит Петрусь, — правда глаза колет.

Микола поскорее оделся, поблагодарил и вышел.

Светало. Под сапогами скрипел морозный снег.

«Ух ты, какое гнездо! — с облегчением вздохнул он полной грудью. — А мне еще старуху было жалко...»



«Брат Миша» отворил старую скрипучую дверь и, пригнувшись, вошел к Лапинкам в хату. Принес со двора зиму: и красные щеки, и снег на сапогах, и холоду — брр...

— Слава нашему господу,— сказал он и начал раздеваться.

— Да будет славен вовеки, аминь! — ответил Лапинка и застыл, как петух после кукареку.— Мишечка, брат во Христе, какая лепота разливается по душе, аж на сердце екнуло. Волос от волоса отделяется. А ты раньше сегодня, Мишечка.

— Да и вы что-то сегодня поднялись...

— Да вот гостенек дорогой, Алеша Иванович, из моей родной деревни. Вместе когда-то по огородам лазили. Заехал, благодарение господу, не побрезговал моим сиротством, вкусил хлеба-соли!..

— Вкусил... Вкусил и пожевал,— смеялся гость, одеваясь.— Подшучиваешь над всеми, а сам тоже научился говорить неведомо как, зигзагами. Шляхтич!..

— Это не шляхетство, Алеша. Те все по-пански выламываются, а я — по Святому писанию. Так, сдается, и господу приятней: сладко, мягко...

— Проглотил бы и так, по-нашему... Ну, бывайте здоровеньки!..

Гость попрощался и вышел. Мальчики, Костик и Шурка, выбежали за ним, прокатиться. Вскоре он, поскрипывая полозьями, проехал мимо окон, на деревню. Костик и Шурка, румяные с мороза, вбежали в хату и стали одеваться: Костику — в лес, а Шурке — в школу.

Лапинка, чтобы отвлечь от Костика внимание «брата Миши», предложил спеть что-нибудь «во славу господи».

— Какую? — спросил «брат Миша».

— «Грешник, слушай ухом веры»,— вместо ответа затащил Лапинка.

— А, сто двадцать четвертый псалом. Ты еще вот и не знаешь. Глупость какую, так запомнил бы небось,— сказал «брат Миша» и вступил скрипучим голосом.

Лапинка пел, обметывал петлю и украдкой поглядывал то на «брата Мишу», то на Костика. «Брат Миша» вытаскивал наметку из оконченной вчера куртки и пел, склонив голову над работой. А Костик надел отцовский

обнюсов — курточку, шапку, взял с печурки рукавицы и вышел. За ним — Шурка с сумкой за спиной. Лапинка бросил взгляд на «брата Мишу». Тот не поднял головы, поет. Хорошо! Но вот Костик вернулся из сеней и потащил из-за печи пилу. Пила зазвенела, и... «брат Миша» поднял глаза, поморщился и покачал головой...

Допели. «Брат Миша» обиженно, сердито молчал. Какие надежды возлагал он на то, что приведет наконец «ко господу» эту «заблудшую овечку». А тут — снова сатана не дремлет. Костик и вчера и позавчера ходил в лес по чужие дрова. Сын «приближенного человека», сердца которого коснулось слово божье!.. Он глянул на Лапинку. Тот сидел красный как рак. Известно, тошно: каялся и позавчера и вчера. «А все ж таки,— подумал «брат Миша»,— он, может, и раскается. «Не до семи раз прощать брату своему, а до семижды семидесяти раз»,— сказал господь. Возьмусь я за него, благо его бабы нет в хате...»

— Брат Константин,— заговорил он грозно,— лучше бы ты сам ходил лес воровать, чем сына с пути сбивать. Подумай, что ты ответишь господу, когда встанешь перед судом его. Приятно ли будет идти в огонь вечный, уготованный дьяволу и аггелам его, подумай?..

— Ну куда же мне, бедному, податься? Что ж ты, Мишечка, поделаешь с бедой неотвязною? Кабы выход был, не крал бы, видит бог! А так — и тут горю, и там огонь вечный... Где, говорят, вороне не летать, везде дерьмо клевать. Поглотаю смолы, что ж ты поделаешь...

— Не богохульствуй, безумец! Господь не то нам уготовил. Кровь его святая, пролитая за нас...

— Да я же верю, Мишечка, всем сердцем, всем помышлением моим...

— Мало этого: «вера без дел мертва». Ты погляди, со мной что вчера было...

— Ну, Мишечка, ты это не я,— перебил его Лапинка.— У тебя и веры больше, и хозяйство как стеклышко, ты и к господу ближе...

«Брат Миша» помолчал: заняло дух от гордости. Лапинка только с облегчением вздохнул: подумал — конец. Но «брат Миша» наглотался уже похвалы и снова заговорил:

— Ты должен помнить, что написано: «Кто соблазнит единого от малых сих», так ему, попросту говоря, лучше жернов на шею да в омут головой...

Марта стояла на кухне за дверью и прислушивалась. Наконец она не стерпела. «Камень на шею, ее Кастусю?..»

— Чего ты пристал к нему как смола?! — затрещала она с налета, входя в горницу. — Хватит, что сам ты живым на небо вознесешься, святой... А он — калека, бедный человек. Мы день едим, а неделю — только глядим, а ты ему еще камень на шею, святой... За что? Я дитя послала, потому — мое. Как захочу, так и будет...

Вид ее был грозен, она была страшна со своими черными растрепанными космами и большими редкими зубами... Но отступать было поздно. И «брат Миша» встал за «господне слово».

— Небо и земля прейдут, но слово мое не прейдет, сказал господь, — пророческим тоном возгласил он.

— Мы сами знаем! — перебила его Марта. — Нечего глаза лупить. Тебе за отцовой спиной хорошо «спасаться», а посмотрела бы я на тебя, когда своя вошь укусит. Мой сын, мой и ответ. Не боюсь! А ты наделаешь своих, тогда и учить будешь, вот что!..

Оправившись от страха, Лапинка шептал про себя, еле сдерживая смех:

— Коса... на камень... Один — со своим раем... Другая — с детьми... А мне, бедному, как той сучке в корыте... И оттуда и отсюда... Примак — пришей кобыле хвост...

И он от смеха лег на машину.

5

Свернув с большака на полевую дорогу, Микола, уже не поминая Гриба, направился на север.

Мир был велик, но для него он стал тесен, точно клетка. Осужденный дефензивой¹ на скитания в пределах новогрудского воеводства, он не имел права задерживаться на одном месте больше, чем на сутки. Каждый день он должен был отмечаться в другом полицейском участке, либо в гмине², либо у старосты. И — день за днем — все вперед и вперед, от одной границы воевод-

¹ Де ф е н з и в а — охранка в буржуазной Польше.

² Г м и н а — волостное управление.

ства до другой, как зверь в вольере зоопарка. Проще всего было бы вырваться из неволи на восток, в Советский Союз, но это было бы непростительным своеволием, нарушением партийной дисциплины. Не только дефензива через своих явных и тайных агентов знала о жизни ссыльного, следила за его маршрутом. Другая сила, которой служил Микола,— сила коммунистического подполья, всеми нитями связанного с непобедимой силой трудового народа,— приказывала ему не впадать в панику, а продолжать работу и в этих условиях. От одной явки до другой шел он из деревни в деревню, из местечка в местечко, незаметно неся свою службу надежного, опытного подпольщика. И труд этот, казалось, раздвигал стены его тесной клетки.

Вчера Микола встречался с товарищами в деревне Рыпиничи, в пяти километрах от местечка Дворок. Сегодня явка — в лесном поселке Шишки, где работает государственный смолокуренный завод. А ночевать придется в Боброве, тоже на том берегу Немана. Там и отметится у старосты.

Морозный снег под ногами поскрипывает звонко и бодро. И солнце светит так, как будто здесь, на земле, все спокойно и даже радостно. Редко встретишь подводу или человека, дорога малолюдная. Снежная гряда, на которой полозьями проложены две колеи,— грязный кушак, брошенный на белоснежное сверкающее поле.

Прошло уже добрых два часа, как Микола вышел из Дворка, когда он встретился с двумя мальчишками. Дорогу, по которой он шел, пересекала у опушки другая — из деревеньки за Неманом — в лес. На перекресток почти одновременно с ним и вышли эти мальчишки. Прошли бы мимо, только взглянув на незнакомого дядю, да Микола окликнул их:

— Эй, дровосеки, здорово!

Костик и Шурка — это были они — остановились. Старший был опоясан пилой, как настоящий лесоруб. Младший засунул руки глубоко в карманы штанишек и испуганно смотрел на незнакомца.

— Вы что, боитесь меня? — с улыбкой спросил Микола.

Костик глядел на него открыто, не ожидая ничего дурного.

— Чего ж нам вас бояться? — ответил он вопросом.

— А вот он боится,— показал Микола на меньшего. Шурка поглядывал исподлобья, однако и он повторил:

— Не-е. Чего ж вас бояться?

— Куда вы? Ну, ты, скажем, ясно — в лес, дрова красть. А ты? В беличью школу?

У Шурки была сумка с книгами и тетрадями.

— Не-е,— сказал мальчуган.— Я не в школу. Я ему помогать.

— Правильно,— улыбнулся Микола.— Двое — это уже сила. А сила, брат, и солому ломит.

Костик тем временем решил оградить себя от подозрений.

— А почему вы думаете, что красть? — сказал он.— Мы в свой лес идем.

— А сколько ж у твоего отца лесу?

— Три гектара,— ответил Костик, не задумываясь.

— А поля?

— Поля у нас только один морг,— на этот раз не соврал дровосек.

Микола захохотал.

— Ну, видишь, как ты легко попался! Поля морг, а леса целых три гектара. И лошади своей нету, волоком потащишь. Знаем мы таких богатеев. В Грибовом лесу тяпнешь березку...

Костик немножко испугался:

— В каком Грибовом? Никакого Гриба я не знаю...

— Зато я знаю. В Дворке ты бывал когда-нибудь?

— Нет.

— Ну, вот видишь. А если б бывал, так и знал бы, что там сидит этот самый гриб. Старый уже гриб, червивый, однако ядовитый, как мухомор. Как ваша деревня называется?

— Болотце.

— Ну, видишь, как я угадал! И как раз здесь лес того Гриба. А из вашей деревни есть здесь у кого-нибудь свой лес?

— Только у Якуба Мамоньчика. У него семь гектаров.

— А поля?

— Поля еще больше — десять.

— Ну, так вот, он тоже гриб-мухомор. И вы к нему в лес?

— Нет, мы пойдем направо, в чужой.

Этот веселый дядька опять рассмеялся:

— А налево, по-твоему, свой?

— Нет, он тоже чужой, да из нашей деревни.

Веселый дядька похлопал Костика по плечу.

— Ты, брат, это правильно сказал, что у вас есть свой лес. Он — для всех, он народный, и вы его не крадете, а берете как свой. Только жаль, что без лошади...

Мальчики смотрели на Миколу, казалось, не понимая, чего он, этот дядька, хочет. И Микола подумал, посмеявшись сам над собой: «Пожалуй, не дойдет еще до них эта политграмота».

— Идите, ребята,— сказал он,— только не попадитесь.

Костик улыбнулся:

— Пускай только попробуют нас поймать. Мне лишь бы из лесу выйти. Что ты, скажу, застал меня, что ли?

— Правильно. А ты,— обратился Микола к младшему,— рукавицы забыл взять?

— Забыл.

— Снегом руки потри. Смелей, орел! Скоро он будет в лес на лошадях ездить, а ты — ты, брат, пойдешь в родную школу... Ну, к смоловарне я этой дорогой выйду?

— Выйдете,— отвечал Костик.— Только все прямо да прямо.

— Ну, так бывайте, хлопцы, здоровы.

Веселый дядька пошел «все прямо да прямо», а дровосеки свернули направо — в лес.

Снежок хрустит под ногами. А солнце, солнце!..

— Придем, Шурка, под березку,— говорит Костик,— подсядем: джик-джик-джик... Большие ветки пилочкой, меньшие — ножиком, и готово бревно.

Шурке вспоминается сказка про Пилипку-сынка: «Поехал дед в лес и вырубил бревно...»

— Совсем, Костик, как папа рассказывал,— говорит он и шмыгает носом.

— Не-ет, то — сказка,— отвечает Костик.— А вот я вырасту еще больше, и у нас будет своя лошадь, и я буду ездить в лес, как этот дядька говорил.

— И я тоже, ого!..

— Нет, ты будешь еще в школу ходить. А я нет: хватит с меня, и так жить не на что.

Так говорила мама, но Костику кажется, что он своим умом до этого дошел.

— А я тогда буду еще большее и тоже буду ездить в лес,— говорит Шурка, чтоб доказать, что и он не всегда будет в школу ходить.

— Нет, брат, ты еще сопляк.

Шурка в ответ только шмыгает носом и утирает его замерзшим кулаком. И как это он рукавицы забыл?..

А тем временем вошли в лес. Сперва кусты на кочках, затем подлесок — березки, дубки, ольшаник, елочки, как квочки, расселись. А солнце, солнце!..

— Вот зайчик пробежал,— показал Костик, когда они свернули с дороги на целину, в кусты.

— Где?

— Да вот следы, видишь, вот! Здесь и здесь. Двумя ножками... Нет, правда, четырьмя.

И точно: от елочки — заячьи следы, словно кто-то пробежал, опираясь на палочку. Потом пошли ели, березы, ольхи, осины. Стало затишнее и теплее. На елях, как свечки на новогодней елке, золотились на солнце большие шишки. Что-то шевельнулось в зеленых иголках, и посыпалась, заискрившись на солнце, снежная пыль.

— Ти-ше,— прошептал Костик.— Это белка. Я крикну — вот сиганет!..

Шурка и так молчал, насторожившись, как кот на мышиный шелест в соломе.

— Ого!..— крикнул изо всех сил Костик. Шурка даже вздрогнул. «Ого!» — охнуло меж деревьев глухое зимнее эхо. Все снова стихло, а на елке все-таки что-то шевелится. Вершины шушукались: это ветерок пробирался поверху. А так — все тихо-тихо, только сиички: ци-сик, ци-сик...

— Ну, давай пилить, Шурка, а то ты уже замерз. Вот эту.

А была эта березка — пестренькая, длиннокобая, как и все наши березки. Вокруг нее — козы следы и «боб».

— Что это, Костик, ходило,— овечки?

— Ну, да, овечки. Козы дикие, серны...

И чего он смеется, этот Костик?.. А-а, негодник, толкнул рукой березку, а сам поскорее съежился. Жгучая снежная пыль посыпалась с веток на Шурика. И на лицо, за ворот забралась...

— Ы-ы! Костик-хвостик! Я скажу ма-а-ме-е,— захныкал Шурка.

— Видели дурака,— ругается в лесу... Не плачь, это же приятно, снежок. Видишь, какой он блестящий на солнце...

Успокоил братишку, отряхнул, и начали пилить. И правда: пила звонко джик-джик-джик, а на снег сыплются опилки. Они брызгают и на руки Шурику и на лицо, одна попала на веко и жжет... Шурка смахнул ее рукой, и снова джик-джик...

— Да не дергай ты пилу, не нажимай! — сердится Костик.

Шурка изо всех сил старается не дергать, а все-таки дергает. Джик-джик-джик...

— У-ух, как трудно с тобой! — вздыхает Костик и садится на собственную ногу.

— Руки у меня померзли... — не выдержал Шурка.

— Померзли? Так и я же без рукавиц! Снегом возьми потри, как тот дядька говорил. Или нет, ты же еще маленький. Ты побей о плечи. Видел, как я делал?..

Шурка встает, отступает на шаг и взмахивает окоченелыми руками.

— Ай-ой! — закричал он и заплакал.

— Что ты, что? — вскочил Костик.

— Во!

Это — соседняя березка. Шурка ударился об нее запястьем и вдобавок снова обсыпался жгучим снегом.

— А-а-а! — плакал он, держа руку на весу.

— Шурка, послушай, ты не плачь, а то стражник услышит, даст нам прочуханку...

— А-а-а!.. Не пойду я с тобой больше в лес... никког-да-а!..

— И пилу заберет... Тише ты, разиня! На весь лес... погоди, я кончу один, а рука пройдет. Ты только не кричи.

Шурка под уговоры Костика перешел с громкого «а-а-а» на тихонькое «ы-ы-ы». А рука-то болит, а потом стала согреваться и — еще больнее!..

Джик-джик-джик,— работает пила. И вот наступает торжественный момент: березка клонится, Костик толкнул ее раз, и еще, и еще раз, и березка — крр-рах! — легла на снег. И сразу стала почему-то меньше.

— Вот оно как! — весело крикнул Костик. — А эту

дуреху, что тебя, Шурка, треснула,— мы с тобой завтра свалим. Ты только не плачь. Больно еще?

— Немно-жко,— выжал из себя Шурка последний всхлип. Пока Костик разделявал березку — Шурка смотрел. Рука болеть перестала. И даже жалко было, что все уже кончено и пора домой.

— Костик...

— А?

— А еще не будем рубить?

— Больше — зачем? Завтра. А теперь живенько пойдем. А то мы тут накричали, накричали...

Костик снова подпоясался пилой, взвалил на плечо пеструю березовую слегу, и они пошли напрямик в сторону деревни. Стоило задеть концом слеге березку или ольху,— и их снова осыпала снежная пыль, сверкающая и жаркая, потому что солнце, солнце!..

...А между тем в местечке Дворок старый богатей Петрусь Гриб отвел Лейзеру лошадь и бредет теперь в тяжелых валенках по ухабистой, в пятнах навоза, дороге домой. Лошади что: дарового сена наелась, овса пожевала... А Петрусю и не икнется, что как раз сейчас злодеи срубили у него еще одну березку.

О том, что лес «чужой»,— «злодеи» эти вовсе и не задумываются. А еще и тот дядька говорил, что лес совсем и не чужой, а ихний — какой-то народный... Костик думает только о том, как бы не попасться, потому, как поймают — прибьют. А Шурка и об этом уже забыл. Он уже не боится снега. Он плетется следом за Кости́ком, отводя руками веточки и еловые лапы. Снег сыплется, но уже не обжигает, а руки почти совсем и не мерзнут.

— Я не боюсь, Костик,— говорит он, думая о снеге. А Костик отвечает ему тоном заправского порубщика:

— Чего ж бояться? Только бы из лесу — и концы в воду. Поймал ты меня, что ли?

А под ногами бодро поскрипывает снег.

Весной, бывало, только Неман очистится ото льда, Земляк мой что ни день, идет на реку или возвращается с реки домой. Удочки, большие и малые, ночные самоловы, вентерь, сачок, острога — вся эта рыболовная снасть шла у него в ход. Холщовая сумка была всегда мокра и полна доверху. Если подчас не хватало рыбы — на дно подмащивалась трава, а мелкорыбица, всем на зависть, прикрывалась зеленоватыми, длинными щуками, полосатыми окунями, язями. И всегда гордо торчал сверху хвост самой большой в тот день «штуки»... До пояса мокрый, тяжелым медвежьим шагом он чвакал по залитому лугу, а следом за ним опасливо шлепала умненькая сучка.

— Удить-то удишь, а вечерять что будешь? — прибауткой встречал его кто-нибудь из соседей.

— Сегодня, брат, щучку гонял по лугу, — спокойно отвечал он. — Ни в какую, будь оно неладно! Думаю завтра еще пройти. Двадцать четыре фунта!

— Ха-ха-ха! — заливался сосед. — А ты, брат, и взвесил уже ее, не поймавши?

Верная сучка начинала недовольно хрипеть, как стенные часы перед боем, потом злобно брехала: гав! гав!

— Мушка, цыц! — успокаивал ее хозяин. Мушка виновато опускала мутные глаза и стучала мокрым хвостом по его такой же мокрой холщовой штанине.

А он как ни в чем не бывало заговаривал о другом. Он никогда не старался уверить, что говорит правду. Каждому, кто знал Павлюка, было известно, что дядька — выдумщик. «Ах ты Павлюк, ты что ж это небы-

лицы плетешь!» — стыдили у нас в деревне тех, кто начинал врать.

Однако Павлюково вранье отличалось от обыкновенной лжи. Так никто не умел соврать. И в то время как просто вралей презирали — Павлюка и его бескорыстные, мастерские выдумки знали по всей округе. Бывали случаи, когда его ночью, только по голосу, узнавали в пятой, десятой от нас деревне.

И в самом деле: в щуке могло быть каких-нибудь десять фунтов, но, гоняясь за ней по лугу, залитому весенним паводком, Павлюк, уже успел уверить себя, что в «щучке» аккурат двадцать четыре фунта, как в той, что прошлой осенью попалась ему на уд.

Зимой, в душной накуренной хате, при коптилке, соседи просили:

— А ну, Павлюк, отчубучь что-нибудь еще, а то все, как мокрые, сидят, молчат...

— Адамович собачку достал... — начинает Павлюк, чуть сдвинув лохматую, как воз клевера, овечью шапку.

Адамович живет на хуторе, до него пятнадцать километров от нашей деревни, но никто не удивляется, что Павлюк уже знает про эту «собачку».

— Хотел я в хату зайти, так она, зараза, стала на пороге, растопырилась, и только — р-р-р...

Слушателей начинает забирать за живое. Должно быть, в самом деле занятная «собачка», если даже Павлюка не послушала. Потому что почти всегда достаточно было Павлюку сказать словечко, погладить по спине, причмокнуть — и новая «собачка» покорно трусила следом за медвежьими лаптями чародея. А эта, вишь, «р-р-р»...

— А ночью, — басит Павлюк, — сядет посреди двора, уши наострит и слушает. Потом это — чик-чик-чик, обежит вокруг, проверит все. И снова сядет. И так, братец, всю ночь. «Эх, — говорит старик Адамович, — была бы она у меня раньше, не свели бы у меня Сивки цыганы». Двадцать восемь пудов зимки отдал...

— Ну и смеялись же мы! — вставляет кто-то из мужчин, чтоб подсечь рассказчика на высшем взлете его фантазии. Это слова Павлюка: когда ему иной раз и самому станет не по себе от слишком смелой выдумки, он сдвинет шапку на глаза и закончит не совсем удачную небылицу так: «Ну и смеялись же мы!»

Мужчины хохочут, а Павлюк молчит — ему хоть бы что. Правда, двадцать восемь пудов озимой пшеницы — это почти цена коровы, но как же иначе подчеркнуть необычайную ценность «собачки». Сам Павлюк, если бы имел эти двадцать восемь пудов, может быть, и не отдал бы их за собачку, однако своих двух-трех, а то и весь пяток собак он кормит зимой овсяным тестом, соревнуясь со своей Ганулей, которая откармливает поросенка.

— Диво только, — говорит кто-то из присутствующих, — как эту собачку не убьют.

Дядька Василь, востроносый, как галка, и с такими же, как у галки, живыми, хитрыми глазками, сперва заходится тихим утробным смехом, потом говорит:

— У него там, посреди двора, вместо будки та самая конская печенка лежит, так он под нее — хоп! И все.

Поднимается дружный хохот. И сам Павлюк, поправляя шапку, сначала ухмыляется, потом — хе-хе-хе — смеется во всю здоровенную грудь и говорит:

— Ку-рав-ка!

Это значит, что дядька Василь, он же по прозвищу Куравка, поддел недурно.

А дело с печенкой было вот какое: у них, мол, в Румынии, в том полку царской артиллерии, где в мировую войну Павлюк, тогда еще чубатый, голосистый хлопец, служил бомбардиром; были, видите ли, необыкновенно крупные жеребцы. Когда однажды Павлюкова «жеребчика» разорвало снарядом, Павлюк от следующего снаряда надежно укрылся под его печенью. Перебили почти всех жеребцов, и батарею пришлось пополняться румынскими лошадьми. Румынский конь — «как собачка», а в русский хомут, по крайней мере, в их батарею, Павлюк мог пройти согнувшись не больше, чем в дверях своей хаты. Привели румынских конячек, думали, думали, что делать, а потом — по две в хомут, по две в хомут!..



Собак Павлюк менял, как цыган лошадей. Очередная собачка, попав к Павлюку, прежде всего лишалась родного имени и скоро привыкала к тому, что она уже не Курта, а Жевжик или Жук. Если собачка, высунув язык, неслась за зайцем и не догоняла его, она лишалась

хвоста и еще кое-каких, излишних, на взгляд хозяина, мелочишек. Если же и после такого облегчения ей не удавалось настичь зайчика — она куда-то исчезала, а вместо нее вскоре появлялась новая. А попадетсЯ, бывало, новичок понятливый и шустрый, и Павлюк, ведя его домой, не дергал, упаси бог, за веревочку, а тяжело трусил за щенком подбежкой. Суки исчезали, когда не давали нужного приплода. Зато удачный выводок окружался прямо-таки отеческой заботой. Сука ела овсяное тесто, а тепленькие, с пресным запахом, сосуны — молоко, на равных правах с Павлюковыми детьми. Криволапый пузанчик лакал, а здоровенный Павлюк, стоя на коленях или на четвереньках позади него, дергал его за хвост. Давясь молоком, щенок тЯвкал, и Павлюк, как ребенок, радовался этим первым проявлениям норова. Щенят учил хватать за штаны, лаять на чужих, не трогать кур, но гонять со двора свиней, служить, давать лапу, козырять, прикасаясь к отвислому уху, и другим, не менее нужным, штукам. Одного или двух отличников этой учебы Павлюк оставлял себе, остальных уступал желающим. У забора стояла большая семейная будка. Если не сука с приплодом, так просто дежурная собачка обитала в ней, звенела о проволоку цепью на кольце, бегая вдоль двора. Рядом с будкой Павлюк по-хозяйски подстилал солому. Весной он вызывал свою Ганну из-за кросен во двор и, показав порядочный возок навоза, с хитрой улыбкой говорил: «А что, гляди-ка!» Так же, как и каждый затравленный им заяц, этот воз должен был доказать, что не зря Павлюк изводит на собак овсяную муку и высевки. Ганна в сердцах плевала, а он, добродушно ухмыляясь, вез этот новый вид удобрения на свой узкий, горбатый клин. За ним следом, победоносно и гордо задрав хвост, бежали одна или две собачки.

...Как-то летним вечером, когда над теплой рекой поднимается пар, мы тянули с ним сеть, вдвоем. Тихо заходили, тихо «топтали», загоняя рыбу от берега в сеть-«топтуху». Потом поднимали сеть на себя, отцеживая испуганных со сна плотичек, выгребали их в подвешенные на шею мокрые торбы, смачно покряхтывая от удовольствия. Главной удачей этого вечера был большой, точно специально для нас откормленный язь. Он только уткнулся тупым носом в аир и сладко задремал, а тут мы его и зачерпнули! Павлюк жадно ухватил

его своими цепкими лапами и счастливо смеялся: а-ха-ха! Пока мы рыбачили, я все время невольно любовался, как от поднятой «топтухи», так же как от воды, струится пар, как глазок сети затягивается пленкой, а потом пленка лопается и, вслед за десятками капель, в воду падает еще одна капелька. Глядя на Павлюка, особенно когда он довольно, как бы уже смакуя, хохотал над язем: «Эх, братец, а мы тебя еще с поллитровочкой поженим!» — я грешным делом думал, что он далек от моих бескорыстных восторгов. Между тем он вдруг, и в самую ответственную минуту, когда надо было заходить — «топтать» рыбу от берега, притих, загляделся, а потом сказал:

— Смотри, засыпает!

И правда, река засыпала.

...Весной тридцать восьмого года из панской полиции пришел к нам в деревню еще один новый приказ: уничтожить всех голубей. Потому что у нас, видите ли, «приграничная полоса». Павлюк, конечно, приказу не подчинился, — и раз, и другой. И только после того, как его оштрафовали и Ганна начала с ним нещадную войну из-за голубей, Павлюк изловил последние три пары турманов, чтоб отвезти их к приятелю в дальнюю деревню, туда, где кончалась «приграничная полоса». Но он не в силах был сделать и это. Еще в деревне развязал и снял платок, которым обвязана была корзинка. Чубатые, пестрые красавцы, поблескивая синью и пурпуром своих «заплат», ослепленные солнцем, растерянно застыли.

— Перед концом с ума сходят, воронье! — ворчал Павлюк на полицию.

Старый голубь-вожак поднялся первым. Он потоптался мохнатыми, красными, как морковь, ножками, вскочил на край корзины, захлопал крыльями и взлетел. За ним поднялась вся семья. Пока они радостно кружили в пестрой от тучек синеве, Павлюк, заглядевшись, бормотал:

— Чирей вам, паночки. Не отдам!

Вот так скупое и редко проявлял он свои чувства, свою любовь к природе.

И только однажды мне довелось услышать, как он встал на их защиту.

Кто-то из молодых, особо рачительных хозяев упрекнул Павлюка, что он вместо поросенка кормит овсяной мукой собаку.

— Раз-два, и семь пудов! — взволнованно забасил Павлюк. — И семь пудов, и копейка, и шкварка на лето! А знаешь ты, что такое любовь, краса? Ведь вот цветок цветет, и то... Да где тебе! Свинтух, семь лет не стриженный...

Это было невольное признание, вырвавшееся в порядке самообороны.



Только поэзия тяжелого крестьянского труда была, пожалуй, совсем чужда Павлюку.

Вот он возвращается с поля, с серпом или косой. Впереди, словно на разведку, бежит собачка, обнюхивая каждый кустик щавеля или осота и на каждый из них поднимая ножку. За ней кобыла Мышатка с тонконогим жеребенком лениво месит седую, пеклеванную пыль дороги. Мышатка наелась за день, а все-таки то и дело хватает сизые метелки овса и на окрик Павлюка, а то и сама, виновато трусит вперед. Вторая собачка, очередная любимица, идет рядом с хозяином, трется о его штанину. На груди у Павлюка звенит кусок ржавой цепи и болтается шпень: на цепи Павлюк ведет телушку. Широко расставив уши, телушка то спокойно плетется, то вдруг затрусит, чтоб зачем-то понюхать собаку или дернуть за бороду один из трех снопов овса, которые несет на спине хозяин. Рядом с телушкой, на веревке, идет коза. Сзади бредет шаловливый козленок, еще безбородый, с маленькими пуговками рожек, но так же, как мать, задрав хвостик.

— Здорово, Робинзон! — как всегда с улыбкой, встречаешь его.

— Ячмень, братец, жал. Целый день! Ажно в глазах желто.

Разминешься с ним, еще и еще раз посмеешься про себя, и только потом дойдет до сознания, сколько безжалостного зноя, нитья в пояснице, сколько терзаний лодыря вложено в эти слова.

Так же, как желто от ячменя, зелено бывало от косы, серо от плуга. «Кабы работать весело было, и волк работал бы», — шутливо оправдывался Павлюк.

Однако надо сказать, что при всем том он жил сравнительно неплохо.

Чуть не за двоих работала Ганпа. Сам же он прирабатывал как сторож.

За деревней, до самой пуши, по обоим берегам реки, раскинулись помещичьи и крестьянские луга. Павлюк сторожил их. Весной над рекою поднимался лохматый лозовый шалаш. Тут Павлюк жил до последней отавы. Днем собачки, охраняя в шалаше сон хозяина, злобно ворчали сквозь сладкую дрему или щелкали зубами на докучливых мух и слепней. А ночью они сопровождали Павлюка, когда он совершал обход или объезд на Мышатке «своих» необъятных владений,— ловил выехавших в ночное потравщиков. Мышатка отлично выпасалась на луговом приволье, тут же и жеребилась, и вскоре вокруг нее, тревожа цветущие травы, с нежным ржаньем носился новый жеребчик или кобылка. Вечера и утренние зори Павлюк просиживал над рекой, вооруженный разнокалиберными удочками, терпением и опытом лучшего в округе рыболова. И в сорок — сорок пять лет он — полнокровный, веселый медведь — никак не мог расстаться с привычками своей разгульной молодости. Бывали ночи, когда он покидал собак и Мышатку и плелся лугами в соседние деревни — по мед из чужих ульев... Случалось и так, что этот мед — молодница или вдовушка — сам приходил к медведю под душистую сень его привядшей лозовой берлоги. Огромные сапоги еще на диво лихо выбивали чечетку, а вечерами, в деревенском хоре, голос его верховодил по-прежнему. Зимой, объехав окрестные поместья и деревни, Мышатка гордо тащила домой мешки зерна — плату хозяину-сторожу.

В работе этой была только одна за лето тяжелая неделя. Перед косовицей надо было соорудить на реке временный мост. Но и тут Павлюк устраивался по-своему. К нему приходил его тесть, постоянный помощник, как бы вечный должник, искупающий трудом какие-то свои грехи. От берега к берегу сновала лодка. Ухала баба, загоня сваи. Из-под топора на тихую воду падали сухие еловые щепки. И, должно быть, глядя на то, как их кружило на месте, а потом уносило течением, Павлюк уже складывал новую сказку.

— Ты видел шапку моего тестя? — говорил он, дождавшись кого-нибудь. — Еще царская, брат, николаевская, круглая, как решето. Двадцать лет, как Николая

скинули, а тесть эту шапку никак не доносит. Втаскивали мы балку на мост. А он как поскользнется — бабах в воду! Балка, брат, за ним! Счастье еще, что успел глубоко уйти: как ахнула — вода столбом! Балка всплыла, а тестя — нету... Только пузыри со дна — буль, буль... А потом шапка вы-плы-ва-ет! Выплыла, покружилась на месте, и только тогда уже сам тесть — вы-ле-за-ет наверх. И сразу же — ругаться. «Чего ты, говорю, на меня, я тебя толкал, что ли?»

Степенный, тихий человечек — тесть — еще легко ступал по земле худыми, босыми ногами, а следом за ним пошла по деревне новая сказка зятя, — хоть возьми эту царскую шапку да брось!

2

Из всех Павлюковых собак больше всего мне запомнились две. Одна была обыкновенная дворняжка Тюлик. Другая же — охотничья, борзая, которую Павлюк гордо назвал Волкодавом.

В начале лета, когда на болоте у нас выводки диких уток обрастали первым пером, Тюлик показывал свои охотничьи таланты. Молодые утки летать еще не умели. Они пробирались по кочкарнику, через аир и осоку — шажком, а по воде, конечно, вплавь. Павлюк оставался где-нибудь на бугре или брел следом за Тюликом, но достаточно далеко, чтобы ему не мешать. Старые утки взлетали, а сытый, тяжелый молодняк застывал, притаившись в осоке или под кочкой, пока его не учует Тюлькин нос. Собака осторожно поднимала утенка за крылья, показывая добычу хозяину. Когда же более смелый утенок с криком пускался наутек, то подлетывая, то плывя по затянутой ряской болотной воде, Тюлик возмущенно кидался за ним вдогонку. Домой Павлюк возвращался увешанный живыми утками и гордо говорил своей Ганне:

— А что, вот видишь?

Волкодав же всегда ходил следом за Павлюком, уныло опустив к земле острую морду.

— Железная! — гордо говорил Павлюк о его пасти. — Как клещами берет! А ноги, брат, гляди!..

И верно: только бы заяц попался на глаза, а уж Волкодав, распластавшись в беге, всегда настигнет его, и

зайкиной спине или горлу не поздоровится, если он только раз цапнет зубами. Прыть длинных ног и силу железной челюсти Волкодав лучше всего доказал, поймав за один год две лисы, что было, кстати сказать, строжайше запрещено таким, как Павлюк.

Однако ни Тюлик, ни Волкодав не задержались у него слишком долго. Павлюк был верен себе: Тюлика он променял, кажется, на Волкодава, а Волкодава уступил пану за другую собаку и за несколько бревен леса в придачу — на новую хату.

Из всех «собачек», которые прошли через руки Павлюка, только эти две в какой-то мере возмещали ему отсутствие правой руки охотника — ружья. Все долгие двадцать лет власти пилсудчиков Павлюк мог о нем только мечтать.

Незабываемый сентябрь тридцать девятого года сделал его наконец настоящим охотником.

●

Наступила золотая осень.

Под ногами приятно шуршал желтый лист молодого березняка, то там, то тут потрескивал сучок, а спокойный медвежий голос гудел:

— Встретил меня Царючок (фамилия лесного жителя; хуторянина — Царюк, но для Павлюка он Царючок, так же как — волчок, собачка, зайчик), — спасенья нету, говорит, всю картошку перерыли! Ну что ж, я двустволочку взял и пошел. Засел, жду. Что-то недолго и ждать пришлось. Слышу — чешут по тропе друг за дружкой. Приготовился я, вижу — идут. Первым, брат, здоровенный лобан, голову опустил и прет, а следом за ним еще штук восемь. Задний шляхтич — совсем еще поросенок. Вожак, должно, учуял меня, зараза, потому — стоп! Да еще как загудит...

«Двустволочка» у Павлюка за спиной. Он вдруг останавливается, раскорячив огромные ноги в сапогах, а руки поставив наподобие кабаньих ушей.

— Я это, брат, в него как жахну! Он на дыбы да в голос! А задние как дернут! Мой за ними. Сгоряча здорово чесал. Я с собачкой вслед. Чтоб ты подох! Только на рассвете нашли мы его в чашобе, в валежнике. Еще тепленький. Пнул я его ногой, так он «у-у!», как сквозь сон. Зарядил я двустволочку, тюкнул его еще разок, он богу

душу и отдал. «Ну, а теперь что?» — говорю я Мурзе. Вертит, подлюга, хвостом. Думал я, думал, примеривался и так и этак — ни в какую. Гляжу, стал кабанчик холодеть. Постой-ка, думаю, — ты сам мне поможешь. Взял я его за загорбок, поставил и держу. Мурза — прямо кончается! — то за ухо его, то за ногу! Пошла вон! — отпустил я одну руку, замахнулся. Гляжу — стоит кабанчик, сам стоит. Отпустил вторую руку, а сам это хлоп под него, с головой. А собачка, будь она неладна, за стегно его сзади как хватит! Кабанчик так и сел мне на горб. Света белого, брат, невзвидел, — мордой в мох, — ну, думаю, крышка теперь Павлюку. Как разобрала меня злость, как вцепился я в землю, как уперся — встал! Теперь как же двустволочку-то поднять? «Подай, говорю, сукина дочь!» Машет, подлая, хвостом, подлизывается. Нагнулся я, поднял ружьишко, поволок... Даже в глазах, брат, темно! Еле дополз до Царючка. Свалил, давай будить... Двенадцать, брат, пудов!

Меня так и подмывает помочь Павлюку закончить слишком уж пышную сказку привычными словами: «Ну и смеялись же мы!» — но я молчу. Да и как же мне не молчать! — ведь сегодня он взял меня наконец с собой на кабана. За спиной у меня — двустволка, из которой я скоро ахну. И двустволка эта тоже Павлюкова.

И вот мы сидим в засаде. На лугу еще день, а в чаще уже смеркается. Ноют поджатые ноги, но я боюсь их расправить, чтоб не спугнуть дичину, которая вот-вот... Первый выстрел — Павлюка, потому что кабанчик, говорит он, пойдет на него. Если одного выстрела будет мало — я должен «тюкнуть» еще раз. Если же он первого сразу уложит, я должен стрелять по второму. Вместе с Павлюком притаилась за деревом и Мурза, готовая кинуться на любого «кабанчика».

Минуты тянутся, тянутся, томят... И вдруг — есть! Совсем недалеко послышалось «чухканье», затем из-за ольховой заросли, в нескольких шагах от меня, показалась страшная морда. Я успел только подумать: прямо на меня! Я прицелился, закрыл глаза и пальнул!..

Я ожидал услышать визг и второй выстрел, однако... раздался только отчаянный лай Мурзы, пустившейся вдогонку за зверем, и... крепкий, отборный мат.

— Пудов на пятнадцать штука!.. Тьфу, сопляк!.. Теперь догони, поцелуйся!..

...Темнеет. В лицо брызжет косой дождик. Есть хочется — прямо живот подвело. А на сердце тошно от неудачи.

— Так же вот, как только Пилсудский пришел, — басыт рядом Павлюк, — отбывал я резервную в Пружанах. Коноводом был у поручика. Поедем, бывало, на кабанов. Что ж, усядутся паночки за пнями, да только пах-пах! пах-пах!.. И все на ветер! «Чтоб у вас, говорю, ручки поотсыхали!» А мне стрелять не дают. Карабиночка, брат, игрушка, французская. Не выдержал я однажды: как дал, так кабан только «ай!» и готов. «Все одно, говорю, пан поручик, он на вас не пошел бы, а мне было в самый раз». У пана, брат, рука нагулянная, пшеничная, как зачерпнул мне по рылу — только искры из глаз посыпались... Залился я юшкой, плюнул, карабинку оземь! «Чтоб тебе, говорю, вместе с ним захолонуть!»

Я смеюсь, но нельзя сказать, чтобы от всего сердца. Так и тянет взглянуть на медвежью, ржаную лапу моего учителя. А «рыло» у меня было тогда совсем еще юное, деликатное...

Но в словах этих только вылилась горечь обманутых ожиданий. Часом позднее та же самая лапа радушно наливала мне «московской», подсовывала хлеб и горячую сковородку с жареным, — полосатым, слоистым салом от «двенадцатипудового» кабана.

3

В следующий раз угощал охотой я. Было это три года спустя, осенью сорок третьего.

В то время меня уже считали неплохим командиром подрывной группы. И вот захотелось как-то моему земляку пойти со мной на двуногих фашистских волков.

Брат дядьку на подрыв на два-три дня командир отряда не разрешил. Павлюк был хорошим связным, более нужным покуда на месте, чем в отряде, и ради удовлетворения его любопытства рисковать тем, что он попадет на подозрение, — было делом совсем несерьезным. А Павлюк все не отставал от меня. Наконец он, используя последний довод, напомнил мне про старый должок. И правда, за мною был немалый долг — ящик патронов, наган и кое-что сверх того.

Еще в первые, мрачные дни отступления, когда в пруды, в речки, в землю мы, местная молодежь, опускали любовно спеленатые пулеметы, винтовки, наганы — не дремал и Павлюк: он снял с брошенной машины «ящичек» патронов и зарыл его в поле, про запас. Что еще — я не знал, так как только это совершенно случайно заметил.

Дурно, не по-соседски поступил я, не отправившись за этим «ящичком» сам, а послав товарищей по группе. Был у нас такой Михась, который очень любил отвести человека в сторону и пошептаться с ним тайком. Отвел он медведя за угол и шепчет: «У вас, мол, дядька, то да это, нам Микола говорил...» Миколу он, конечно, придумал. «А будь он неладен,— пробасил Павлюк,— не смолчал-таки! Это ж мы вместе с ним закапывали. Я, дурень, одну только винтовочку и взял, а он-то, хлопцы, пулеметов, патронов, гранат!» — «Какой Микола, дядька, скажите...» — насторожился Михась. — «Как это какой? Ведь ты же говоришь, что вы от него!» Что поделаешь, пришлось хлопцам отказаться от Миколы. Когда же Павлюк достал из-под застрехи новую «винтовочку», им пришлось поверить ему и решить, что я солгал. В следующий раз послали уже меня самого. Прежде всего я, понятно, во всем сознался. «Вот с этого-то и надо было начинать,— ворчал Павлюк,— а то только перебили мне, сорванцы, ночь. Ну, пошли!» Взяли «лопаточку», отправились. «А ты, братец, тоже глазастый,— гудел Павлюк по пути,— и как ты тогда заметил». Откопали мы «ящичек» — тяжеленький. Пришлось запрячь Мышатку. В другой раз я сразу начал по-хорошему и получил совершенно новый «наганчик», старательно укутанный в почти целые штаны. В третий раз я получил три гранаты и «горсточку» наганных патронов. Потом еще два по «горсточке», куда Павлюк не заявил: «Лавочка закрывается, нету, брат, все».

Вот об этом-то «должке» он и напомнил мне, когда опять стал проситься на «чугунку».

— Мне, брат, только бы взглянуть, как он встанет на дыбки! — скромно объяснял Павлюк.

И что же, пришлось в конце концов взять.

— Подумаешь, — посоветовавшись, решили мы, — ходит же дядька и так, по заданию, или просто шатается целыми днями. Конечно, никому и в голову не придет,

что он с нами пошел. Только, ребята, чтоб одна наша группа знала — больше никто.

Павлюк ожидал за деревней, на условленном месте. Когда на свист он вышел из-за куста, на нем мы увидели винтовку-«десяточку», наган, за ремнем — гранату.

— Э, брат, так ты брехал, что ничего себе не оставил!

— Что ж,— пробасил он в ответ,— без снасти, брат, и вши не убьешь.

По дороге, улучив момент, когда мы с ним немного отстали, Павлюк таинственно шепнул:

— Семечек хочешь?

Я принял это попросту.

— Давай поплюем,— сказал я. Подставил карман, и он мне всыпал... ведерную «горсточку» наганных патронов.

— Если зайдешь когда, еще, может, найдется пригоршня-другая,— довольным голосом бормотал он в темноте.

Дневали мы на хуторе. Следующая ночка подобралась как раз для нашего промысла — темная, с дождем. В Засулье мы взяли проводника, нашего связного, Игната.

— Павлюк, ты, что ли? — пригляделся в темноте дядька Игнат, когда мы вышли на загуменье.

— Я, брат. Как живешь?

— Откуда это вы знакомы,— поразились мы,— за тридцать-то верст?

— Мой Тюлик был из этих мест... Тот, что уток ловил.

...Леня, Костик и Кныш остались в засаде. Дядька Игнат, Павлюк и я двинулись на дело втроем. Больше чем за сотню шагов от рельс,— лес до этого места был вырублен фашистами,— за пригорком, мы присели в кустах, посоветовались. Дядьке Игнату я поручил конец шнура, строго наказав не дернуть его случайно, а мы с Павлюком поползли. Я полз и разматывал шнур. Время от времени мы останавливались, чтоб прислушаться: не шаркают ли по гравию вдоль пути подкованные сапоги патруля... А потом ползли дальше. Сначала — на бугорке — под нами шуршала мокрая от дождя жесткая лесная трава. Потом была лощинка, и у нас намокли локти и колени. Затем мы вползли на насыпь. Павлюк со своей «десяточкой», в сознании торжественности момента,

установился в темноту, в ту сторону, откуда мы ждали патруль...

Это был мой шестой подрыв. За это время руки мои привыкли почти не дрожать от волнения,— я работал быстро и четко. Выгреб ямку под рельсой, между шпалами, подложил тол, затем — самый ответственный момент,— собрав всю осторожность, привязал к крючку шнурок и заправил капсюль в заряд. Мы отползли, уже другим путем, чтоб не задеть ненароком шнура.

Ждать пришлось недолго.

— И расщедрился же, будь он неладен, как назло! В кисель раскиснем,— недовольно ворчал Павлюк на дождь.— А поезд все не идет, голову б ему сломать!..

Я был в приподнятом, радостном настроении — и тревожном, и задорном.

— И сломает, а как же! — шепнул я в ответ.

Помолчали. А дождик и правда так и забирается за воротник. Чуть правее мины я, отползая, заметил небольшой кустик. Это мой ориентир. На фоне темно-серого неба едва выделяется над насыпью его силуэт. Я не свожу с него глаз.

— Как поглядишь на все, что творят черти,— заговаривает погода Павлюк,— так, кажется, сегодня же совсем к вам ушел бы... И придется, должно...

— Не всем, брат, с нами ходить, подожди,— шепчу я.— Дядька Игнат и дома сидит, с детьми, а мы без него, как без рук. А о себе — ты и сам знаешь.

Я вспоминаю про дневки у Павлюка на гумне и о том, как недавно наш Михась-шептун, раненный в ногу, два месяца отлеживался на чердаке Павлюковой хаты, и про другие «связные» дела моего земляка... И до боли в глазах вглядываюсь в куст... Потом мне вдруг делается почему-то очень весело.

— Дядька,— шепчу я Игнату, нахохлившемуся от дождя,— а ты знаешь, для чего употребляется тол в мирное время?

— Против коросты,— за него отвечает Павлюк.

Опять тишина, ожидание. Павлюк пользуется этим, чтобы создать новую сказку про тол.

— Текля Пересько жалуется мне как-то,— начинает он после недолгого молчания,— «зад у меня, Павлючок, хоть теркой дери...»

— Стой, идет,— обрываю я его.

Застыли.

— Верно,— шепчет Игнат,— идет...

Сердце мое стучало, пожалуй, громче, чем поезд, так тихо он шел. Как на мушку винтовки, я взял его на куст. Перед собой паровоз толкает пустую платформу. Фашист привык прятаться за чужой спиной. А мы на эту его «хитрость» — веревочку. Вот... платформа... закрыла... мой куст... вот... паровоз.

— Дергай! — чуть не подскочил я.

Да, тогда было темно, все произошло в один момент,— а все же до сих пор у меня перед глазами та жадная страсть, с какой Павлюк дернул за веревочку.

4

Не одной тысячей мокрых ножек топчет по крыше сарая дождь. Сладко, парно пахнет теплая отава, на которой я лежу, глядя вверх на пыльную паутину под стропилами. Кругом, кто где успел привалиться, спят наши. Я же только прикидываюсь, что сплю: я слушаю. На краю скирды сидит Павлюк. Он рассказывает новую сказку дядьке-хуторянину, у которого мы остановились передневать.

— Нарубили, брат, мяса,— гудит его приглушенный голос.— Подложили мы эту самую цацку под рельсу и лежим. А темень — можно волка оседлать. Потом слышим — идет. Крадется, брат, на пальчиках, точно на стекло босиком наступить боится. Научили паршивца ходить! А тут ему под брюхо как ахнет!.. Перекинулся на спину, и только колеса, как живые, будто лапками перебирает, крутятся... А вагоны через голову, через голову кувырком... Поднялся переполох, писк — словно ты крыс в ларе накрыл!..

Он умолкает на миг, потом заканчивает:

— Сотни две наглушили!

Я молчу и думаю:

«Вот она сказка и о нас. Да какая же это сказка! Это наша партизанская быль, обобщенная художником. Она у нас — как сказка, только сумей рассказать. Не важно, если завтра или послезавтра к сегодняшнему рассказу Павлюка поступит поправка: наш связной, возможно, донесет в отряд, что на этот раз мы пустили под

откос эшелон только, скажем, с углем, или с каким-нибудь ломом! В прошлый раз у меня были цистерны с горючим — двенадцать цистерн! — а у Юзика — «живая сила». А чего еще не было у нас с ним, — наверняка будет! Бывает же у других... А Павлюк — он по-своему выражает наши мечты, нашу ненависть к захватчику, — чем больше «крыс» набьем, тем будет лучше.

— Буди, браток, — шепчет хозяин, — а то и горох простынет.

Отфыркиваясь и протирая глаза, мы рассаживаемся на отаве вокруг бездонного горшка гороховой каши, ломтей хлеба, соленых огурцов.

— За ваши, хлопчики, и ручки, и ножки, и все... Чтоб мы, дай, милый боже, дождались... — говорит дядька, доставая из-под полы заткнутую тряпочкой литровку.

В стакан приятно забулькал первач.



— Ты что же это, Снопок, мобилизацией занялся, а?..

Иван Кузьмич, с неизменной трубкой в зубах, смотрит на меня, многозначительно прищурив глаз. А мне — и не придумаешь прямо, как тут вывернуться.

Ночью, когда мы проходили мимо нашей, моей и Павлюка, деревни, я сказал:

— Ну что ж, иди уже, пожалуй, Павлюк.

А он с искренним удивлением спросил:

— Куда?

— Как куда? — в свою очередь, удивился я. — Домой!

— Домой? А что он, мой дом, в поле убежит? Зайдем через недельку-другую.

И как мне убедить теперь командира, что я не соби-рался самовольно переводить Павлюка из связных в подрывники, что только хотел вернуть ему наш долг, что Павлюк с этим подрывом навсегда врос в мою группу, а с группой — в отряд?

Однако я пытаюсь объяснить:

— Товарищ командир...

— Сам знаю, что я «товарищ командир», — перебивает меня Иван Кузьмич, — вот ты, видно, позабыл об этом. Самоуправство, язви его душу!..

Иван Кузьмич — из-за линии фронта, партизан гражданской войны, сибиряк, с алтайским ножом и неизменным «язви его душу». Сверх всех его командирских и человеческих достоинств, он еще — большой любитель дисциплины и знаток чуть не всех сортов табака.

Я не курю. Для меня что мультан, что не мультан — один черт. А дисциплину я тоже уважаю. Кроме того, есть у меня такая привычка — люблю я к сердцу идти напрямик. И почти всегда удается. Вот и теперь я тоже рванул:

— Иван Кузьмич, да вы бы хоть взглянули на него сперва. Ей-ей, спасибо скажете!

Иван Кузьмич сначала молчит, потом чуть заметно улыбается:

— Ну что ж, давай его, твое чудо, сюда.

По пути от столярной, где я нашел Павлюка, до командирской землянки я толковал ему, как надо держаться, чтобы понравиться начальству. И вот Павлюк стоит перед Иваном Кузьмичом «смирно». Сапогам внизу просторно, и они, по старой артиллерийской памяти, вполне прилично выполняют устав. Зато голова на широких могучих плечах невольно наклонилась вперед, как велит покатый потолок невысокой землянки.

— Товарищ командир, — отчеканиваю я, кажется, еще четче, чем всегда. Но Иван Кузьмич как будто и не слышит.

— Да, ничего себе, — говорит он. — Ну, где гулял?

— А я у Миколы-столяра сидел. Смотрел, как это он шкатулочки строгает. Справный хлопчина!..

Столяру Миколе — под пятьдесят, и мы, молодежь, больше половины отряда, зовем этого «хлопчину» дядька Микола.

— Что, что он делает? — переспрашивает, как будто недослышав, Иван Кузьмич.

— Ну, мины, шкатулочки для мин...

— А, вот оно что! Да, он у нас мастер — ничего не скажешь. Лишь бы толу хватало.

— А как бы это из снарядов попробовать, товарищ командир, — говорит Павлюк, как будто он и не слышал никогда о том, что мы выплавляем немало толу из подобранных снарядов и бомб. — Я знаю одно местечко.

А я почему-то смотрю на его огромные сапоги. Колени уже присогнуты на полпути от «смирно» к «вольно»,

и одна ступня отставлена, в явное нарушение дисциплины.

— Славное местечко,— повторяет Павлюк.— Вы мне дайте завтра только парочку хлопцев, товарищ командир, и мы пойдем на Неман. Там у меня с десятков самолетных бомбочек лежит на дне. Надо их будет поднять.

— А что, Снопок,— обращается ко мне Иван Кузьмич,— пошли с ним завтра двух человек, а хочешь, и сам пойдешь.

Иван Кузьмич на глазах мягчает. Он берет со стола свою неизменную трубку и круглую коробочку — предмет нашей зависти — с надписью: «Нашим партизанам и партизанкам — слава!» Коробочку эту он привез с Большой земли вместе с другими сокровищами. Пока он привычным движением отвинчивает с коробочки крышку, я снова взглядываю на Павлюковы сапоги. Они совсем позабыли уже об условленном «смирно». Павлюк делает шаг вперед и по-приятельски говорит:

— А вы моего, товарищ командир, мультанчику... А то вы, я вижу, какую-то там труху курите. Эх, и хлопцы же у вас: чего-чего — а табаку чтоб не раздобыть!..

— Им бы только за девками, язви их душу,— совсем уже добродушно ворчит Иван Кузьмич, залезая тремя пальцами в кисет Павлюка.

Он набивает трубку, потом, не без важности, подносит Павлюку огонек отличной зажигалки, тоже с Большой земли, прикуривает сам, вкусно затягивается полной затяжкой и с явным восхищением произносит:

— Язви его душу, хор-рош!

Я не курю. Мне мультан не мультан — один черт. Табак и есть табак,— что в нем может быть хорошего! Я уверен, что слова эти — о моем земляке.

Пока Лида Свирид не встретила в пуще трех партизан, молодежи казалось, что все уже погибло.

«Все» — начиная с хаты на хуторе, своего гнезда. Бедное было у нее гнездо, осиротелое после того, как убили Андрея, однако все-таки гнездо, так как вместе с Лидой жил в нем птенчик — девятимесячная Верочка. Недалеко от хутора — деревня Ляды, где когда-то Лида тоже была птенчиком, а потом вольной пташкой. Там жили мама, которая поначалу приходила учить Лиду купать Верочку, и отец, после смерти Андрея помогавший ей справляться со вдовьим хозяйством. Там был Микола, старший, семейный брат, были подруги и друзья молодости, родня и соседи. За Лядами — Ямное, Грядки, Заречье, Гречаники — ближние деревни, в одну из которых вышла замуж Марыля, сестра, в другую — Зина, лучшая подруга, в третьей доживала свой век добрая тетка Настуля.

Одним словом, был свой небольшой круг, родная частица огромного мира, с центром, сердцем его — Верочкой.

Пересекая этот круг, с юга на север катился Неман. Тоже родной, близкий, где столько раз она плавала летом, скользила по льду зимой.

В Лядах на Немане стоял партизанский дозор, а в срубке, заваленном прямо по потолочному настилу картофельной ботвой, застава. В срубке, а не в хате, потому что уже с осени в Лядах хат не было: их сожгли фашистские каратели. Теперь были только землянки, повети, сушилки, крытые соломой погреба, обгорелые заборы и какие-то особенно оголенные и одинокие липы, груши-дички, березы и клены. Среди землянок, деревьев, плетней, черных струпьев пожарищ всегда перед глазами

стоял этот необычный сруб. И, когда она взглядывала на него, на душе становилось легче и спокойней — за ребенка, за себя и за добрых людей. По почам из пуши за Неман выезжали разведчики, выходили взводы, подчас целый отряд или бригада. И, когда она слышала, как перекидывались шутками веселые хлопцы, как лошади их фыркали и били копытами по доскам парома или плескали водой у берега, ей становилось хорошо от мысли, что и сегодня Верочка спокойно уснет и сама она может отдохнуть, а утром все снова встанут и возьмутся за работу, почти так же спокойно, как до войны.

Так было до тех пор, пока не пошел меж людей слух про великую, неслыханную беду, называется которая совсем новым и очень страшным словом — «блокада».

И вот она подкралась, эта беда, неприметно.

Случилось это перед самой косовицей. На рассвете вспыхнул бой на Немане. В Дуброве, где находился мост против лагеря бригады «Сокол», бой затянулся надолго. А в Лядах заставу — пятнадцать человек — разгромили внезапным налетом.

Лида только успела вскочить с постели, взглянуть в окно и выбежать во двор, а народ уже бросился в сторону пуши: старухи, девчата, дети...

Схватив единственное, чего она нигде и никогда не могла позабыть, — свою сонную, теплую Верочку, — побежала и Лида.

Сзади, на Немане и в деревне, слышны были крики, стрельба, занимался пожар. Над головами у беглецов, обгоняя их, жужжали пули, а мины тяжело шлепались то тут, то там, злобно разбрызгивая вокруг себя визгливые осколки. Дорогой и полем, по густым хлебам, бежали лядовские жители, а Лида с ребенком никак не могла их догнать. И не потому, что тяжело ей было или неловко. Как только она пыталась бежать скорее, малышка просыпалась и захлебывалась плачем. Одна с Верочкой она добралась до первых кустов на опушке. И там уже никого не было. Кустами, калеча босые ноги (тут только вспомнила о сапогах под кроватью), добежала до березняка. Потом углубилась в росистые заросли и, ныряя под ветки, потеряла косынку, порвала платье и дважды споткнулась. И только когда споткнулась о корягу в третий раз и чуть-чуть не упала, Лида пошла потише, прижимая дочурку к задыхающейся груди.

— Тихо, тихо, голубка моя,— говорила она.— Ну, не плачь...

Но и сама готова была заплакать.

Она осталась одна. Впереди лес, а на руках ребенок, с которым не побежишь, никого не догонишь. Да и как догонять, куда бежать? А тут, гляди, и тебя догонят... Вон как стреляют — ближе и ближе...

Этот страх и породил нелепую мысль, что все позади погибло. А теперь... а теперь и она...

— Тише, тише, милая моя... Ну, не плачь...

Губы шептали, уговаривали, а из глаз катились слезы.

Солнце только-только выбралось из-за деревьев на чистое небо, когда Лида, уходя все дальше от грохота пушек и стрельбы, наткнулась в чаще леса на трех вооруженных людей, один из которых держал в поводу коня. Сперва, не узнав их, она испугалась, а потом радостно вскрикнула:

— Хлопцы!..

Это были Женька Сакович, Федорин Иван и Середа из Гречаников. С ними больше года партизанил ее Андрей.

2

Три партизана, из которых один раненый и только один с конем,— вот и все, что осталось от разведки отряда.

...Произошло это неожиданно и быстро.

На рассвете они возвращались с задания. Кони, взмокшие от дальней дороги и быстрой езды, как только им разрешили перейти на шаг, стали весело пофыркивать, месить копытами глубокий песок. Конники опять могли перекинуться словечком, закурить.

Отмечая короткий ночной путь бессонного летнего солнца, на севере тянулась светлая полоса. Солнце, которое, кажется, так недавно село на северо-западе, переползло, прячась за горизонтом, на северо-восток и остановилось, чтобы начать помаленьку выплывать наверх. Оно было глубоко за пущей — над гребнем леса все еще не смело занималась утренняя заря. А по мере того как она разгоралась, остатки вечерней зари потухали. Вот-вот проснется в хлебах первый жаворонок и, отряхнув свежие

капли с серых теплых перышек, поднимется над полем, возвещая восторженным щебетом начало нового дня.

Шура Сучок ехал сегодня далеко впереди. Каштанка мерно переступала ногами, надоедливо скрипело седло. Автомат, как всегда, висел на груди. Даже Шура, очень осторожный, внимательный парень, спокойно смотрел вперед. Вот только пересечь большак, проехать мимо этих деревень, а там немного лугом — и лес. Да и деревень, собственно говоря, нет: одно только Загородье, раскинувшееся на пригорках по обоим берегам узенькой речки Ужанки. Давая направление всей группе, в середине деревни Шура повернул направо, пересек широкий песчаный большак и затрусил с пригорка в ложину, к мостику.

Недавно с Шурой произошел один случай, который почему-то запомнился всем в разведке отряда. В ту ночь разведка была на задании почти под самым носом у фашистского гарнизона. Шура стоял на посту за крайним домом деревеньки. Когда же потом за ним поехали, его не нашли на условном месте. Встревоженные друзья бросились искать. Шура Сучок стоял за деревом, не более чем в двухстах шагах от первых домов, где за проволокой находился гарнизон. «Ну и зачем это, — кричал потом командир. — Кому б от этого была польза, если бы тебя раздавили, как жука. Эх, ты!..» — «Я бы, в случае чего, — оправдывался Шура, — дал бы вам знак, чтобы вы успели отойти». — «А сам?» — «Сам? Черт его знает», — засмеялся смущенный парень. Он был, оказывается, совсем не готов к такому вопросу. «Сам, — сказал он первое, что пришло на язык, — тоже что-нибудь сделал бы...»

Этот случай еще раз показал разведчикам, что больше всего заботило их скромного, молчаливого товарища, которому только теперь, на второй год пребывания в отряде, стукнуло восемнадцать лет.

Когда Каштанка затопала по доскам мостика, Шура заметил, как в другом конце Загородья от гумна к хлеву метнулся, перебежал, пригнувшись, кто-то чужой. Сзади были товарищи, и Шура подал им знак, взмахнув рукой, а сам рванулся туда, к гумну.

Пока парень, прошитый пулеметной очередью, сползал в какую-то темную бездну, в ложине между редкими хатами деревни со всех сторон затрещали выстрелы. Разведка оказалась в западне.

Женька Сакович думал сначала, что он опомнился первым и благодаря ему они, четверо из десяти, собрались на опушке леса. То же мог думать и каждый из них: трудно было понять, как они могли вырваться из кольца губительного огня.

У реки, на первой прогалине в лесу, они снова напоролась на пулеметы. На этот раз стреляли из танков, замаскированных в кустах. Тут остался еще один товарищ — веселый гитарист Левко, тут под Женькой убили коня. Хлопцы догадались, что дело не шутка, что это не обычные засады. Когда же вскоре, точно по сигналу этих двух засад, на севере, должно быть, возле бригадной переправы на Немане, разгорелась пулеметная трескотня, к которой присоединились взрывы мин и грохот орудий, — все наконец стало ясно.

3

— Так что ж это делается, Лида?

Вопрос прозвучал нелепо. Злобный — то нарастающий, то чуть потише — треск пулеметных очередей все приближался и приближался. Разрывы мин и снарядов ложились где-то совсем близко. Как это партизан мог обратиться с таким вопросом к женщине и так еле живой от страха? Кто его знает! Каждый из них, кажется, готов был задать этот вопрос. Они стояли вокруг Лиды. Ведь она одна была с той стороны, с Немана, откуда все началось. Однако и она не могла ничего им сказать о том, где бригада, где их отряд, как добраться до своих... А тут еще она, совсем не обращая внимания на их присутствие, вынула из кофточки полную молодую грудь. Ребенок жадно уткнулся в нее, прильнул и замолк. Тогда Женька, как будто что-то вспомнив, достал из сумки индивидуальный пакет и, протянув его Ивану, попросил:

— Возьми, брат, подвяжи ты мне руку на шею: что-то тяжела стала.

— Да ты ранен, Женья? — испуганно спросила Лида.

— Даже и перевязан уже, — усмехнулся Женька, застенчиво поглядывая на нее.

Малышка, утолив первый голод, бросила сосать, почмокала губами, поглядела на траву и протянула вниз забавно маленькую ручку с розовыми растопыренными пальцами.

— Ня, — сказала она.

Мать, которая одна понимала язык девочки, привычно спрятала грудь и, нагнувшись к высокой лесной траве, не глядя, захватила пучок. Выдернула целую пригоршню, но маленькая ручка с розовыми пальцами нашла в этой пригоршне то, что ей надо. Это был белый, пушистый, как детская шапочка из кроличьего пуха, одуванчик. Пальчики малышки сжались в кулачок, и от цветка осталось только немножко пуха. Да и тот был совсем невкусный. Заслунявленные розовые губки стали его недовольно и по-детски неловко сплевывать. В другое время только бы и смеяться над этим забавным неудовольствием!.. Даже и сейчас что-то теплое зашевелилось в душе, но тут...

Тут с пронзительным ревом над вершинами пронеслась огромная темно-серебристая птица. Ребята быстро присели. Лида с криком упала, заслоняя собой Верочку. Женька успел заметить, как из-под крыльев железной птицы, казалось, прямо над ними, отделилось два продолговатых предмета.

— Бомбы!..

Они раздирали воздух и долго, бесконечно долго сипели, свистели, выли, спеша врезаться в землю. Это только показалось, что они оторвались из-под крыльев над самой головой: два страшных взрыва, один за другим, всколыхнули воздух довольно далеко от них. Что там люди и конь — даже земля дрогнула! А потом пошли осколки. Одни тонко, как пчелы, звенели по верхам, сбивая веточки и листья, другие жужжали, как шмели, и злобно цокали, въедаясь в сучья и стволы. А один — большой и громкий — добрался сквозь гущу совсем близко, к этой вот стройной ольхе. Подсеченная, она недовольно крякнула, постояла какой-то, почти неуловимый миг, а потом медленно поехала вниз. Зацепившись верхушкой за вершину другой, молоденькой ольхи, как-то странно вывернувшись и, сбивая ветки подруги, хлопнулась на траву. Только тогда, вырывая из рук повод, шархнулся вконец испуганный конь.

К Женьке страх пришел позднее, когда, покрывая жужжание последних осколков, заплакала, задыхаясь от ужаса, малышка.

— Пойдем, Лида, с нами, — сказал он. — Не плачь. Но куда же идти?

Куда-то ж ведет эта узкая лесная дорожка...

Вот они и пошли туда.

Через несколько минут дорожка вдруг подвела. Огибая сырую лощину, она круто повернула влево, как раз туда, откуда всего слышнее был огонь. На юге тоже гремело. Свободным оставался покуда только восток. А на востоке, равнодушное к этой горсточке людей, распростерлось поросшее кустарником болото.

— С конем здесь не пройдешь,— сказал Середа.

Он расседлал коня, седло на всякий случай закинул в кусты, затем, как дома, на гречаницком выгоне, снял и уздечку. Со щелком, как хозяин, закончивший сев, хлестнул коня уздечкой по хвосту и почти весело крикнул:

— Гоп, сивый!.. Все, войне конец!..

Нелепая мысль, что там, за ними, все погибло, была впервые высказана вслух.

Видно, для того, чтобы подкрепить ее, Середа протянул товарищам руку с окровавленным пальцем.

— Перевяжите кто-нибудь,— сказал он.

Женька удивленно посмотрел на него, помолчал, а потом здоровой рукой вынул из кармана платок:

— Возьми. Он еще чистый.

4

Они пробирались на восток по болоту, заросшему кустами. Прыгали по кочкарнику, оступались на хлипких, подплывших кочках, проваливались, падали, увязали, выбирались снова и снова упорно двигались вперед.

Первым шел маленький коренастый Середа. За ним спокойно, широко шагал всегда молчаливый Федорин Иван, худой женатый мужчина. Он нес два автомата — Женькин и свой. За Иваном спешила Лида. За Лидой — самый младший, высокий, еще по-юношески сутулившийся Женька. Простреленная рука висела на перевязи. Кое-как, наспех перевязанная рана все еще — чувствовал он — кровоточила, а кисть свисала из бинта, как перебитое крыло. Брови под липялой армейской пилоткой были насуплены, черные глаза смотрели мрачно, — видно, не только от боли.

Стрельба и разрывы мин и снарядов стали понемногу утихать, отдаляться на запад. Слышнее были разрывы бомб. Несколько раз над болотом, загоня партизан и

Лиду в кусты, низко гудел бомбовоз или тарахтел похожий на стрекозу самолет-разведчик.

Тяжелей всех было Лиде. Прыгать с кочки на кочку с ребенком, сохранять равновесие с занятыми руками, падать так, чтобы не ушибить дочурку, и вставать вместе с ней — разве женщине это было под силу?

Уже два раза Федорин Иван останавливался и говорил:

— Дай, может, я понесу.

И два раза она отвечала:

— Ничего. Ты иди.

Между тем солнце перевалило за полдень. Мать сама не почувствовала бы, что с утра ее томит жажда, что она голодна, — сама не вспомнила бы, так напомнили об этом груди. Верочка сосет и плачет: пропало молоко. Кроме того, малышка никак не могла понять, зачем ей терпеть все эти неприятности. Ее протест выражался одним ребячьим способом — плачем, который никак было не остановить. Она то стихала порой, утомленная или успокоенная более легкой дорогой, то опять заходилась криком. Мать прижимала ее к себе, целовала, уговаривала и попрекала, как большую, плакала даже со злости, а потом, снова представив себе, что может случиться с этой светлой маленькой головкой, целовала дочку еще горячее и просила у нее прощения...

Изо всех сил стараясь не отстать от мужчин, Лида была вся внимание, боясь услышать страшные слова о том, до чего может довести их этот плач... Она старалась поймать первый взгляд укора и злобы. Хотелось забраться в каждую из этих трех душ, чтобы наверное и как можно скорее узнать, что они, хлопцы, думают...

Правда, они покуда молчали.

Говорил один Середа.

Он вдруг стал вроде бы командиром. Он взялся провести их туда, где, по его словам, есть совершенно надежное убежище. Путь туда известен только ему одному. Их деревня Гречаники — все лесовики, только и жили с заработков в лесу.

— Туда, браток, — говорит он, — даже старая Ганна не доберется. За этим самым бабским живокостом¹. Меня отец-покойник научил. При Польше не так, а вот

¹ Лесная целебная трава.



в тридцать девятом, как наши пришли, вот тогда, браток, начал я зашибать копейку. Мы ее тогда по-культурному начали называть: авиабереза. А то раньше — просто по-деревенски: чечетка, и все. Про нас с Соболевым Иваном даже газетка писала: стахановцы.

Он рассказывает о той березе-чечетке, из которой делают что-то такое для самолетов. Она растет там, в самой глуши, куда другие могут пробраться только зимой, когда замерзнет болото. Где-то там, на одном из тех болотных островов, где фашистам не найти Верочки. Только бы он, Середа, не заблудился. Только бы дитяtko молчало...

«Ой, мамочка, опять!.. Опять споткнулась, упала, уперлась одной рукой, чтобы встать. А рука сквозь траву ушла в грязь по самый локоть... Спасибо тебе, Иван, снова ты помог. А малышка опять заплакала. Ах, да тише ты, тише, горе мое!..»

— Кабы я не знал дороги, не повел бы,— бубнит впереди все тот же голос.— Доведу. Там мы как у бога за пазухой просидим. Вот только музыки у нас слишком много. Услышат немцы — и конец. Беда.

— Ну, да тише ты, тише, дочушка...

Женька молча шел за Лидой, перемогая боль, молча слушал плач малышки, бесконечное гудение Середы и думал:

«Почему он так крикнул Сивке: «Все, войне конец!»? А палец, который он даже с каким-то удовольствием нам показал?.. Почему он, этот вояка, насильно вытянутый недавно из хаты, этот вахлак, теперь вдруг оказался в начальниках? Он проведет и спрячет... Только вот Лида ему мешает. И даже не Лида, а Верочка... Почему он забыл и об убитых друзьях, и о том, что сегодня творится в деревнях,— сколько наших отцов, ребятшек и девушек расстреляно или сожжено с утра? Может, Шурка совсем не убит, а только ранен? Может, ему сейчас надевают на шею веревку, а он, как всегда спокойный, молчаливый, собирает последние силы, чтобы плюнуть в глаза палачам? А где товарищи, вся бригада?..»

...Под вечер путь им преградила речка. Она была неширокая. Середа нашел хворостину, стал мерить глубину. Нельзя было даже понять, где начинается дно: хворостина уходит и уходит... Нашли неподалеку ствол сухой осины, лежавший еще с зимы. Перекинули — как раз

хватило. Проверить, выдержит ли, пошел Федорин Иван. Он разулся на всякий случай и оставил оружие. Перешел, выдержала. Тогда пошел Середа с автоматами. Женька остался последним, потому что Лида стояла сбоку, выжидая.

— Дашь, может, Верочку мне,— сказал он.— Ты же измучилась.

А она как-то странно на него посмотрела и только сказала:

— Иди.

— Да что ты, Лида?

Она повторила так же:

— Иди.— А потом прибавила: — Да куда тебе, Женья! Пройди хоть один.

Перейдя на ту сторону, Женька стоял и, бледный, молча смотрел то на босые, черные ноги женщины, на диво уверенно, твердо ступавшие по осиновой жерди, то на руки, державшие девочку. Казалось, никакая сила не способна оторвать эти ноги от кладки, а руки — от ребенка.

Перешла! Перешла и опять поплелась за ними.

А Женьке хотелось прямо спросить: «Ты не веришь? Не веришь и мне?» Но спрашивать было страшно: а что, если она так же решительно, как дважды сказала «иди», ответит «не верю»?

5

Ах, опять этот плач!..

Девчушка до этих пор знала одно. В это время еще вчера на столе рядом с кроватью горела лампа. А она со своей мамой лежала под легкой дерюжкой. Лежала, правда, только мама, так как дочурка, как всегда, требовала своего. Кому какое дело, что она уже сыта, что пора бы подложить под пухлую розовую щечку маленький кулачок и спать, сквозь сон причмокивая губками! Кто станет оспаривать святое право младенчества? Девочка будет не только сосать: она поднимет глазки на мать и шаловливо улыбнется. Пускай только мама попробует не засмеяться в ответ. Она начнет целоваться, воркуя, покусывая первыми зубками мамины губы. А потом, победив наконец, опять привстанет, поднимется и, нырнув, снова прильнет к груди.

А сегодня вдруг нашелся зверь, забравший у малышки сразу все. Вокруг темнота, холод, вместо горни-

цы — лес. Мать сидит на земле, поджав холодные ноги, прижимает к себе свое сокровище и только чуть слышно, беспомощно шепчет:

— Рыбка... милая... что ж тебе дать?

Зверь выгнал их из родного гнезда, преследовал их пулеметами, минами и бомбами, иссушил в груди матери молоко...

И вот девочка напрасно пытается его вернуть. Уже не для забавы только, не для игры. Первый раз в жизни ее заставили испытать голод.

Она плачет. Это тихий и страшный плач...

А тут рядом в темноте кто-то ворочается на траве и опять недовольно бубнит:

— Эх, чтоб тебе... нет от тебя ни днем, ни ночью покоя. Доведешь ты нас до гибели...

— Кто тебя доведет? Скажи ты мне, кто тебя доведет? Ну скажи, что ты говоришь?!

Лида хотела еще что-то прибавить, но вдруг, снова представив весь ужас своего положения, она заплакала:

— Ах, Андрей, Андрей, был бы ты жив, видел бы!..

...Андрей видит. Он здесь. Он стоит перед Женькиными глазами, слушает, как горько плачут самые близкие ему существа. Презрительно и печально прищурив серые глаза, он говорит.

— Эх, вы!..

И за этими словами — боевые друзья, ночи засад и стычек, первые радостные сводки... И то время, когда они, еще до вступления в отряд... да какое там, собственно говоря, вступление! Тогда и отрядов еще не было, когда они, молодые комсомольцы, собирались в хате старшего товарища, Андрея, на хуторе и обсуждали с ним, с чего начинать...

Вот и Шура Сучок...

«Я бы, в случае чего, сразу дал бы вам знак, чтобы вы успели спокойно отойти...» — «А сам?» — «Сам? Черт его знает... Что ж, сам тоже что-нибудь сделал бы...»

Он ничего больше не говорит.

«...Если же по малодушию, трусости или по злой воле я нарушу свою клятву и предам народное дело, — встают перед Женькой слова партизанской присяги, — да погибну я позорной смертью от руки своих товарищей».

«Мы еще не нарушили ее, — думает Женька, — но мы уже встали на этот путь. Мы ослабели, испугались. А ис-

пугавшись, мы безвольно поддались самому трусливому из нас, потому что он обещал провести в надежное убежище. Вот только ребенок мешает нам, может выдать нас своим плачем... А если бы пришлось выбирать, кому спастись — нам или малышке, — что он выбрал бы, наш поводырь?.. А мы, вероятно, молчали бы, ведь теперь мы молчим, пока он вякает. Ну, а если у нас на пути, несмотря на всю лесную премудрость Середы, вдруг окажутся фашисты? Жизнь тогда можно будет купить только ценой измены, порожденной страхом. Что он тогда выберет, наш поводырь? А мы? Мы тоже будем молчать?..»

Опершись на левую, здоровую руку, Женька поднялся, расстегнул кобуру...

— Пора, Иван, — сказал он.

Тихий, даже слишком спокойный Федорин Иван, казалось, давно ждал этих слов.

Вдвоем они подошли к третьему. И Женька приказал:

— Встань, Середа! Поговорим.

6

Штаб группировки фашистских войск, которому поручена была ликвидация энского партизанского соединения, представлял себе дело так.

Лесной массив N является базой соединения. В центре этого массива, в самой, надо думать, дремучей чащобе, находится штаб, который руководит всей работой отдельных партизанских групп. Задача операции заключается в том, чтобы согнать все эти группы из всей зоны их деятельности в пущу, обложить эту пущу плотным кольцом войск и сжимать кольцо до тех пор, пока все силы соединения не будут собраны в одном месте, вокруг своего штаба. Там они будут разгромлены. Было предусмотрено и то, что при отступлении в пущу партизаны попытаются дать отпор. Он будет быстро сломлен натиском регулярных частей. Тогда будет применена тактика прочесывания с применением «загонов». По лесу протянется частый «невод» пехоты, который сгонит к центру пущи и больших партизанских рыб, и потрепанную в боях мелкорыбицу. Пехота должна пройти везде, так как для этого ей выданы резиновые комбинезоны, овчарки, достаточное количество боеприпасов. Тактика же «загонов» будет заключаться в том, что перед сетью

пехоты будут выдвинуты засады на дорогах, просеках и тропках, по которым побегут партизаны. Непроходимые места будут накрыты плотным огнем пушек, минометов и авиабомб.

План операции был задуман и разработан со всей немецкой педантичностью, однако он не дал тех результатов, на которые рассчитывал штаб группировки. Ожесточенные оборонительные бои на подступах к пуше доказали захватчикам, что способность сопротивления партизан регулярному войску с артиллерией, броневиками и самолетами учтена далеко не достаточно. Еще в меньшей степени учитывались так называемые «варварские качества» русских — партизанская сметка, выносливость и знание местных условий. Фашистский «невод» оказался на практике далеко не таким частым. Совершенно непроходимыми для этого «невода» местами, несмотря на щедрый огонь минометов и орудий, в тыл врагу пробирались партизаны. Пуша таила в себе недоступные острова, проходы к которым знали только местные жители. Там была укрыта безоружная часть ушедших в лес людей: старики, женщины, дети. «Невод» не везде также доставал до дна. Небольшие отдельные группы партизан рассыпались перед наступающими силами, зарывались под толстую овчину лесного мха, а на болотах прикрывались кочками и, слившись с местностью, отсиживались там до тех пор, пока над ними проходила вражеская сеть.

Более того, было еще одно, не предвиденное фашистским штабом обстоятельство. Кое-кто из тех, кого они имели в виду, когда говорили о «крупных партизанских рыбах», совершенно неожиданно стремительным ударом прорывали «невод» и выходили из пуши в тыл силам блокады.

И вот еще что — главное из главного — тоже не было достаточно учтено врагом. Это — чувство родины, чувство великого, непобедимого единства советских людей, воодушевлявшее каждую группу, каждого отдельного партизана.

Существовал свой огромный родной партизанский мир. Для каждого, кто носил гордое звание народного мстителя, центром этого мира была его группа — отделение или взвод. За этим центром, самым маленьким, были центры побольше: для взвода — отряд, для от-

ряда — бригада, для бригады — соединение. Энская пуща, как база соединения, со всех сторон — лесками, перелесками и родными полями — сливалась с другими массивами белорусских лесов, где также были партизаны. На севере, на юге и востоке соединения белорусских партизан действовали рядом с народными мстителями других братских республик. Так-то и образовался он, могучий партизанский мир, часть непобедимого всенародного фронта борьбы с фашизмом.

Нелепая мысль о том, что мир этот вдруг мог исчезнуть, способна была возникнуть среди крохотной его частички — у троих партизан из разгромленной разведки — только потому, что частица эта почувствовала себя оторванной от своего родного мира и на какой-то миг поддалась страху.

Тем временем их боевая семья — бригада «Сокол» — давала врагу отпор. Весь этот день на подступах к пуще кипел горячий неравный бой. Бой с врагом, превосходящим и количеством и вооружением. Только ночью, когда выяснилось, что фашисты прорвали партизанский фронт дальше на север и обходят соколовцев с тыла, бригада оставила позицию. Отойдя за ночь в глубь леса, на рассвете она круто повернула на юг. Штаб решил нащупать там слабое место во вражеском кольце, пробить это кольцо и выйти в тыл врагу.

На опушке Черного болота соколовцы встретили трех партизан и женщину с ребенком. Они шли на запад, в ту сторону, где, как они надеялись, и сейчас еще стоит на Немане их бригада.

— Кто вел? — тихо, наклонившись с седла, спросил комбриг, выслушав грустную историю о судьбе своих людей.

Ему было двадцать пять лет. С той ночи, когда он спустился на эту землю с парашютом, прошел всего один год. Отряд «Сокол» вырос в бригаду, а командир ее заслуженно носил далеко известное имя — Грозный. Однако внешний вид комбрига никак не соответствовал этому имени. Некрупный черный парень в кубанке всегда был весел и прост в обращении.

Он озабоченно смотрел с седла на трех разведчиков и тихо спрашивал:

— Кто вел?

И вот тогда вышло так, что небольшой коренастый

лесоруб Середа, красный от напряжения и страха, шагнул вперед и доложил:

— Вчера вел я, товарищ комбриг. Прятаться вел. Струсил, как баба...

— Ты о себе, обо мне говори,— перебил его вдруг молчаливый Федорин Иван.— Как раз мы с тобой, брат, бабы, а не она...

Он показал на Лиду с малышкой на руках.

Тут грохнул смех. Они смеялись — до чертиков усталые, но непокорные, свои!.. Смеялись пешие, конные, смеялся и сам командир.

Только Женьке было не до смеха. Перед его глазами горько вставал этот день, целый день отступления во мхи, куда их вел Середа. Он слышал теперь дружный смех товарищей и, казалось, готов был провалиться сквозь землю.

— Ну ничего, Сакович, случилось и такое,— сказал комбриг.

— Сегодня Сакович вел, товарищ командир...— заговорил снова Середа.

— Я вижу и сам,— перебил его комбриг.— Саковичу надо коня. Нестеренко,— обратился он к своему адъютанту,— в третьем взводе возьми. Ну, и этим соколам тоже.— Он с усмешкой показал на Ивана и Середу.— Хотя я с удовольствием послал бы их в пехоту. Пешим легче заслужить прощенье. Как, Середа?

— Я заслужу, товарищ командир...

— Ладно! Знаю и сам.

Оставалось только подать команду — вперед! Но комбриг не забыл еще об одном.

— Что, говорите, сделаем с женщиной?— спросил он.

Никто ничего не говорил. Грозный сам спросил и сам ответил:

— Женщину, конечно, здесь не оставим. Только и с нами ей делать нечего. А ну, позовите мне деда.

Дед — это был бригадный старшина. Усы у старшины еще совсем черные, но его все почему-то называют дедом. Был он из Гречаников, из одной деревни с Середой и одной с ним профессии — лесоруб. За сорок лет скитаний с топором старик изучил пущу, как говорится, назубок.

— Что, дед, до Праглой отсюда далеко? — спросил комбриг, когда явился старшина,

— Отсюда под солнце надо идти,— отвечал дед не раздумывая.— До Чертова окна будет добрая километра. А там болотом еще километры три... А что?

— Как это — что? А семьи наши где? И надо туда отвести вот эту теточку с девчушкой. Как будто бы девочка?

— Девка, девка, товарищ комбриг, а как же,— отвечала Лида и в первый раз за сегодняшний день улыбнулась.— Моя партизанка.

«Девка» больше не плакала: она с озабоченным видом жадно сосала кусочек бригадного хлеба.

— Ну что ж, коли надо, так надо,— сказал, минуту подумав, дед.— Не хочется, правда, да девку жалко. Ну ты, сопливая, иди ко мне.

Верочка на диво доверчиво протянула ручки и даже сказала деду: «Ня».

— О, брат, не бойтесь,— сказал под хохот партизан дед,— она знает, с кем дружить. У старшины не только хлеб — у него и сальце найдется. Что, пойдём?

— Ну что ж,— спохватилась Лида,— дай вам боже счастья, товарищи дорогие.

Она протянула руку комбригу, Середе, Ивану и другим, стоявшим поближе. Когда же дошла до Женьки, о чем-то, видно, подумала или вдруг вспомнила, потому что неожиданно обняла его и крепко, как брата, поцеловала.

— Какой ты, Женья...

И заплакала.

— Ну, целоваться это дело такое, а плакать зачем? — пробасил дед.

Сказав это, он повернулся уходить, но тут же остановился.

— Счастливо, хлопцы! — уже не сказал, а крикнул он, так как навстречу им поплыл, затопал железный, конный, гремящий поток.

— Счастливо, дед! — кричали конники.— Гляди там только, грибами не объешься!

И снова смеются, уже на рысях,— непокорные, славные хлопцы!

СТЕЖКА-ДОРОЖКА

Т. Г. Дудникову

Снег только что начал идти — тихий и спорый, — когда Сноха появилась — белая стежка. Наметил ее следами сапог сам хозяин. Следы эти держались недолго — их засыпало густыми, трепетными хлопьями, что неустанно и ласково ложились на землю. Пройдя из хлева на гумно, хозяин возвращался оттуда с сеном для лошади, снова оставляя след на снегу. Потом прошел еще раз, чтобы принести и корове, и опять возвращался, а след его все никак не становился стежкой.

Под вечер, когда снег наконец уgomонился, хозяин снова дважды прошел из хлева на гумно и назад, и только тогда она, стежка, стала заметной.

Хозяин был молодой. Когда он шел с гумна, на него из окна хаты смотрели старая мать и маленькая дочка. Девчушка в нитяных лапотках стояла на скамье и, перевешиваясь через бабушкину руку, то и дело упиралась лобиком в запотевшее стекло. И все гулякала что-то весело и озабоченно. Старуха слушала, как под рукой у нее стучит маленькое сердце, и говорила:

— А вон, Любочка, наш батька идет! Во-он!..

Сноха сидела за прялкой, поодаль от окна. Но она и так все видела — и что в хате, и что за окном. Видела, слышала и тихонько улыбалась. И все, несмотря на сумерки, старалась прять, словно только во вкус вошла.

Если сын старухи, Иванихин Шурка, был молод, то сноха Женя — уж совсем молоденькая. Она пришла в этот дом два года назад, еще по-детски румяной девчонкой, и очень стеснялась свекрови...

Про Иваниху даже в Жениной неблизкой отсюда деревне говорили, что она женщина суровая. Рано, еще в

ту, «николаевскую», войну овдовев, сама и хозяйство велла, сама и детей растила, отказавшись — то ли дважды, то ли, кажется, трижды — от примака. И дочек обеих не хуже людей выдала, и сына женила, меньшого. А сама поди еще и теперь не уступила бы ни бабе за кроснами, ни мужику за плугом. Вот только здоровья не хватило на весь век, уже несколько лет прихрамывала Иваниха из-за расширения вен, и чем дальше, тем больше. Да уж теперь ей что — хочешь, топай маленько по хате, а нет, так на теплой печи вылеживайся. Да получай еще, как добрым людям положено, самый дорогой подарок на старость — внучку.

Женя на первых порах так робела перед и впрямь суровой на вид Иванихой, что принесет иной раз ведро воды, поставит, а сама опустит руки и спрашивает:

— А теперь что делать?

— Сядь, коли так, да посиди, что ж тебе делать? — говорила старуха.

И молодичка, бывало, и в самом деле послушно присядет на лавке и посидит. Недолго. Потому что опять какая-нибудь работа найдется. Сделает, и снова:

— А теперь что?

Но понемногу привыкла к чужой хате, где началось ее скрытое, стыдливое счастье, где пришла потом сладкая тревога трудного ожидания, страшная мучительная ночь и Любочка, без которой — ну просто непонятно, как она раньше и жила!.. Привыкла и к свекрови. Ведь она только с виду, пока ее хорошо не знаешь, кажется сердитой. Делали они по дому все обычно вдвоем, и свекровь учила сноху многому, чему не успела научить мать. Правда, покажет, а если не скоро переймешь, так и поворчит, не без того. Однако, когда она, Женя, затяжелела Любочкой, когда ей многое стало казаться трудным, старуха чаще и как-то по-другому говорила:

— Тихо, детки мои, помаленьку. А это — и вовсе уж не для тебя.

И она прикрикивала на Шурку:

— Эй ты, батька! Воды пойдн принеси. Два ведра.

А выйдет он, так она даже и такое:

— Ты теперь, — говорит, — гляди, остерегайся. А ему, здоровиле этакому, ничего не сделается. Он бы и две бадьи мог притащить! Мужику, детки, не очень-то по-

блажку давай, а то приучишь, так и будет за твоей спиной жить. Бабе и так хватает. За два века и то всего не переделаешь.

Так исподволь, незаметно и началась их дружба. Когда же родилась Любочка и свекровь стала учить молодую маму и как купать, и пеленать, и кормить, и лечить их нераздельное счастье, Женя не только уже по обычаю называла Иваниху самым дорогим именем — мама, но почти совсем так же, от души, как родную мать, что жила, кстати, за семь километров и, облепленная детворой, навещала свою старшую не слишком часто.

Еще, кажется, неприметнее, чем дружба со свекровью, пришло к Жене и другое — возмужание. Но уже не помаленьку, как дружба, а после переломного, великого события ее жизни. С рождением Любочки в душе молодницы словно произошел какой-то переворот: жизнь в доме мужа стала казаться ей только теперь вполне законенной, только теперь она почувствовала за собою право считаться хозяйкой, несмотря на неполных двадцать лет.

Любила она своего Шурку, конечно, не меньше, чем раньше, однако — уже несколько иначе. Нитка уже не просто тянулась за иголкой, она поняла, что и иголка никуда от нее теперь не денется. И уже иной раз можно было услышать, как нитка подергивает:

— Ну и что ты там с книгой расселся? Дров посуше поди принеси!

И чем дальше, тем все увереннее.

Шурка, правда, был не из тех мужчин, что легко поддаются. Он мог и послушаться лишней раз, и посмеяться, пока это у Жени выглядело забавно и она была права; но, когда она, осмелев, позволяла себе подчас перехватить, он ей напоминал о разнице в правах и обязанностях нитки и иголки. Им уже случалось и поссориться, даже не разговаривать по нескольку дней. Зато как же приятно было мириться! Словом, жили пока как добрые люди.

Став крепче на ноги, Женя несколько иначе стала глядеть и на свекровь. Молодица поняла, что она уже почти совсем не боится Иванихи, а только уважает ее и даже, пожалуй, любит. А все же хотелось бы, с каждым днем больше, самой быть хозяйкой у печи, в хате, да и во всем хозяйстве.

Но Иваниха, хоть и в годах уже, и хвораая, сама еще держала вожжи — туго и крепкой рукой.

И Женя чувствовала это довольно часто, только в далекой мечте видя себя полной хозяйкой, но даже в мыслях, конечно, не тая зла против бабки своей Любочки, Шуркиной мамы и доброй, хотя и суровой на сторонний взгляд, женщины.

Вот и шло бы — боже мой! — так-то все хорошо у них в доме, если бы не эта проклятая война...

Правда, они ее еще не видели так, как другие. Шурку взять в Красную Армию не успели. Как только объявили, что война, мужчины и хлопцы из их Кленич отправились в военкомат, а оттуда — на станцию. Но станцию уже разбомбили, и немцы вот-вот здесь будут, и порядка никакого, все и вернулись домой. Немцы шли несколько дней, но Кленичи, хотя и близко от большака, уцелели. И сами покуда живы.

А сколько таких, что пошли перед войной в армию, вскорости после того, как установилась и здесь Советская власть! Некоторые из панского войска назад не вернулись. Люди плачут, не зная ничего о своих: живы или уже нет, кто давно, может, убит, а кто только что?..

В местечке, где был сельсовет, и в районном городке — страх какой! — еще осенью постреляли всех евреев... А в Гончарах, и в Горках, и в Капустниках забрали тех, которые были при панах подпольщиками, а потом активистами. И мужчин да парней забрали, и девчат, и женщин от малых детей. Похватали врасплох и, говорят, даже не расстреливали, а головы им шашками рубили. Учились полицаи, как это делать...

Много уже их развелось, собак!.. Поначалу нечисть всякая сама к немцам пошла, потом эти уж начали и других брать — силой.

И подумать даже страшно, что и к Шурке могут прицепиться...

Вчера только выпал снег, а уже всех мужчин из Кленич погнали в лес, по дрова для полицейской комендатуры. Налетели, чтоб им добра не видать, целой сворой. Староста еще с вечера дал приказ, и Шурка уже запрягал у хлева, когда двое их вошло в открытые ворота. Один какой-то чужой, незнакомый. Должно быть, из бойцов которые пооставались тут при отступлении, потому что говорит по-русски чисто. А другой — из Капуст-

ников, Хорьки их прозывают. Пустельга и воришка. Сам первый в полицию побежал, да такой стал злодюга, что и знакомые уже боятся повстречать его, и все вокруг проклинают. Когда они вошли во двор, Шурка, уже успел запрячь и ехал к воротам.

— Тпру! — встретил его Хорек. — Готов?

— Готов, — говорит Шурик.

А тот смотрит и не знает, к чему прицепиться. Нашел.

— Какой кнут у него, погляди, — говорит он второму. И — Шурке: — А ну, покажи!

Тот дал, известно, а этот — чтоб ему до вечера смертоньку принять! — чах, чах кнутом Шурку, а потом лошаадь. И с саней не дал слезть, в хату зайти... С кнутом в руке — так и пошел по другим дворам, гогоча с этим своим помощником, а может, черт их знает, и начальником.

Плакали они, Женя и мама, и долго говорили за прялками... Одна утеха — Любочка, щебечет им свое «ня-ня-ня!» да улыбается из своей стойки¹ на скамье. Что ты хочешь — малое, ничего не понимает. А потом бабуля накормила ее кашей и уложила в люльку. Да и сама прилегла на печи, а то ей с утра еще неможется. Она там сразу затихла, а эта бессонница еще долго гудела из-под косынки. Заснула наконец, и мама перестала качать.

Прядет и думает — невеселую думу...

А день за окном сегодня такой тихий да чистый! Снег, что выпал вчера, лежит на ветках яблони, на штакетилах палисадника, на крыше хлева, на всем, на всем — сколько глаз окинет. А солнце уже к полудню поднялось, прикрыто легкими тучками, как Любино личико косынкой.

Она подумала это и улыбнулась. Потом встала из-за прялки и склонилась над колыбелью. Спит их хозяйш-ка!.. Все ей служат, словно пани какой, весь дом. Не выдержала Женя — осторожненько стянула косынку и залюбовалась. Не поделить им с Шуркой, что тут чье: чьи глаза, чей нос... Бровки какие хорошие, точь-в-точь у отца!.. А губками как чмокает, худышка, и во сне... Женя вновь почувствовала свое большое счастье в теп-

¹ С т о й к а — приспособление, напоминающее перевернутую табуретку, в котором ребенка учат стоять.

лой тесноте еще девичьего лифчика. «Скоро проснется, попросит», — подумала она. А солнце, как назло, вышло из облачной пелены и заглянуло в хату сквозь еще не замерзшие стекла. Женя даже испугалась, что малышка, чего доброго, чихнет и проснется. Накрыла ее косынкой и колыхнула люльку. Постояла немного, а потом повернулась к окну.

И уже не села больше за прялку. Полдень. Солнце напомнило. Надо пойти задать корове.

Тихонько оделась и, не скрипнув дверью, вышла из хаты.

На снежной целине стежка была уже хорошо заметна. Батька не только притоптал ее за вечер да за утро, но и сеном немножко припорошил, и штуки три соломинок лежат. Одна вон с колосом. Верно, и зернышки в нем есть, вишь, как воробьи ссорятся — кто из них первым колос этот нашел.

Женя улыбнулась. Вспомнилось ей, что чаще всего приходит на ум, что всего милее — дочурка.

Бабушка поет малой бог знает сколько песен. Не раз подумаешь: откуда только они у нее, такой суровой на вид, берутся? Женя и сама, кажется, помнит их много. И те, что сама знала, поет, и бабушкины, а все же как будто — не хватает их... Не то что не хватает, а почему-то хочется петь еще и свои. И даже нельзя сказать — хочется, а прямо-таки надо. И дитенку — чтоб спала или играла тихо, да и сама ты ласковое слово в душе не удержишь. Вот и сейчас оно уже просится, — про воробышков на снегу, про золотой колосок да про солнце... Сами сплетаются слова и, как уток в основу, ложатся на голос какой-нибудь милой песни — то знакомой, а то и нет. Когда поешь — не разберешь, тогда оно все любо кажется.

С такими думами, с такой светлой радостью на душе шла она, румяная да складная, по белой неглубокой стежке.

Подошла к гумну, вынула затычку из скобы и отворила скрипучую половину осевших ворот.

Сперва по глазам ее ударило тьмой, потом Женя, еще не ступив на ток, немножко пригляделась, посмотрела в угол и, если б хватило сил, ахнула бы от страха.

Не крикнула и не рванулась назад, и потом, когда немного пришла в себя и пораздумала, обрадовалась,

что вышло именно так. Тихо и незаметно, чтоб не возбудить подозрений, если кто и видел, она снова затворила скрипучие — ну их! — гуменные ворота, дрожащими руками заткнула колышком скобу и пошла, изо всех сил стараясь не спешить.

Как же перевернулось все в душе ее за несколько этих минут! Сколько она вспомнила и сколько поняла, увидев его!

Это был он, тот самый боец.

...По-разному, кто как, шли они летом на восток. Немцы уже черной тучей прогрохотали по большаку, — и мотоциклы, и танки, и автомашины с солдатней, — а наши все еще отступали. И на машинах кое-кто, полевыми дорогами, а то все больше пешие — по полям. Одни уже с пустыми руками, даже босиком, переодетые в какие-нибудь лохмотья, а другие — хотя тоже иной едва на ногах держится, — с винтовкой в руках, зубы, кажется, стиснув от злости.

Не забыть Жене никогда ту полуторку с фикусом...

То ли сам тот начальник знал, как удирать, то ли шофер у него был хитрый, — но перли они не по большаку, а кленицкими задами. Не только он и дети в кузове, но и шкаф зеркальный, и узлы, и фикус... Вот так, случается, одуреет человек на пожаре: горит все, а он тащит из дому подальше от огня какие-нибудь, скажем, ходики, что уже и не тикают три или четыре года... Жена его в кабине, а сам он — страшный человек — сидел под своим фикусом.

А за Тодориным гумном лежал на траве боец. Выбился, видно, из сил и раненый, рука на перевязи. Да молоденький еще, глаза запали, черный, темный от пыли и усталости, а винтовка в руках. Увидел машину — насторожился, однако узнал своих. Откуда только силы взялись — встал, поднял руку с винтовкой: «Стой!» А те словно и не слышат. Тогда боец винтовку через голову за спину и, когда машина поравнялась с ним, уцепился рукою за борт.

И думать не думала Женя, что свой, что советский так может сделать... Начальник под фикусом ударил чем-то по руке на борту, боец отпустил, споткнулся и упал! А машина покатила дальше.

Женя была тогда с Любочкой на руках, за коровой на загуменье присматривала. Уж и не гадала, что

парня того увидит когда-нибудь. Потому что он встал, постоял и поплелся. Ведь сколько людей в те дни перед глазами прошло!..

Под вечер тогда вдруг поутихло — ни машин не стало слышно, ни самолетов, ни пушек. Мужчины вышли на улицу, и — Шурка потом рассказывал — Змітер Нёсын опять стал перед всеми, по своему обычаю, шуточки отпускать. Отошел! А то все боялся колхозов, за поле свое широкое дрожал.

— Ну что,— говорит,— ушли большевички, откуда пришли. Только,— говорит,— слава богу, побыстрее! Хэ-хэ-хэ!..

Молчат мужчины. Человек их пять там, Шурка говорил, было. И какой-то боец еще, в Несыновых обносках, будто он и не солдат. Заключенным, говорит, был в лагере, за какую-то там свою правду страдал. Новый пан, Змітер, глумится, а новый батрак поддакивает — черт его знает, то ли так, то ли и на самом деле...

А тут, Шурка говорит, идет от околицы боец, с рукой на перевязи. Оттуда, куда убегали. И без винтовки. Подошел, поздоровался:

— Добрый вечер, товарищи. Можно присесть?

Кто сидел, подвинулись, и он сел рядом.

Молчат все. А потом тот, переодетый, будто его кто за язык тянул, спрашивает:

— Ну что, отвоевался?

Боец, видать, по речи смекнул, что тот — нездешний. Однако смолчал.

Змітер Несын — он стоял напротив — посмотрел на руку бойца, на него самого, потом на сапоги и засмеялся, умный больно:

— Хэ-хэ-хэ!.. Интересно, брат, кто из вас раньше каши попросит, ты или они?..

Молчат все: и боец, и мужики. И никому, известно, это не смешно.

А потом тот, переодетый, заговорил:

— Вот так и драпаем, кто где — «на земле, в небесах и на море»... Скорей бы уж кончалось все, и домой...

Боец посмотрел на него — долго так — и спрашивает:

— Ты кто?

— Я не из твоих, не беспокойся,— отвечает тот.— Я, друг, из тех, кто до сих пор молчал.

— Да как же ты,— говорит боец,— мог подумать,

сука, что кто-нибудь верх над нами возьмет, над советскими? Уж не твой ли Гитлер?

Тут и Змитер вмешался со своими смешками.

— Тебя бы теперь,— говорит,— товаришок агитатор, только на Гитлера и выпустить. Ты б ему показал!..

Опять никто не смеется. Даже и тот, переодетый.

Боец поднялся.

И только он хотел что-то сказать или просто уйти отсюда, Шурка спросил:

— Вы, может, есть хотите, товарищ? Так идем к нам.

Тот поглядел на Шурку, и они пошли.

И он сидел у них за столом, этот хлопец, жадно хлебал щи, каждый раз кладя ложку на стол, чтобы взять той же рукой ломоть. Ел и рассказывал, что сам он изда- лека, с Дона, что где-то там, в его станице, и дом у него, и родные есть. Говорил — как свой со своими. И одно только слово, кажется, было ему вымолвить трудно. Уже когда он благодарил старуху и произнес его, это слово, только как-то по-своему — «мамания»,— будто споткнул- ся на нем.

Зашел человек, покормили, ушел...

Не первый был он тогда, ох, не первый в их хате!..

Не только они, Иванихины, но многие, может быть, да- же, если не считать Несына, все в Кленичах дважды, а то и трижды за ту страшную неделю пекли хлеб, и утром и днем варили чугунами картошку, доставали из кадки припасенную на косовицу и жнива скоромину. Не счита- лись люди ни с чем для своих: и кормили, и на дорогу давали.

Не диво, что и этого накормила старая Иваниха, что и еще один чей-то сын — не из Москвы, не с Урала, так с Дона,— назвал ее святым для всех и везде именем. Не диво, что и пошептались они тогда, боец и Шурка, о чем- то, выйдя из хаты... Спросила потом у своего ночная ку- кушечка: «О чем вы там говорили?..» А он, будто чужой, обрезал: «Спи лучше, а то скоро состаришься...» Что ж, и обиду забыла бы, чему удивляться. И помнила бы, может, только про ту полуторку с фикусом, про руку, что сорвалась с борта, когда по ней ударили, про тоще- го, смуглого хлопца, которому тяжело было держать в той единственной руке ложку со щами.

Но не остался он только воспоминанием, он — здесь!..

Когда она заметила его, он спал у левой стенки

гумна на соломе, у оконца, что вырубают низко над землей для вала молотилки. Спал он в Шуркином длинном кожухе, на левом боку и лицом к оконцу. Голова его была забинтована, как видно, полотенцем, и смуглое лицо выглядело под белой повязкой как будто в косынке, когда ее, в жару, завяжешь низко до бровей. Руками — уже обеими и тоже в Шуркиных, ею связанных, рукавицах — боец обнимал винтовку. Только валенки были на нем чужие. И книга, которую он, пока не уснул, читал, — кажется, тоже...

Не проснулся он ни от скрипа дверей, ни от света, что хлынул сюда с заснеженного, солнечного двора.

А она не крикнула — ни от страха поначалу, ни от удивления и догадки — потом.

Женя не только узнала бойца, — она сразу поняла, кто он теперь. Более того, — для молодницы стало ясно многое, в чем она последние дни никак не могла разобраться. Она поняла, почему и о чем все перешептывались тайком от нее Шурка со свекровью; почему старуха стала с недавних пор готовить в больших горшках, и они — все та же семья — съедали все; почему Шурка стал ходить на гумно не с резгинами¹, а с дерюгой...

Женя шла по стежке с пустыми руками, оставив резгины на гумне — ей показалось, так будет лучше, если кто вдруг увидит. Шла, и в душе у нее ворочался целый огромный мир, в котором ничто и никак не могло остановиться, успокоиться... Тут было и то, что она неожиданно увидела, и что вспомнила, и что почуяла — и страх, и горе, и обида!..

При мысли, что они прячут партизана, перед ней встал оскаленный в хохоте рот Хорька и в руках нелюдя вместо кнута была — вся в крови — шашка... Все... Все!.. И Любочка!.. Боже мой, да тут разорваться мало от горя и ужаса!..

А потом пришла другая мысль, — нет, не только они помогают тем, что пошли против нелюдей! Вот и валенки кто-то дал... Да и не один же он такой, что уже немцев останавливают на дорогах и полицаев держат в страхе. И все ведь они меж людей хоронятся, и наши с ними ходят...

¹ Р е з г и н ы — плетенное из веревочек приспособление, в котором носят сено и солому.

Пускай, скажем, Шурка прячет его, он мужчина, а то ведь и свекровь... И она, видно, о чем-то думает, если не боится...

Опять стоял перед глазами Хорек — уже без шашки, с кнутом... Неужто все это надо молча терпеть?.. «А мой? — вспомнила о Шурке. — Нет, он смолчал — теперь ясно — чтоб вывести их, полицаев, со двора... А он им еще не простит!..»

Вот загудела, окуталась пылью та полуторка... Хихикнул, пока всем довольный, Несын...

«Неужто и нам быть с такими заодно?.. Неужто и тебе не страшно было бы, мамочка, как и ей, моей свекрови?.. Неужели одной тебе, Женька, так страшно?.. Ой, нет!..»

Она шла, — обыкновенная наша деревенская молодница, по стежке, какую вы увидели бы в тот день на каждом дворе, — из хлева на гумно, — шла, и никто не догадался бы, что творится в еще одной душе, на которую жизнь обрушила безжалостный удар.

Суровая, горькая, страшная, как никогда еще, и вместе с тем неизведанная, до боли радостная, гордая зрелость входила в душу молодой матери. И в то же время, она была еще вся в смятении. Женя боялась, до ужаса боялась даже мысли о том, к чему все это может их привести. Но она уже знала, что все равно будет вместе с мужем и свекровью, вместе со всеми добрыми людьми. И уже ей обидно было, что и он, ее Шурка, и мать — оба таились от нее, как от маленькой или, еще хуже, как от чужой... Самим бы им испытать, как это обидно!.. Но нет, и она им не скажет, что уже все знает! Не скажет и даже виду не подаст. Пускай себе шепчутся, пускай себе думают, что она... Он, особенно — он, тот, кто «любит ее больше всего на свете», кто «только с нею хочет дружить всю жизнь»!..

И тут вся ее обида и злость — то ли по-женски, то ли по-детски еще — запросилась на глаза слезою... Она не плакала, нет. Но стоило, кажется, кому-нибудь из них, мужу или свекрови, встретить ее, прикоснуться к ней не то что словом, а даже взглядом — и сердце Жени не выдержало бы...

Никто, однако, не встретил ее ни на стежке, ни во дворе. И она вернулась в хату с одной только мыслью: пускай же свекровь, коли так, не знает, что я ходила

на гумно, что я хотела задать корм корове... И с ним, с Шуркой, тоже посмотрим...

Старуха и Любочка еще спали.

Женя разделась и, не садясь пока за прялку, прислонилась к голландке.

«Вот смеются над Лустачем,— подумала она,— что пьяница, а печку ведь он сложил хорошую. Полкорзинки торфа и, гляди, со вчерашнего еще теплая. Хорошо так постоять, ладонями и спиной впитывая тепло — и телом, как говорится, и душою. Хоть замурлычь, как кошка на лежанке...»

Молодица, верно, улыбнулась бы, если б не то, что сейчас только, за порогом, ей так хотелось плакать. Она и губу прикусывала, пока раздевалась на кухне, и, уже стоя у печки, крепко зажмурила глаза, чтоб успокоиться.

Еще более тихим и милым, привычным — почти по-прежнему, как в ту зиму до войны,— показалось ей все на какой-то миг, но тут на печи заворочалась старуха, осторожно кашлянула и села.

— Ах ты, моя доленька! — сказала она. — Устроила себе праздник!.. А корова — час-то уж какой, не кормлена... Женька!

— Ну?

— Корове не задавала?

— Нет.

Больше, видать, молодежи не выговорить бы. Но от чужого слова, коснувшегося ее души,— уже не заплакала. Просто пошла и села за прялку.

— И хорошо, детки, что не задавала... Вот пойду-ка я сама. А то, гляди, малая проснется да сиськи запросит...

«Говори, говори, хитренькая,— думала сноха.— Можете считать, и ты, и он...»

Она опять прикусила губу, не позволила себе даже думать. Нет, она не заплачет, назло!..

Пока старуха топталась в кухне, уже с напрасными, даже смешными для Жени, предосторожностями доставая из печи горшок, отливая щи в горшочек, закутывая его, ломоть хлеба и ложку в дерюгу,— больше от чужого глаза, чем для того, чтобы не остыло,— покуда она надевала кожушок, проснулась Любочка. А пока старуха прошла по двору да по стежке, пока она возилась на гумне, прикрыв за собой дверь (тоже будто ненароком!),

малышка успела и натешиться у маминой груди, и попроситься на скамью — смотреть в окно.

И вот стежкой, проложенной по первому снегу, идет она, суровая и уже немощная Иваниха, идет, прихрамывает, несет в дерюге сено и старается, чтоб никто и подумать даже не мог, что ей тяжело...

И неужто тебе, глупая ты Женька, невдомек, что только от жалости к тебе она вот этак горбится, носит ее, свою материнскую тайну?..

Свекровь идет, а сноха с малышкой смотрят в окно. Девочка в нитяных лапотках стоит на скамье и, перевешиваясь через мамину руку, то и дело упирается лобиком в прохладное стекло.

А мама слушает, как под рукой у нее тихо стучит маленькое сердце, и маме хочется сказать: «А вон, ты видишь, наша баба идет?» И песня, простенькая, теплая песня «из своей головы», просится на язык. Там было бы про белую стежку, про солнце и золотой колосок, из-за которого поссорились два воробья, про маленькую голубоглазую Любочку, которую все любят: и мама, и батя, и наша бабуля...

Но слов не будет, никаких, потому что Женя боится, что стоит ей заговорить, и она не выдержит.

Шла жатва, и она с каждым днем уставала все больше. Жаркую духоту трудно было отогнать от немогущей груди даже самой большой, самой колосистой горстью ржи. А работать надо, хотя туман застилает глаза... И она жала, никому ничего не говоря.

Вечером, возвращаясь домой со своим младшим — в то страшное лето единственным в хате — сыном-подростком, старуха едва передвигала ноги, разбитые годами беспросветного труда... Поблекшие глаза ее, казалось, глядели на мир из-под низко надвинутого платка совсем безразлично...

Однако они многое замечали.

Вот, неожиданно остановившись, она оглянулась на сына, который тоже с серпом на плече молча и почтительно шел сзади, сдерживая шаг, по-пастушьи «поклевывая» сладкий ржаной колосок.

— Гляди, Василь, как упирается... Эх! Держись, горемыка, стой!..

Сын перестал на миг «клевать», посмотрел в ту сторону, куда она показывала. За большой узорной дерюгой чересполосицы, где-то далеко-далеко за холмом потухала заря, а совсем рядом с межой, по которой они шли, стояла понурая копенка жита. Утром по нивам с горы в долину низом прошелся ветер и надвинул копенкам шапки на самые глаза. Мало того, иную, что послабей поставлена, так и всю наклонил или даже перевернул совсем. Та, на которую показала мать, склонилась всеми снопами вдогонку утреннему ветру, улетевшему уже на другой конец света, но не хотела упасть. И старая жнея улыбнулась, глядя на нее с тем же неиссякаемым

жизнелюбием, как в годы, когда она была еще батрачкой в панском имении и не знала устали, надрываясь для чужого счастья.

Когда межа уперлась в большак, мать с сыном повернули влево и пошли тропкой, протоптанной в траве обочины, все также — она впереди, он сзади. Справа высоко поднималась насыпь дороги, слева время от времени гудели телеграфные столбы. Прогудит, потом идешь, и вот опять стоит и гудит, словно живой, — так печально, даже зловеще, бормочет.

На одном столбе, уже недалеко от поворота на их хутор, старуха заметила белое пятно бумажки на уровне глаз. Прошла мимо: некогда на все обращать внимание... Потом остановилась. Сказать сыну, чтоб поглядел, не успела: он уже сам читал, бросив «клевать» колосок. Прочитав, содрал бумажку, изорвал на клочки и швырнул их, словно пригоршню мякины, кому-то невидимому в глаза.

— Что там такое?

— Чтоб не давали есть бойцам. Чтобы доносили на них полицаям... Обещают водки и табаку.

— Пусть бы себе висело, сынок. Неужто их кто-нибудь послушает?

— Будут расстреливать тех, кто не послушает. Всю семью... И хату спалят...

— На все божья воля...

Они пошли дальше — опять друг за другом, молча.

Дома, в сенях старой хаты, еще при панской власти выдворенной из деревни на хутор, мать заткнула свой серп в щель над косяком. Сын сделал то же самое. Она обеими руками поправила платок, сверху вниз крепко провела по лицу, как бы снимая с глаз усталость, и уже хотела сказать, что вот подоит только корову и будут вечерять...

— Я пойду в деревню, — опередил ее Василь.

— Опять! — скорее испуганно, чем сердито, крикнула она. А потом решила взять лаской: — Не ходил бы ты лучше... Завтра ведь рано вставать...

— Ну что ж, и встану.

— Так хоть поужинал бы.

— Я скоро вернусь.

— Знаю я это «скоро»... Ой, доходишься ты! Доведег тебя этот Озареночек! Попомни мое слово!..

— Ничего, мать. Уже испугалась?..

— Вот тогда посмеешься! Нашел чем шутить!.. По-твоему, я слепая, не вижу, или глупая, ничего не понимаю?..

Он подумал, что больше говорить не стоит... Нет, он просто бросил:

— Еще чего, будете учить!..

И ушел.

Опять дай боже терпенья на целехонькую ночь!..

Вскоре старая хата среди серого, уже по-ночному однотонного поля устало потушила огоньки окон.

Мать не спит.

Возле этого хутора фронт, трагическое начало войны, прошел как внезапно налетевший вихрь — и верхом и низом. Ревели самолеты, рвались бомбы, грохотали танки, бежали по хлебам солдаты... Пронзил этот вихрь и душу: он неожиданно вымел из хаты обоих старших сыновей. Степан только в позапрошлом году, когда пришли товарищи, вернулся из панского острога, дождавшись наконец того, за что принимал муку. Владик, самый старший, хозяин, мобилизованный панами летом тридцать девятого года, нынче, к заморозкам, принес осьмину вшей из немецкого лагеря. И вот ушли ее хлопцы опять, теперь уже на восток. И не возвращаются, как иные... Не успели и ожениться — так быстро пролетело оно, время их долгожданной воли. Владик только лесу навозил, чтобы новую хату рубить. Степан сидел в сельсовете председателем. А Василь — этот учился две зимы в Новогрудке...

Да, тех нету. Бог святой ведает, что будет дальше... А этот, последний, не хочет сидеть дома, ищет беды. Дождалась — даже не скажет, куда и зачем.

...Они пришли еще затемно. Старуха не спала от боли в ногах, и осторожный стук в окно не разбудил ее, а просто напугал... Пока она подняла с подушки голову, пока в этой седой простоволосой голове сто раз перевернулась мысль: «Кто это?» — и даже радость: «А может быть?..» — пока она успела встать, слышался до шепота приглушенный голос:

— Хозяин!.. Хозяин, открой!

Как ведется испокон веку, она сначала прижалась

лбом к стеклу, поглядела... Потом вышла в сени, дрожащими руками вытащила задвижку и отворила дверь. Теперь стало совершенно ясно то, о чем она сразу догадалась: это они, бойцы...

Один из них,— а сколько было всех, не успела сразу заметить в матово-прозрачных предрассветных сумерках,— один подошел к ней и все еще шепотом не то сказал, не то спросил по-русски:

— Мать?.. Ты нам хлебушка дай, родная... Из лагеря бежали... Ты не бойся, мы сразу же уйдем...

Серый и гладкий телеграфный столб со зловещим гудением проплыл перед ее глазами... И на нем та самая бумажка, что разорвал ее хлопец... Мелькнула мысль, тревогой сжав сердце: а он еще не вернулся!.. Белое пятно бумажки метнулось вместе со столбом вдаль и исчезло. Осталось только страшное небритое лицо человека с большими глазами... Остались только они — теперь уже хорошо видно — четверо.

— Заходите, хлопчики! Я вам хоть молочка... Хоть жажду прогнать... А лампу зажигать не будем...

Последние слова она произнесла, уже перешагнув порог.

И на большаке, и в местечке, на всем — так хорошо знакомом и каком же коротком теперь — пути от родной хаты до свежей ямы в лопухах добрые люди видели ее мученический поход. И всем было понятно, куда и за что.

Четверо босых, в солдатских лохмотьях мужчин, с руками, скрученными назад колючей проволокой, по двое шли следом за нею. Ей фашисты сделали снисхождение: не связали рук. В конце концов они ее не боялись, как этих даже безоружных, обессиленных беглецов. Один из солдат, еще совсем мальчишка, недавно стриженный под машинку, изо всех сил старался не упасть и, глядя на товарищей, как и они, поднимал голову выше.

Свои худые, так мало в жизни целованные руки она сложила мозолями к мозолям. Шептала собственные, совсем новые слова молитвы. И в утреннем свете родного солнца, ясным было ее лицо, хотя по морщинам невольно катились слезы. Она и здесь не думала о себе.

Где он, ее Василек, почему не вернулся?.. «Как хорошо, боже милостивый, что он не пришел, не прибежал даже на пожар родной хаты!.. Видно, далеко уже где-то сынок, видно, откопали-таки они с Озаренком свои пулеметы... Где они, Владик и Степан?.. Сохрани их, боже, всех троих от пуль, дай им всем увидеть материнскую могилу!..» И тут ее сердце возвращалось к этим, к чужим сыновьям, с которыми ее так прочно сроднила доля... Она слышала их шаги — шарканье босых ног по гравии, слышала тяжелое дыхание... Она отдала им все, что могла... А тут даже не оглянешься... И она делала одно — чему еще мама учила — молилась: и за своих сынов, и за чужих, и за себя...

Жарко дышали клыкастые глупые пасти овчарок. Черной сталью поблескивали в голых до локтя, загорелых руках автоматы. Время от времени на обочине гудели телеграфные столбы.

Мать не ведала, кто она. Она не догадывалась, что не только с ужасом глядят на ее путь встречные, что образ ее останется в сердце многих мужчин горьким, неумолимым укором, что глаза и руки ее вспоминать будут даже сильные люди, прогоняя из души последний страх перед ночной партизанской атакой...

Поздней осенью сорок третьего года на одном из самых спокойных перегонов Белорусской железной дороги подорвался немецкий воинский эшелон.

Через день, сырым, холодным утром, ближайшую к месту катастрофы деревню окружили каратели. Жандармы в касках и пестрых плащ-палатках и местные предатели-полицаи в черных, промокших шинелях приехали из райцентра чуть свет на пяти машинах. Деревня была большая, но расправиться с ней удалось быстро и основательно. Как выяснилось значительно позднее, в живых осталось только двое: мальчуган, уползший в кусты на загуменье, да дед, который как раз заночевал у родича на дальнем хуторе.

Всех жителей согнали в тот конец деревни, где стоял старый огромный сенной сарай — все, что уцелело от колхозной фермы.

Зондерфюрер, начальник карательной экспедиции, рассудил, что заставить «бандитов» копать себе яму — долгая история. Значительно проще сжечь их в этом сарае. Пока его подначальные загоняли жителей в трое широких ворот деревянного строения, он стоял в стороне, на пригорочке, и недовольно морщился от резавших слух крика и плача...

Рядом с ним сдерживала мелкую дрожь, вызванную промозглым утром, молодая, без кровинки в лице переводчица.

— Мы быстро закончим это швайнерай¹, и тогда, фройляйн Вэра, поедем домой. Опять будет тепло... О да!

¹ Свинство.

Существо в кожанке и белом вязаном платке изобразило на лице кривое подобие служебно-интимной улыбки.

Так бы все и шло, как обычно, но тут, бросив взгляд на толпу жертв, приближавшихся к черной пещере крайних ворот, зондерфюрер заметил знакомого.

— Откуда я его знаю?.. О! Меншенскинд!¹ Да это же тот самый печник! Скажите, фройляйн Вэра, чтоб его подогнали сюда.

Печника подогнали.

— Бист ду дох аух хир, майн либер керль?² — засмеялся начальник.

Дядька ничего не понял. Да и не слышал, видно. Бледный, без шапки на лысой голове, обросший седеющей щетиной, в каком-то сером тряпье, он уставился в немца застывшим взглядом и молчал. Только бескров-ные губы передергивались, словно пытались и не могли заговорить.

Летом этот старик складывал у зондерфюрера печи. Каждое утро, пять дней подряд, дежурный жандарм обыскивал его и неизменно весело обнаруживал в карманах все то же кресало, самосад и ломоть черного хлеба. А печи получились замечательные. Повар хвалил плиту, а хозяин — белую кафельную голландку.

Он и сейчас чуть не заахал, вспомнив ее гладкое, ласковое тепло.

— Скажите ему, фройляйн Вэра, что он не будет сожжен. Спросите, он хочет жить?

— Спадар³ зондерфюрер говорит, что вы, дядька, будете жить. И он спрашивает, хотите ли вы этого?

Печник только пошевелил бескровными губами.

— И скажите ему... Спросите, кто у него там есть.

— Спадар зондерфюрер спрашивает: кто у вас там есть? Там, в сарае?

С уст старика с трудом сорвались слова:

— Там... моя... баба...

— Он говорит, что там его жена.

— Скажите ему, что жена его тоже не сгорит. Он может ее забрать.

¹ Дитя человеческое.

² И ты здесь, старичина?

³ С п а д а р — искаженное господарь, сударь, употреблявшееся в Белоруссии во время немецкой оккупации.

— Спадар зондерфюрер говорит, что фрау... что жену свою вы можете забрать оттуда.

Бескровные губы в седеющей щетине снова шевельнулись:

— Там и дочка... с малыми дет...ками...

— Он говорит, что у него там еще дочка с детьми.

— О! Меншескинд! Может быть, и еще кто-нибудь?

— Спадар зондерфюрер начинает выражать недовольствие. Он спрашивает: кто там у вас еще?

— Скажи ему... у меня там соседи, а ты скажи, что родичи...

— Он говорит, что у него там много родственников. И соседи.

— Соседи! Эс ист абер вас цу ляхен!..¹ Уж не желает ли он, чтобы я отдал ему всю эту банду? Спросите у него в последний раз: чего он хочет, сумасшедший?

— Спадар зондерфюрер начинает сердиться. Вы, дядька, не стройте дурака, если хотите остаться в живых. Сейчас сарай подожгут. Он говорит, что вы, видно, хотели бы забрать оттуда всю банду.

Под седеющей стрехой бровей ожили наконец глаза. Губы совсем перестали дрожать. Точно не своим, привычным движением — должно быть, первый раз в жизни — старик вскинул голову.

— А что ж он думает? И всех! Всех добрых людей!.. Может, он считает себя им ровней — этот твой господарь? Или, может, ты?.. Тьфу!..

Старик плюнул себе под ноги, повернулся и, куда тверже, уже не тем бессильным шагом, каким плелся сюда, пошел к сараю.

На миг возникло какое-то замешательство, затем зондерфюрер сорвал с правой руки кожаную перчатку, расстегнул кубуру, выхватил пистолет и прицелился...

Среди жутких воплей выстрел почти не был слышен. Но печник упал.

Он еще вздрагивал, когда его подняли и бросили через порог, под ноги сбившимся толпой односельчанам.

Потом ворота закрылись — навсегда.

И он сгорел — единственный, кто мог бы в тот день не сгореть.

И он живет.

1958

¹ Ой, умора!



1

Маленькая кудрявая девочка была самой младшей в бедной еврейской семье.

Про отца ее, сапожника Айзика Фунта, раньше в местечке говорили так: «Тоже живет человек: семеро детей, а на всех одну селедку покупает». Кроме детей, были еще жена и теща: теща совсем старая, а жена всегда больная. Верстак Айзика стоял у окна. И часто сапожник, бросив сучить дратву или загонять в подметку гвозди, задумчиво смотрел в окно и чуть слышно напевал всегда одну и ту же песню:

Фрилинг тог, майн голдэнэр...¹

Только и можно было услышать от него что первые четыре слова, но пел он всегда о весне, даже когда за туекрым оконцем стояла грустная осень...

И золотой, весенний день настал. Да только посветил он недолго: через полтора года в местечко пришли фашисты...

Каждое утро пьяные полицаи устраивали себе потеху: выгоняли евреев-мужчин на рыночную площадь, и там начиналась жестокая и бессмысленная муштра.

Вернувшись домой, Айзик валился на чурбачок перед верстаком, смотрел в окно, и руки его не в силах были взяться за работу... Хотелось запеть свою короткую, грустную песенку, но теперь она застревала в горле. Мысли бессильно толклись в измученной голове, а сле-

¹ Весенний день, мой золотой... (евр.)

зы, казалось, вот-вот упадут на грубый, корявый сапожный фартук.

— Я-то, может, пойду,— шептал Айзик своему соседу Миколу,— я-то, может, возьму винтовку, вместе с тобой, а они?..

Он кивал головой на хату, полную детей, а потом кричал на младшенькую, всегда вертевшуюся под ногами:

— Ася, ступай к бабушке! Ты чего здесь стоишь?

Девочка послушно шла за перегородку, а отец тихонько повторял:

— А что с ними будет, Микола? С ними?..

И страшный день пришел. Серым осенним утром местечко разбудили выстрелы и жуткий крик...



Асе трудно рассказать, как все это случилось. Словно сквозь сон, девочка помнит только, что все они бежали проулком по грязи мимо хат и плетней, а потом кто-то подхватил ее на руки и понес. Она дрыгала ногами и плакала: «Ма-а-мэ!» И только уже в хате девочка начала понимать, что с ней. Чужая бабушка держала ее на руках и, нахмутив брови, шептала:

— Глу-па-я, глу-пень-ка-я, тише!..

И Ася утихла. Она только всхлипывала и тяжело, глубоко вздыхала.

— Залезай туда и сиди покуда,— сказала бабушка, подсаживая девочку на печь.— Только гляди не плачь, чтоб не слышно было тебя. И не бойся, я сейчас приду.

Ася послушалась. Чтобы никто ее не увидел, она забралась в самый темный уголок на печи и с головой укрылась дерюгой, а чтоб никто не услышал, зажала руками рот. Когда она совсем перестала всхлипывать и, высунув голову, прислушалась — на шестке мурлыкал серый кот, а далеко-далеко, за хатами, слышны были выстрелы... Девочке снова стало страшно — она забыла о строгом наказе и громко заплакала.

— Ма-мэ! — звала она ту, кто был для нее лучше всех на свете. А потом, вспомнив того, кого она считала самым сильным, закричала: — Та-та-лэ! Та-тэ!

Никто не отзывался, никто не приходил. Устав от

слез, разомлев от тепла, девочка наконец затихла, уснула.

Проснувшись, она не сразу узнала, кто это сидит возле нее, кто на нее смотрит. Ее бабушка не такая — она седая, и голова у нее вечно трясется, как будто она со всеми согласна: «Гут, гут, гут!» А эта, которая смотрит на Асю, не седая.

— А где папа? — спросила девочка.

— На вот, выпей, погрейся, — протянула ей бабушка кружку.

Ася послушалась, села и обхватила обеими руками большую теплую кружку с молоком.

— А где мама? — спросила она, отпив немного.

— Пей, пей еще, — сказала бабушка, не отвечая.

Ася выпила еще немножко и заявила:

— Я хочу домой.

Бабушка посмотрела на нее, подумала немного и спросила:

— Ты чья? Видать, Айзикова?

— У-гу.

— А как же тебя звать?

— Ася.

— Маленькая еще совсем. Должно, третий годок.

— Не-ет, мне уже, мама говорила, пятый.

— Пятый. Заморыш ты. Горсточка костей...

И Ася вдруг вспомнила — ведь это же та бабушка, что носила воду на коромысле. И всегда, когда она шла по воду, вокруг нее бегали ребятишки и кричали: «Зось, Зось, не поймашь небось!» Она то сердито молчала, то ставила ведра, грозила ребятам коромыслом и приговаривала: «Эх, неохота только связываться!» Тогда она была страшная, а сейчас вот сидит, смотрит на Асю, и Асе нисколько не страшно.

— А я знаю, кто вы, — сказала девочка. — Вы Зось. Вы таскали воду на коромысле.

— Глупая ты, — отвечала бабушка. — Зось — это если бы я была мужчина, а я ведь не мужчина. Я Зося, а дураки говорят «Зось»... Да что тебе объяснять — ма-ла еще. Ложись и спи.

«Зось» ступила на лавку, с лавки — на пол и отошла к окну.

— Бабуля! — позвала с печи девочка.

— Ну?

— А я домой хочу. Хочу к маме.

— Твоя мама сказала, чтоб ты побыла у меня.

— А папа?

— И он сказал.

Девочка немного помолчала и снова спросила:

— Бабуля?..

— Ну?

— А мама сюда придет?

— Придет,— глухо ответила старуха. Она, сгорбившись, глядела в окно на сырое, холодное поле.

В хате тихо. Слышно только, как на печи мурлычет серый кот.

— И папа придет, бабуля?

— И он тоже придет,— ответила старуха. Еще тише.

Как-то зимой «Зось» разбудила девочку еще затемно. Чтобы Ася не удивилась, почему ее подняли так рано, старуха сказала, что они пойдут сегодня далеко-далеко.

— Туда, где мама и папа? — спросила девочка. — Где бабушка? Где все? Туда?

— А что ты думаешь — может, и туда...

Старуха не спала сегодня всю ночь — сидела и раздумывала, что делать.

До сих пор все как будто шло хорошо. Хатка ее стоит на окраине местечка, там, где кончается длинный Боботный переулок и начинаются глинища. Хатка маленькая, в одно оконце и с железной трубой, похожей на старое голенище. Никто сюда не заходил, никто и не жил поблизости, кроме соседа Якова Мороза. Никто до сих пор не знал, что Зося у себя в хате прячет еврейского ребенка. И она никому как будто не говорила. Правда, когда она уходила по воду или за кормом для козы, Ася оставалась дома одна, под замком. И тут, видно, кто-то подсмотрел.

Вчера, когда она заглянула к соседям, старый Яков сказал: «Остерегайся, Зося. Боюсь, кто-то пронюхал...» Дома старуха долго думала, а потом решила: «Не отдам, злодеи, не на такую напали!..»

Она дождалась, пока чуть начало сереть, и разбудила девочку. Будь что будет, а уходить надо.

Зося подоила козу, напоила Асю парным молоком и, закутав девочку потеплее, понесла прочь из местечка, подальше от извергов в черных шинелях...

«Собаки, собаки бешеные!» — думала она на ходу. Тяжело шагала по рыхлому, подтаявшему снегу, горбилась под ношей, ворочавшейся за спиной, и упорно шла, шла... Когда немели руки и девочка сползала вниз, Зося опускала малышку на снег, и Ася топала сама. Но идти было очень далеко, и так страшно становилось от мысли, что вот совсем рассветет и столкнешься, на беду, с какой-нибудь фашистской собакой... Старуха снова брала девочку на спину и только спрашивала:

— Не холодно тебе?

— Не-ет, — отвечала Ася из-под платка, закрывавшего ей личико по самые глаза.

— Не холодно, ну и сиди, — говорила старуха и все шла, шла...

2

Прошло больше года.

Пришла еще одна военная весна.

Весна, говорят, хороша везде: и в поле, и в лесу, и в городе. Но с этим никак не хотел согласиться партизанский мальчик Анатоль. И он был прав — краше всего весна в лесу.

Правда, солнце всходит здесь немножко попозднее, но это даже лучше: покуда оно поднимется над лесом и заглянет сквозь ветви в оконце лагерной землянки, можно поспать, а потом считай, что и ты встал очень рано. И вообще тут все не так, как было в деревне. Там утром на улице мычали коровы, а тут они пасутся где-то на поляне, и мама каждое утро ходит туда с ведром. Анатоль спит на постели из еловых веток, застланных дерюгой, а солнце уже давно глядит в окошко. Солнце хочет, чтоб мальчик встал, оно уже начинает припекать. «Чихнешь, чихнешь все-таки», — смеется солнце. И правда, Анатоль не выдержал, чихнул. Но спится ему сейчас так сладко, он только бормочет что-то и поворачивается на другой бок... Мама вернулась с поляны, где пасется Буренка, с почти полным ведром молока. Мама хочет, чтоб мальчик встал, пока молоко еще теплое. Она щеко-

чет высунувшуюся из-под дерюги пятку и, смеясь, говорит:

— Ну, ну, вояка, вставал бы, что ли...

Анатолий поджимает ногу, но мама щекочет его за ухом. И вот, совсем уже проснувшись, он садится и спрашивает:

— Папа приехал?

— Папа приедет завтра.

— А кто сегодня приехал?

«Сегодня» на языке Анатолия означает этой ночью. Почти каждую ночь кто-нибудь приезжает в лагерь партизанских семей, уходя от фашистских издевательств, от смерти. Очень интересно бывает, когда приезжает такая семья,— новые люди, новые дети, строится новая землянка. Еще интереснее, конечно, когда приезжает сам папа. Тогда можно прокатиться в седле, подержать в руках тяжелую папину винтовку... Да вот сегодня он не приехал.

— Сегодня приехали из Песков, одна семья. У Семеновых ночевали.

— А землянку они уже построили?

— Ну что ты,— смеется мама.— Как же они без тебя обойдутся? Вот поешь скорей и беги.

Анатолий спешит. Сегодня он послушно подставляет лицо, чтобы мама умыла его студеной ключевой водой, скорее, чем всегда, выпивает молоко, надевает пилотку, берет свой «автомат», и вот он уже выскочил наружу. Доброе утро, солнечный лес!

Сквозь ветви березы и ольхи на кусты орешника, на папоротник, на мягкий сыроватый мох ложатся светлые солнечные пятна. Листья на деревьях шевелятся, и тени на мху тоже шевелятся. Острые вершины темно-зеленых елей и светлые шапки высоченных сосен облиты ярким солнечным светом. Щебечут птицы, где-то далеко кукует кукушка, а поближе стучит топор. Анатолий знает: это валят деревья, будут строить новую землянку. Слышите — вон уже не топор стучит, а визжит пила. Погоди, погоди... Ага! Дерево крякнуло и, зашумев ветвями, поехало вниз и мягко, глухо ударилось о землю. Теперь опять слышно, как стучит топор: это обрубают у дерева сучья...

А где же эта землянка будет стоять?

И тут Анатолий заметил девочку.

Совсем незнакомая девочка стоит на дороге и, повернувшись к Анатолю спиной, смотрит вверх, на сосну. Анатолю должен познакомиться с гостьей, но просто так подойти он не хочет. Он прячется за березу, наставляет свой «автомат», прищуривает глаз и звонко, во весь голос, кричит:

— Трр! Трр! Тррр!..

Все получилось самым наилучшим образом — девочка даже подскочила.

Теперь можно и подойти. Анатолю берет «автомат» на «ремень» и подходит.

— Не бойся,— говорит он,— я стреляю только фашистов. Это я так — попугал тебя.

— Ой, мамочки! — улыбнулась девочка.— Стану я тебя пугаться, такого маленького! Я на птичку смотрю. Как она называется?

— Вот и не знаешь! Это же дятел! — говорит Анатолю.— Видишь, как он хвостом подпирается?

— А наши землянку делать будут,— сказала девочка, все еще глядя вверх.

— А мой папа минер, он фашистам все поезда взрывает. Ага!

— Моего папы нет,— вздохнула девочка.— И мамы нет, и бабушки, и никого...

— А кто ж это там рубит? — удивился Анатолю.

— Это дядя Степан. Я у них живу. Давно-давно. Бабушка Зося померла, так я живу у них. Меня зовут Ася, а тебя?

— Анатолю. Раньше мама называла меня Толик, а теперь я уже вырос.

Ася посмотрела на мальчика и засмеялась.

— Ой, мамочки! — сказала она (так всегда говорит тетка Марыля, ее опекуна).— Он вырос! Станет на плечо, так свинье по колено. Вырос!

— Ну и пускай не вырос, а у нас есть школа, ага!

— Какая школа?

— «Какая школа»! Зеленая!

— Зеленая? А кто ж ее покрасил?

— «Покрасил»! Ничего ты не знаешь. Вот идем, покажу.

— Идем!

Ася взяла Анатоля за руку, и они побежали.

«Зеленую школу» устроили недавно. Комиссар бригады, он же и секретарь подпольного райкома партии, приехав сюда, посмотрел, что в лагере собралось много детей, и сказал:

— Нам бы школу открыть, товарищи, а?

— Хорошо бы открыть, Николай Иванович,— согласились старики.— А то и правда, растут они у нас, ничего, кроме леса, не видя. Но как ее, эту школу, устроишь?.. Землянку разве такую ахнуть, человек на срок — пятьдесят?

— Землянку! — улыбнулся комиссар.— А зачем землянку? Что, дети солнца не любят, или у нас его мало? Зеленую школу устроим, партизанскую.

И вот партизаны привезли и парты, и столы, и настоящую школьную доску. А к тому времени старики из лагеря выбрали место под школу и сколотили большущий навес. Сквозь стены видно было и небо, и солнце, и лес, потому что и стен-то, собственно, не было, а стояли просто подпорки из березовых жердей.

Чтобы школу не заметили с самолетов, крыша была сделана из еловых лап, а подпорки девочки для красоты оплели зеленью и каждый день приносили свежие цветы. Занятия в «зеленой школе» проводились так: письменные — под навесом, устные — прямо на солнышке, где-нибудь на полянке.

Анатолий привел Асю под навес, где сейчас занимались младшие дети, такие, как Ася, и немножко постарше. Анатоля и Асю заметили сквозь зелень еще издали. Дети уже не писали, а только смотрели на них. «Тетя Тоня», молодая учительница, встретила гостей у входа под навес.

— Новенькая,— улыбнулась она.— Это ты сегодня ночью приехала? — Она погладила Асю по голове.— А волосы у тебя какие кудрявые! Ты ленточку сама завязываешь или мама?

Тетя Тоня будто и не замечала Анатоля, и мальчик не стерпел.

— У Аси мамы нет,— сказал он.— И папы нет. Она живет у того дяди, что сегодня землянку делает. Я знаю, потому что я первый ее привел.

— Ты у нас молодец,— улыбнулась тетя Тоня.—

Ты — автоматчик. Мы тебя сегодня посадим вместе с Асей. Ты у нас тоже будешь учеником. Ну, идем.

Учительница подвела малышей к свободной парте и посадила рядом:

— Автомат надо снять и поставить вот здесь. Он у тебя случайно не выстрелит?

Дети засмеялись.

Анатолий не торопясь снял с плеча свое оружие и поставил возле парты.

— Не выстрелит, не бойтесь, — сказал он. — Он стреляет тогда, когда я стреляю.

Дети опять рассмеялись.

— Так вот что, Асенька, — сказала тетя Тоня, когда смех утих, — ты будешь теперь учиться в нашей школе. Она у нас видишь какая хорошая!.. А сколько товарищей у тебя будет, погляди!

Все смотрели на Асю. Она покраснела и потупилась.

— Школу свою мы называли зеленой, — сказала учительница, — она не такая, как другие школы, потому что эта школа партизанская. А мы все партизаны. И ты теперь тоже партизанка.

— Гляди — сорока, — толкнул Асю Анатолий.

Ася подняла глаза. И правда, сорока присела на елке, у самого навеса, и сквозь жерди заглядывала в школу.

«Скрэ-ке-ке!» — удивилась она, увидев так много маленьких партизан.

— Ты сам как сорока, Анатолий, — строго сказала учительница. — Ведь ты в школе, ты сегодня ученик, так дай мне, пожалуйста, говорить... Так вот, Асенька, вокруг нас в лесу много партизан. Не таких, как Анатолий, а настоящих — наших отцов, братьев и сестер, с настоящими автоматами и винтовками. Они охраняют нас, они уничтожают фашистов, а мы здесь учимся.

— Самолет! — снова не выдержал Анатолий.

И правда, послышался гул самолета.

— Ничего, Асенька, — сказала тетя Тоня, — ты не бойся. Они каждый день летают. Но они не увидят нашей школы, потому что ее скрывают ветки. Мы только дождика боимся: тогда наша зеленая крыша протекает, и мы бежим домой.

Самолет приближался. Он шел не над школой, а значительно правее. Но Анатолий все же не выдержал.

— Фашист! Держи его, держи! — закричал он.

И дети рассмеялись, а вместе с ними и Ася.

— Вот видишь, Асенька, какой у тебя смелый и отважный защитник, твой Анатоль! — сказала тетя Тоня. — Дадим ему за это тетрадку, а?

Анатоль посмотрел на Асю. Эх, знала бы она только, как хотелось ему ходить в школу вместе с другими ребятами! И сколько раз уже он приходил сюда, да все не принимали, говорили: мал. А теперь выходит так, что стоит только Асе согласиться — и тетя Тоня даст ему тетрадку. А даст тетрадь, так даст, конечно, и карандаш, потому что как же без карандаша писать? А с карандашом и тетрадкой он тоже будет ученик! Эх, только бы девчонка согласилась!

Девочка посмотрела на «автоматчика», посмотрела на тетю Тоню, все поняла, улыбнулась и кивнула головой.

Анатолю трудно сдержаться. Ему хочется крикнуть «ура» и дать очередь из своего «автомата», но мальчик молчит. А что вы думаете — возьмут да и снова отправят домой... Коли ученик, так уж ученик == терпи!

4

Лесом ехал одинокий конник. Светило солнце, пели птицы, а коннику было грустно. Он глядел в зеленую чащу, куда, извиваясь, уходила лесная дорога, и на уста его просилась песня.

Фрилинг тог, майн голдэнэр...—

запел он чуть слышно, но песня звучала не в тон ни солнцу, ни весне.

Вот он опять один, без боевых друзей. А одному, да на досуге, когда вот так == отвез пакет в штаб соединения и целый день надо потратить на обратную дорогу, — не уйти от воспоминаний о том страшном дне, когда погибли все близкие, когда остался он один — за колючей проволокой, с желтой заплатой на спине...

Веселый гром, точно колеса прогремели, прокатился по небу. Конник поднял голову. Над вершинами елей, вздымавшихся за поляной темно-зеленой стеной, вставала серая, дождевая туча. Часто так бывает весной,

что ждут, ждут дождя, а туча, как бы играя в прятки, тихонько надвинется из-за горизонта и, только когда соберется брызнуть дождем, внезапно заявит о себе веселыми перекатами грома. Гром гремит, и первые капли одна за другой уже падают на листья, на траву, на людей.

Из-за зеленой стены елей дохнуло на конника влагой. Ощутив первые капли дождя, плечи его съежились под изношенной гимнастеркой.

— Эй, Каштан!

Конь охотно прибавил шаг. Но уже поздно, поздно — куда убежишь! Да и убегать-то нечего. И солнце светит, и дождик шумит — красота!..

Ну и дождик! Если б не он, не свернул бы конник с дороги к землянкам, не остановился бы под деревом. Если бы не дождик, не бросили бы дети учиться, не спрятали бы тетрадок с недописанным словом, не побежали бы домой.

Они высыпали из-под зеленого навеса, точно стайка воробьев, и помчались со звонким, веселым криком по узкой дорожке, по мху, между мокрых берез.

Кудрявая девчурка бежала наперегонки с маленьким «автоматчиком». Она уже почти догнала его и радостно смеялась. Она смеялась, а кто-то громко позвал ее, кто-то крикнул так, что дети остановились.

— Ася! Ася! — кричал незнакомый человек с винтовкой. Бросив коня, он бежал навстречу, расставив руки.

Нет, он не для всех был незнакомый, потому что девочка сразу узнала его, вскрикнула и, очутившись у него на руках, обняла за шею. Он целовал ее, повторяя одно только слово, а сверху сыпал на них дождик. Девочка глядела на него, и изумление, даже испуг застыли в ее глазах. Так, значит, тетя Марыля говорила неправду; значит, правду говорила бабушка Зося — папа пришел!

Она прижалась щекой к его небритой щеке и с ожившей надеждой спросила:

— А где мама и бабуля? Где Иче, где Ханочка, где все?.. Они тоже пришли?

Партизан закружился, как бы выбирая место, а потом сел на мокрую траву, не спуская девочки с рук. Он что-то говорил, повторял все одно и то же, а слезы так



и лились. Он утирал их мокрым рукавом, а дождик все шумел...

Уже не только дети стояли вокруг. Уже какая-то женщина протиснулась сквозь толпу и, увидев девочку на руках у незнакомца, закричала:

— Ой, мамочки! Асенька, Ася, да неужто это отец? Что он, с неба свалился, что ли?!

— Это тетя Марыля,— показала девочка рукой.— Я у них, таталэ, жила долго-долго. А это дядя Степан. А еще у нас есть Василь, но он в отряде.

Дядя Степан с топором в руке (он не прятался от дождя, строил землянку) подошел к незнакомому партизану поближе, посмотрел и спросил:

— Твоя?

Спросил, помолчал, а потом сказал:

— Ну что ж, пошли, брат, в хату. Мы пока у Семена. Чего тут стоять под дождем!



Вечером, когда мама загнала наконец своего Анатоля в землянку и начала раздевать, мальчик спросил:

— Наш папа — минер, Асин папа — разведчик, а что лучше?

— Все хорошо, сынок,— отвечала мама,— только бы от фашистов скорее избавиться. А лучше всего то, мой мальчик, что вот была девчушка сиротой, а теперь и у нее есть папа.

— А зачем он взял ее и увез?

— Как — зачем? Ведь у них тоже есть семейный лагерь.

— А школы у них нет?

— Нет, так будет...

А в то время, когда шел этот разговор, Ася была уже далеко-далеко. Она сидела с отцом на коне и ехала дремучим, темным бором.

Надвигалась ночь, но с папой было не страшно. Только не очень удобно было сидеть, и папа то и дело брал ее повыше, на руки. Тогда она опять принималась ему рассказывать все сначала, отрывками, перескакивая с одного на другое. А ее таталэ, задумавшись, молчал.

Ася прижалась к нему, затихла и начала дремать. Шумели высокие сосны, мерно вышагивал конь, и,

закрыв глаза, девочка представляла себе, что она плывет на лодке... Ася знала, как это бывает,— дядя Степан не раз перевозил их с тетей Марылей за Неман. Вспоминается Асе, как она так же вот сидела у тети на руках и, совсем как сейчас бормочет сонный лес, бормотала вода. А потом на зеленой, солнечной полянке появился тот славный хлопчик с «автоматом». «Не бойся, я стреляю только фашистов»,— сказал он, и все девочки и мальчики из «зеленой школы» засмеялись. Смеялась и тетя Тоня. Милая тетя Тоня! Вот и Ася смеется сквозь сон. Смеется и чувствует, что кто-то ее целует; кто — неизвестно, но это неважно: кто-то очень хороший, конечно. А потом слышится песня. И Ася просыпается.

— Ты поешь? — тихонько спрашивает она у отца.

И партизану хочется рассказать дочке о своей огромной радости, о том, что в нашей стране столько хороших людей, рассказать ей обо всем, но... почему-то он не находит нужных слов. Он только крепче прижимает к себе свое сокровище и тихо-тихо говорит:

— Сейчас, сейчас, доченька, приедем домой...

А потом снова начинает напевать. Все ту же песню о золотом весеннем дне. Теперь она звучит как колыбельная.

ОСКОЛОЧЕК РАДУГИ

«Дед бил, бил — не разбил, баба била, била — не разбила...»

Юрку не бил никто. Все его упрашивали. Сестренки наперебой показывали, как это делается. Мама сердилась, что он ее — даже ее! — не слушает. Просил сам отец. Стыдил своего Юрася, говорил с ним, как мужчина с женщиной. Просила, наконец, гостя — бабушка, — неутомимая сельская труженица, незаметно, как бы между прочим, вырастившая семерых детей и девятнадцать внуков. Двадцатому внуку она говорила:

— Ну сделай уж, сделай, коток! Покажи ты нам это диво, а то уеду завтра домой и не увижу. Ну, вот так!..

Хлопая в такт сухими, трясущимися руками, она затягивала слабым, старческим голосом бессмертную песню, которая радовала и еще будет радовать многие миллионы сестреночек и братьев, мам и пап, бабушек и дедушек:

Ладкі-ладушкі,
Прыляцелі птушкі...

И дальше. Или — опять сначала. И так и так хорошо. Только бы песне помогали маленькие ладошки с растопыренными пальцами, только бы рот до ушей растянулся в улыбке, а глазенки смеялись!

Учиться Юрка не хочет.

Он стоит в своей кроватке (с одной стороны ковер, с другой — сетка), держится руками за железный прут и то смеется однозубым ротиком, то, совсем как папа, щелкает языком — этому он уже хорошо научился.

— Вот противный! Мы тебя больше на руках носить не будем — ни Аня, ни я...

— Дурень! — сердится мама.

И это всех смешит, даже самого Юрку. Он заливисто смеется, щелкает языком еще раз, а потом надувает губы и, сверху вниз водя по ним кулачком, очень довольный, делает «бррр».

— Не ново, не ново, — улыбается отец. — Расширяй, брат, репертуар.

И бабушка, разумеется, тоже говорит свое слово: становится на защиту внука, как будто бы и в самом деле кто-нибудь на него нападает.

«...Баба била, била — не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула...»

Махнула хвостиком не мышка, а рыбка, гостя из той чудесной страны, что называется Китай. Золотая рыбка с причудливым именем — Шубункин.

Она плавала в аквариуме, стоявшем в другой комнате на окне. Плавала не одна — их было пять, и все золотые, и все из Китая, и каждая зовется Шубункин.

В аквариуме четыре стеклянные стенки и песчаное дно, двадцать литров чистой воды и, должно быть, несколько тысяч камешков — больших, поменьше и совсем-совсем маленьких, которые считаются песчинками.

Камешки — из Крыма, где роскошное солнце и стройные вечнозеленые кипарисы, где теплое море шумит день и ночь, ласково напевает, полощет без усталы каменистый берег, выкатывает на отмели из прохладных морских глубин такие вот, как в аквариуме, камешки.

Они разноцветные, блестящие, прозрачные, у них тоже причудливые имена: халцедон, сердолик, нефрит...

Вместе с камешками песчаное дно аквариума устилают маленькие и большие ракушки, окаменелые когти когда-то грозных крабьих клешней, отшлифованные волнами, как бусы, кусочки стекла.

Кроме крымских, есть в аквариуме камешки и ракушки из гористой солнечной Югославии, где трудолюбивые, мужественные люди и в сказке, и в песне море свое называют нежным и звонким именем — Ядран. Над этим темно-голубым морем всё — и ясное солнце, и белые чайки, и зеленые кедры, — всё так красиво, что, кажется, захватил бы всего понемножку с собой на светлую память.

Отец, который привез из Москвы, из зоологического магазина, золотых китайских рыбок Шубункин, из Крыма — камешки и ракушки, и там, над голубым Ядром, думал о самой светлой радости. Дочкам, ожидавшим его, и Юрасю, рождения которого он сам ожидал с небывалой тревогой, отец привез от всей адриатической красы зеленую шишку с могучего кедра, что шумит над волнами на Черногорской круче, белое перо, лежавшее на сером холме маленького каменного островка, несколько ярких и прозрачных камешков, поблескивавших на горячих пуховых пляжах песенной Далмации.

«...Мышка бежала, хвостиком махнула — яичко упало и разбилось...»

Золотая рыбка Шубункин махнула своим прозрачным, роскошным, как шлейф королевы, хвостом — и чудо свершилось: впервые после долгой зимы со двора в аквариум заглянуло солнце. Заглянуло краешком глаза, а все же в воде за стеклом заиграла радуга...

Юрка, которого перестали наконец обучать, которого выпустили наконец из-за сетки на волю, быстро пополз, забавно перебирая по ковру коленками.

Ползти для Юрки — это значит не лежать, не сидеть, не стоять, держась за спинку кровати, а самому двигаться, самому овладевать пространством. Никто из нас не помнит этого чувства, а оно, должно быть, очень приятное!.. Черноглазый, светловолосый Юрась даже ползти сразу много не может: поползет немножко, сядет и оглянется. Как тут ново все, как красиво! А ну дальше!..

И вот, махнула золотая рыбка хвостиком, заглянуло в аквариум солнце, в воде за стеклом заиграла радуга. А мальчик полз. Да не полз! Он бежал, как кот, легко топая ладошками и коленками по пушистому и, как цветущий луг, огромному для него ковру. А потом остановился, сел и оглянулся вокруг.

В черных, как переспелые вишни, глазах отразилась игра золота на рыбьей чешуе, вода, в которой ласково переливались черноморские и ядранские камешки, кристально чистая вода белорусских криниц с осколочком яркой радуги — улыбкой солнца, одного для всех!..

Сказка кончается. Ничего не упало, ничего не разбилось...

Только маленький кудрявый Юрка раскрыл от удивления свой однозубый ротик, развел руками, и две

ладошки с розовыми растопыренными пальчиками сами наконец захлопали!

Сказке — конец. И дед не плачет, и баба не плачет...

Все стоят в дверях. Потом девочки и мама бегут к Юрке. Сестренки хохочут, а мама хватается на руки того, кого только что и так несправедливо, и неуместно, и, в конце концов, даже не сердясь, обозвала дурнем. Хватает и целует его — еще за одно достижение. Подходит папа, а за ним, волоча больные ноги в валенках, идет к Юрке бабушка. Идет и так улыбается, что на ее морщинистом лице совершенно ясно написано:

«Ну вот и двадцатый становится человеком!»

СНЕЖОК И ГУЛЕНЬКА

Отчетливо и ярко, как человек, истомившийся от жажды, вспоминаю — вижу перед собой большое деревянное ведро, доверху наполненное холодной и прозрачной водой. Мама несет его по двору, а с крыши слетает мой голубь Снежок и садится на край ведра. Вода в ведре колыхнется, и пить неудобно. Но голубь пьет, а мама улыбается и ставит ведро на землю.

Мама умаялась: с утра на жатве, потом спешила домой подоить Краснушку, покормить меня — и снова в поле. Мы живем первое лето без папы, и маме трудно. Я сирота, но я мужчина, я хочу стать большим и все делать сам, чтобы маме было легче. Я хорошо пасу корову, чищу вечером картошку, хожу по дрова...

Бывает, правда, что я набедокурю, — и мама сердится. Однажды так засиделся с удочкой на реке, что мама уже в темноте встретила меня на лугу. Краснушка сама пришла домой, и мама очень перепугалась. А то раз мы с Михасем, моим дружкой, стали вить кнутики. Веревочку подержать было некому, и мы оба конца положили под горшок с цветком. Мы только поплевывали на руки да вили, а горшок все ехал да ехал по подоконнику, пока не шлепнулся на пол... Опять мама сердилась, а я опять обещал исправиться. И я стараюсь, а мама верит, что я хочу быть хорошим, потому что мама сама очень хорошая...

Это знает и Снежок. Вода понемногу перестает колыхаться, и он пьет, не отрываясь от ведра.

— Передохнул бы хоть! — говорит мама. — И правду говорят — «тянет, как голубь».

Она смеется. Я сижу возле ведра на земле, и мне так хорошо глядеть на веселую маму. Хорошо также смотреть, как мой Снежок сидит на краешке ведра, вцепившись в него красными морщинистыми лапками, а в воде, по мере того как она успокаивается, все отчетливее отражается его белая грудка.

Но вот он наконец напился. Взглянул на нас, нахотился, как будто рассердился, и вскочил в ведро.

— О, вот так так! — И мама замахнулась на него.

— Ты не гони его, — кричу я, — не гони! Пускай искупается!..

Я говорю, что я сам принесу воды, но мама снова смеется.

— Ну, где там — ты принесешь! — говорит она. — Силач нашелся! И сама принесу. Да он и не замутит воды: он чистенький.

Снежок воды не замутил. Когда он искупался и мама поднесла ведро к порогу хлева, Краснушка стала спокойно пить. Пьет она так же жадно, как голубь. Покуда он пил, Краснушка глядела на него из хлева, из-за жерди, которой заложена дверь, и даже разок замычала от зависти.

Краснушка пьет, а мне приятно смотреть, как быстро опускается в ведре вода. Потом корова чмокает губами, высасывая остатки воды, и жадно облизывает мокрое деревянное дно шершавым, щекочущим языком. Я с удовольствием подставляю свою маленькую ладонь под холодную, мокрую морду.

— Я принесу еще, — говорю я. — Принесу!..

Но мама не дает мне ведра.

— Принесу и сама.

А мой Снежок тем временем на крыше.

Он укоряет в чем-то свою голубку, сердится на голубят. Они по ту сторону крыши, в тени, и мне со двора их не видно. Виден только Снежок, сидящий на самом коньке. Он надувается, как индюк, и кружится волчком. И все ворчит, ворчит... Я понимаю, что он говорит. Он сердится на свою белую подружку Гуленьку, которая слишком балует птенцов.

«Упр-рям-ство, упр-р-рям-ство! — сердится он. — Им, гуленам, и на р-р-руку, а ты им больше пот-твор-р-ствуй!»

«Не гулены, не гулены, а гу... а гу... а гуленьки», — воркует в ответ тихая ласковая голубка. Она уже вышла на гребень крыши и обхаживает своего сварливого дружка. «Куда летать, зачем летать? — старается она защитить детей. — А вдруг коршун, а вдруг корр-шун, агу, агу, агуленьки!..»

«Какой корр-ршун? Какой корр-ршун?» — еще больше возмущается Снежок.

Наконец, как бы высказав все, что нужно было, Снежок поднялся, захлопав крыльями. За ним взлетела его послушная Гуленька, а вслед за ними — птенцы.

Птенцов двое, и я никому не говорю, что все еще никак не могу распознать, кто из них голубь, а кто — голубка... Они еще пищат и часто тянутся к клювам родителей. Снежок зря на них ворчит — они летают очень охотно.

Но Снежок уже не сердится. Он поднимается все выше, выше, выше... Потом вдруг останавливается и, словно уцепившись лапками за какую-то невидимую, натянутую в вышине ниточку, начинает отчаянно кувыркаться. Кувыркается он очень ловко, через спину. Ниточка, должно быть, не одна — они натянуты, как телеграфные провода. Снежок, начав с верхней, цепляется за каждую из них, — все ниже, ниже, ниже! — а потом, перебрав все, снова взлетает ввысь. Рядом с ним кувыркается и кружит белой пушинкой на ветру маленькая, быстрая Гуленька.

Только молодые «гулены», как называет их Снежок, не умеют еще кувыркаться. Они несмело приседают на распушенные хвосты, трепыхают крыльями, как жаворонки, и снова принимаются летать...

А я гляжу и не могу наглядеться.



Он был смелый и гордый, мой голубь Снежок.

Зимой, когда я, увязая в снежных сугробах, шел из соседней деревни и нес его за пазухой со связанными лапками и крыльями, я никогда не думал, что он такой забияка.

До этого у нас голубей не было. Гуленьку дал мне двумя днями раньше Михась. Дядя Степан, мамин брат, подарив мне Снежка, сказал, что первую пару лучше всего приручать в хате. И в хате у нас стало очень весело.

Снежок и Гуленька скоро нашли себе удобный, тихий уголок в запечке и начали вить гнездо. Тут уж я помог им — рассыпал у печки солому. И очень забавно было смотреть, как они таскали ее, ухватив соломинку клювом.

— Строятся, — говорила мама. — Вроде — бревна из лесу возят.

А вскоре, сунув руку за печку, я нащупал под голубкой маленькое теплое яйцо. Правда, добраться до него было не просто. Снежок злобно гудел, клевал меня и хлестко, больно бил крылом по руке. Но меня этим не отгонишь.

А вот на следующую зиму он из-за этой своей смелости и погиб.

Еще не прошел февраль, холодно было даже в хлеву, где стояла Краснушка, а голуби в старой, дырявой кошелке, подвешенной под крышей, высидели голубят... Пару молодых я осенью отдал Михасю, как мы с ним и договаривались, когда он давал мне Гуленьку; и зимовали у меня только Снежок да Гуленька. Птенцов я заметил не сразу, хотя и заглядывал в хлев ежедневно. Приходил сперва днем, а потом, когда наша Краснушка привела теленка, приходил с мамой и вечером. До чего приятно было смотреть на пестрого бычка, как он лежит на чистой соломе, поджав ножки и расставив уши! До чего приятно было слышать, как в подойник, журча, бьет молоко, которое я скоро буду пить с хлебом, как над нами, встревоженные шумом и светом, ворочаются и воркуют в кошелке голуби! Днем я всегда приходил смотреть, как мама поила Краснушку или приносила ей поесть. А то заходил и так.

И вот однажды я услышал в кошелке под крышей знакомый писк. «Неужели птенцы?» — обрадовался и удивился я. Так вот почему они, Снежок и Гуленька, последнее время по очереди сидели в гнезде, вот почему оттуда доносилось их радостное воркованье!

С загородки, откуда мы кидали для Краснушки мешанку из соломы и сена, мне не так уж трудно было

добраться до балки, а с балки я, держась обеими руками за стропило, по решетинам, как по лестнице, взобрался к голубиной кошелке. Одной рукой пришлось держаться, чтобы не упасть, а другую я засунул в гнездо. Это было не просто — Снежок больно клевал меня и бил крылом. А все-таки я нащупал под ним на соломе два тепленьких мягких комочка. От радости я спрыгнул прямо на навоз и побежал с этой вестью в хату, а потом — к Михасю.

Но недолгой была наша радость — ее украл Сымонов кот Жандарм.

Жандармом его называла моя мама. Он был большой, мрачный, усатый и шkodливый. Мы с Михасем не любили его и гоняли отовсюду, где бы ни встретили.

Ворюга знал, что оконце в нашем хлеву зимовало без стекла и мы затыкали его соломой. Краснушке было от этого теплее, но зато темно. Еще хуже было сидеть в темноте и взаперти голубям. Когда потеплело и засветило солнце, я вынул из окошка солому, чтобы всем в хлеву стало лучше: и Краснушке с пестрым бычком, и голубям с голубятами... И вот Жандарм подстерег, когда я, вернувшись однажды поздно вечером, забыл заткнуть оконце соломой, и забрался в хлев.

Снежок погиб, сражаясь... Чудак! Он думал, как от моей руки, отбиться от хищника маленьким клювом и крыльями.

Утром я заметил на снегу у хлева белый пух и перья; их было еще больше на подстилке, куда они падали из кошелки.

В гнезде были одни птенцы. Кот, видно, забрался туда на рассвете, потому что голубята еще не замерзли, были как будто живы, особенно один.

Этот и выжил. Я накормил его изо рта, согрел в руках и посадил в запечек. А тогда побежал к Михасю. Вместе с ним мы придумаем, что делать. Главное — это, конечно, проучить Жандарма.

Когда я вышел из хаты, с крыши хлева поднялась, захлопав крыльями, Гуленька. Она испугалась даже меня. Она полетела куда-то, видно не осмеливаясь проникнуть через оконце в хлев. Верно, она погибла где-нибудь, потому что с тех пор я ее не видел. А мне очень хотелось поймать ее и принести в запечек.

Снова весна.

Снова наш двор засыпан белыми лепестками вишни. Краснушка лежит у плетня, на солнышке, спокойно смотрит на меня и жует жвачку. Она всегда жует, хотя не всегда есть что жевать. Сегодня мы с Михасем ловкую штуку выкинули — пустили своих коров пастись на панском лугу. Краснушка, как сообщница, и сейчас молчит, как молчала зимой, когда я тишком добавлял ей в мешанку побольше сена. Тогда мама поймала меня и поругала, а теперь я сам признался, похвастался ей нашей удачей.

«Остерегайся, сынок! — сказала она. — Попадешься им в руки — не помилуют».

Но я не боюсь. Что луг этот не панский, а наш, деревенский, — я уже слышал, и не раз. Что панов все равно не будет — через год или через два, — я тоже знаю. Об этом у нас и говорят и песни поют. Панов не будет, а наши коровы уже теперь хотят, чтоб мы пасли их на панском лугу. Поэтому сегодня мы с Михасем — молодцы.

Я уже стал больше, чем в прошлом году: я сам вытаскиваю из колодца большое деревянное ведро, сам несу его в хату и смеюсь, вспоминая про Алеся, о котором мы читали недавно стишок Якуба Коласа:

Хлопец-молодчина,
Тащит он ведро с водою,
Как взрослый мужчина.

И вот я, мужчина, несу от колодца полное деревянное ведро воды, а с крыши слетает мой Снежок и садится... уже не на край ведра, а прямо мне на плечо. Потому что это уже не тот Снежок, а сын его, которого я сам выкормил.

Я ставлю ведро на землю и подставляю голубую ладонь. Снежок, как по бревенчатой кладке, идет по моей руке от плеча вниз и, остановившись на ладони, начинает ворчать. Он надувается и кружится волчком и все ворчит, ворчит мне прямо в уши. Я понимаю, что он говорит. Он жалуется мне на тихую белую голубку Гуленьку, которую я принес недавно от Михася.

«Упрр-рям-ство! Упрр-рям-ство! — ворчит, сердится мой белый питомец, рассказывая о своей пугливой подружке.— Ты не корр-ршун? Ты не корр-ршун?..»

— Нет, не коршун,— смеюсь я и глажу Снежка, успокаиваю его.

А Гуленька смотрит на нас с крыши и, как будто ей плохо видно, то и дело задирает свою маленькую хохлатую головку.

Чудак ты, голубь! Ну что за диво, что ты меня не боишься! Давно ли ты, еще не умея летать, ходил за мной по хате, пищал и, растопылив крылья, кланялся, просился на руки? Давно ли ты на дворе слетал с крыши ко мне на плечо и совал клювик мне в рот, просил есть? А сегодня ты уже взрослый, герой!

И ты уже кружишься, ворчишь, как твой отец, всегда недовольный воркотун. А ну, лети!

Я подкидываю Снежка на ладони. И разом с ним, захлопав крыльями, взлетает с крыши и Гуленька.

И вот они кружат в чистом голубом небе. Добравшись до тех, натянутых в вышине и никому не видимых проводов, мой белый красавец цепляется красными лапками за них и начинает кувыркаться. Рядом с ним кувыркается и кружит вокруг него белой пушинкой на ветру маленькая, тихая, быстрая Гуленька.

Пускай кувыркаются! Им будет у меня весело, спокойно, хорошо. Жандарм больше не разрушит их гнезда: мы с Михасем проучили негодника. Мы с Михасем такие теперь сделали голубятни, что никто не доберется, никто не достанет!

И я гляжу вверх, гляжу и никак не могу наглядеться...

Андрею

1

По правде говоря, и здесь порой неплохо. Прежде всего здесь очень много воды, и она называется море. Глядишь с самого берега, сидя на песке, глядишь с высокого обрыва, с тропинки в жесткой траве,— а оно без конца все море да море!..

Песок горячий, и мама расстилает для Юрки широкое мохнатое полотенце. Жарко очень и сверху, потому что солнце тут печет весь день. Папа разыскал четыре палки, принес их сюда, втыкает в песок и сверху натягивает простыню, которая тогда называется теит.

Сперва Юрка боялся моря и не лез в воду. Он то лежал под тентом, то подходил к самому берегу и швырял в море камешки. Их тут тоже очень много. И они называются галька. В то, другое лето, когда Юрка с мамой и папой жили в лесу над речкой, камешков было куда меньше. А тут — кидай, кидай, даже рука заболит!.. Вот так-то — то под тентом лежи, то гальку кидай. И сегодня, и вчера, и уже давно-давно!.. И папа смеется:

— Эх ты, курица! Третий день на курорте, а все сидишь на берегу.

Но вот папа взял Юрку на руки, занес в море и, сколько мальчик ни противился, поставил его в воду по самую грудь. Юрка сначала кричал, потом дрожал, потом стал смеяться, а вода как плюхнет на него — и в рот, и в глаза, и на волосы!.. Да какая соленая, страшная!..

Ну, это было раньше, когда Юрка боялся моря. А теперь уже мама боится, чтоб он не забирался слишком далеко. И одному Юрке купаться не позволяет: и когда

тихо, и когда на берег с шумом катится вода, которая тогда называется волна.

— Сегодня, сынок, большая волна, ты купаться не будешь. Ты ведь хороший и не станешь просить.

Правда, хорошим здесь быть очень скучно, но ведь и с мамой надо дружить. Папе хорошо — он купается и тогда, когда волна шумит вовсю и хлещет о берег, и даже тогда, когда мама и его — такого большого — просит, чтоб не купался.

В тот день Юрка придумал очень веселую игру. Он брал свое голубое ведерко с нарисованным на боку большим желтым яблоком и шел к самому берегу. Берега, впрочем, теперь не было. Волна за волной так шумно и сердито накатывались на гальку и песок, что берег был то совсем близко, то совсем далеко... Волна откатится, и только пена, как от мыла, впитывается в гальку и песок. А ты бежишь следом за берегом, чтоб зачерпнуть воды. И только наклонишься — волна снова как плеснет, и берег твой побежал, побежал, а ты уже стоишь в воде. И ты тоже тогда из воды удирай, а то и другая волна — как плеснет!.. Мама все еще боится, она кричит что-то, хотя ничего не слышно, видно только, как рот ее раскрывается. Зато папа не кричит. Он даже так сел и так повернулся боком, что тебя будто и не видит... В этом именно и заключается интерес игры. Юрка подкрадывается к папе с ведерком воды и вдруг на спину как плюхнет! Папа даже подскочит и закричит. До чего же это приятно Юрке, и как тут нахохочешься! И можно это делать опять и опять, потому что папа каждый раз будет так сидеть, будто бы ничего не видит...

Вот и все, что есть веселого. Правда, было однажды очень весело в кино. Когда Юрку в первый раз взяли туда, он сначала смотрел, потом дремал, а потом и вообще уснул у папы на коленях. И мама сказала, что лучше уж она сама не пойдет в кино, но не будет больше мучить ребенка. Однако и на завтра пошла, потому что картина, говорили, очень уж интересная.

Кино тут не такое, как у них, в Минске, а прямо на дворе. Тетя впускает туда через калитку. И за калиткой скамейки стоят, вокруг высокий забор, а потолка нету. На стене растянута простыня, которая и здесь тоже называется экран. Где левая рука — там забор и деревья, а где правая рука — там забор и за ним, под обрывом,

море. Оно так далеко внизу, что отсюда даже не слышно, как шумит. Пока не начнется кино, слышно, как вокруг трещат кузнечики, которые здесь называются цикады. А уж когда застучит движок, когда на экране покажутся люди и заиграет музыка — тогда слышно только кино. Но оно совсем невеселое, потому что это не Буратино и не Белоснежка, а все только для взрослых. Что-то говорят, говорят... И скучно.

Но вот раз на экране показалась собака. Большая-большая! И черная! И она как залает!.. А тут за забором, с той стороны, где под обрывом море, — тоже кто-то как залает!.. Уже не с экрана, а какая-то живая собака, которая, видно, сидела раньше тихонько да смотрела кино. И все дяди и тети засмеялись. И Юрка так смеялся и так ему хотелось об этом поговорить, что мама даже рассердилась...

И Юрку теперь не берут в кино. Укладывают спать. И он — когда сразу уснет, а когда лежит и думает.

Сегодня, например, думает.

2

В словаре трехлетнего человека слово «тоска» покуда не значилось. Однако в душу его — хотя не названная еще и не осознанная — она уже навевалась.

Чувство это, лучше сказать — целый комплекс образов и связанных с ними чувств, возникло после лая — того, что прозвучал на экране и в ответ ему — с земли.

Здоровенный черный пес на экране и тот другой, еще неведомый, за забором, лаем своим напомнили Юрке далекого доброго друга, расставшись с которым мальчик сперва долго ехал на машине, а потом летел высоко-высоко на самолете...

Юрка забрался вон в какую даль, сюда, где море, а Шарик остался там, в тетиной деревне, на цепи.

Тети Верина собака очень добрая, но неказистая и даже смешная на вид, пестрая: половина головы белая, половина черная наискосок, будто ей подвязали тряпочкой подбитый глаз. И все повиливает хвостом от смущения. И совсем не кругленькая, хотя и зовется Шарик.

Может, если б Юрка боялся его, как он сначала боялся моря, так они б и не подружились. Но Юрка не очень боялся. Он был смелым еще и в то, другое лето, когда они жили в лесу над речкой и когда там было

много-много индюков, а он однажды зашел к ним в загородку и стал кричать, как паровоз, для того чтоб они голготали... И Шарика он не испугался, а на завтра, после того как приехал к тете, сам подошел к песику и погладил. Шарик лежал в будке, положив пятнистую голову на порожек, и молча поглядывал на двор, где был как раз полный порядок. Когда маленький человек, который спал и ел сегодня у них в хате, провел ручонкой по его башке, пес зажмурил глаза и тихо зашуршал хвостом по соломе.

А был он, Шарик, не из тихих. Лаял много и очень охотно, то сердито, то весело. Лаял он даже на желтого кота Базыля, стоило тому попасться ему на глаза. Хотя Базыль и сам был не лодырь какой-нибудь, а серьезный работник, уже старый и уважаемый в доме, может быть, больше Шарика, потому что он здорово ловит мышей и вот уже одиннадцать лет мурлычет сказки тетиней Ире, с которой они, как говорит тетя Вера, и родилась-то в одну зиму. Так что Базыль не очень боялся Шарикова лая, хотя, само собой, близко к будке не подходил. Всего сильнее и громче лаял Шарик, когда Ира выпускала из хлева свинью и поросят, чтобы вдвоем с Юркой гнать их на выгон.

А надо сказать, что тети Верина Ирочка очень веселая и Юрка любит ее. Она и играет с ним, и свиней они вместе пасут, и сказки ему вечерами рассказывает. У Ирочки болел глаз, и теперь она носит очки, как старая бабушка. И все бегают, шмыгают взад-вперед и смеются. А сама маленькая, худая. Так Юркин папа придумал, что она — мышь на пенсии.

— Ты, мышь на пенсии, что ты все молчишь да хихикаешь? Ну скажи: ма-ма, па-па, ко-ры-то... А, ты не умеешь говорить! Смеешься только: хи да хи.

В ответ Ирочка не только повторяла свое «хи», но заливалась таким тихим и таким заразительным смехом, что ты, глядя на нее, и сам засмеешься.

Ирочка тихая только с большими. А так она здорово ездил верхом на свинье. Разбежится, подпрыгнет, крикнет «гоп!», перевесится животом, перекинет ногу и сядет. «А ну, кричит, садись, Юрка, на прицеп!..» Огромная белая свинья, та, которая мама пяти поросят и называется Каруля, трясет ушами, хрюкает, бежит — за калитку, на улицу. За ней следом — поросята и Юрка.

А Шарик прямо цепь чуть не вырвет — так кидается и лает им вдогонку.

Милый, хороший песик. И лапа у тебя, верно, еще не зажила...

Заболели Шарик с Юркой в один день. Но Юрка выздоровел первый. Когда тетя Вера сказала, что сегодня уже можно идти гулять, он взял из шкафчика в кухне ломоть хлеба и побежал к будке. Потому что кто-то нехороший не то палкой, не то камнем перебил их Шарику переднюю правую лапу. И Шарик уже не лаял, как раньше, а только скулил, глядя на гостя, и тихо, медленно мел хвостом по соломе. А Юрка не стал его теребить обеими руками за уши, не обнимал, не тискал за шею, а тихонько залез в будку и лег рядом. И лапы больной не трогал, даже погладить ее боялся.

— Ешь хлеб,— говорил он.— Ешь. Он вкусный.

И пес, хотя и не голодный, взял в зубы ломтик и не с жадностью, как обычно, а просто как бы из вежливости стал жевать...

Так же, как лай за забором напомнил Юрке Шарика, ломтик хлеба напомнил другое.

Старая Шутка, тети Верина овечка, с кривым, смешно изогнутым рогом...

Надо также сказать, что у тети Веры все работали. Тетя и дома управлялась, и в поле ходила каждый день. Ира и свиней пасла, и двор подметала, и мыла пол, и Юрку кормила, когда они вдвоем оставались дома. Шарик лаял и днем и ночью, сторожа хату и сад. А кот Базыль ловил мышей и только изредка полеживал на «кошачьей горе». Так тетя Вера называла их большую, всегда теплую печь. Работал и Юрка. С тетей Верой он отправлялся иногда «в колхоз» — лен полоть, сушить сено. Туда они ездили с другими тетями на грузовой машине. С Ирой он пас свиней. Но главной Юркиной обязанностью было загонять вечером овец.

Когда они, овечки со всей деревни, поднимая пыль, возвращались с пастбища, надо было успеть отворить калитку, выбежать на улицу, отделить от стада своих овец и загнать их во двор. Это было совсем нетрудно. Шутка шла домой сама, ведя за собой семью: барана Шмерку, овечку Дусю и маленьких, еще безымянных, ягнят. Кроме того, что она была овечья мама и сама узнавала свой двор, старая Шутка знала еще, что Юрка

встретит ее не с пустыми руками. Словно заговорщики, почти каждый вечер они заходили за угол хаты, он доставал из кармана ломтик хлеба, крепко держа, протягивал его овечке, а та откусывала и тихо, старательно жевала, потешно шевеля черной ноздрястой и щекочущей, если дотронуться, мордочкой!..

У Шутки мордочка маленькая, а вот у Кветки, тети Вериней коровы,— большая влажная морда...

Мы забыли сказать еще об одной Юркиной с тетей работе,— они каждый вечер вместе доили корову. Пока тетя Вера, присев на скамеечку, доила свою бокастую, с большим выменем Кветку, пока молоко журчало, наполняя подойник, Юрка стоял перед коровой и то правой, то левой рукой гладил ее морду. А Кветка то жевала свою жвачку, то бросала жевать и вздыхала, и тогда из больших ноздрей ее на маленькую Юркину руку дышала широкая ласковая струя теплого воздуха. Рука невольно вздрагивала, и мальчик тихонько, благодарно смеялся.

Милая, добрая Кветка!..

Кот Базыль был неприхотлив, он ел что попало, не перебирая, хлеб так хлеб, картошка так картошка... Однако и он любил побаловать свою старость теплым Кветкиным молоком, тем, что называется парное. Базыль лакал его из своего черепка под лавкой, а Юрка и Ирочка сидели за столом. И парное молоко с хлебом было такое вкусное! Они его пили из налитых доверху стаканов, и над губой то у одного, то у другого делались белые усы. И это было так смешно! Над тети Вериним столом горела в большом белом шаре электрическая лампочка. Окно было открыто, и на широком белом подоконнике маленький репродуктор так весело играл, что даже подпрыгивал от радости. Даже листья за окном, на яблоне, шевелились!.. А тетя Вера говорила:

— Ну, я еще подолью. Сколько ты там съел — меньше кота.

И Юрка ел «больше всех» — полный стакан, и еще почти полный стакан, и целый ломоть хлеба, как Шутка!..

А потом они с Ирой ложились спать. Брала с собой Базыля, и он мурлыкал им сказку — одну и ту же, но все равно такую славную, теплую, сонную... Но им сначала не спалось, и они делали себе «спрятанный домик» — накрывались с головой и шептались под простыней или хихикали, пока тетя Вера не скажет:

— Ну, спать, хохотуны. А то люди всю ночь разберут. Слышите, как тихо везде?..

И правда, было тихо. Только слышно, как в третьей от них хате (а Юрка знает: это у Лосева Ваньки) все еще говорит радио. Или вот весной, когда Юрка только приехал, лягушки квакали на болоте за тети Веринными грядками капусты. Иногда загудит в деревне или на дороге машина. И так и хочется крикнуть, что это — дяди Алешина, того самого, с которым Юрка ездил на сенокос!.. Иногда из клуба на другом конце деревни долго доносится песня и музыка. А то шумит в поле трактор, близко или где-нибудь вдали. И кузнечики все стрекочут. Да иногда Шарик гавкнет на кого-нибудь, или на что-нибудь, или просто так, тихонько бегая вокруг хаты...

Милый сон незаметно вползал в их с Ирочкой «спрятанный домик»...

«А лапка его, верно, уже не болит», — думает Юрка, один в далекой, далекой комнате. Там, у моря, куда надо высоко, высоко лететь на самолете.

Но наконец он засыпает.

3

И сон приходит с веселыми, полными счастья картинами.

...Вот они едут в тети Верину деревню. Папа сидит за рулем, рядом с ним — мама, на коленях у мамы — Юрка. И он все смотрит и смотрит в окно. Но уже смеркается, и папа включил фары. Как это хорошо! Сперва мелькают колосья по обе стороны узкой дороги, потом начинается плотина и выгон, где сейчас никого уже нет: ни детей, ни свиней, ни гусей... А потом с мостика белое что-то как шмыгнет! — и побежало, побежало к гумнам...

«А-а, твой Базыль», — говорит папа.

И Юрка кричит:

«Это он встречал меня! Встречал!..»

И вот они повернули наконец на улицу, вот уже тетина хата, и калитка, и яблони. Вот уже Юрка бежит туда — один, без машины, и папы, и мамы, — бежит и видит, что тетя Вера идет навстречу и смеется, что Ирочка бежит вприпрыжку и тоже смеется... Это он, это Базыль им сказал!..

«Я приехал! Я опять приехал к вам!» — кричит Юрка. И он смеется и плачет от радости...

Папа и мама все еще не пришли из кино. Никто не видел, как Юрка проснулся, счастливый, в слезах. Но и сам он еще не вернулся в свою белую, пустую комнату с цикадами за открытым окном,— он только почмокал губами, свернулся калачиком и опять улетел в край душистых ромашек, сосновых бревенчатых стен да бесконечной теплой, босиком избеганной травы...

В тети Верином хлеву живут себе корова Кветка, Шутка с семьей и свинья Каруля с поросятами.

Думаете, что это и все?

А вторая половина хлева называется сарай. В нем лежит сено и солома. Там, под крышей, ласточкины гнезда. Птенчики все пищат, а их папы и мамы носят им мошек. А иногда там, где-нибудь в уголке, снесется курица, ну и тогда уж она на весь мир кудахчет.

И все?

Ого!.. Юрка тоже думал сначала, что все.

А тут как раз из-под тети Вериного сарая на траву вышла ежеикова мама, а за ней три маленьких ежонка. По большущему для них, по настоящему ромашковому лесу они — один за другим, а мама впереди — пробираются к желтому кувшинному черепку, в котором молоко. И молоко такое вкусное, такое парное, что у Юрки прямо язык зачесался. Сейчас вот, сейчас будут лакать!

А Юрка будет смотреть.

«Ну, ну, скорей! Скорей!» — наклоняется он над ними, подойдя ближе.

И ежиха сворачивается в клубок. А вслед за ней сворачиваются клубочком и малыши.

«Ну что ж, я подожду», — думает Юрка и укладывается в теплых от солнца, душистых ромашках.

Подпер щеки загорелыми кулачками и молчит, ждет.

Как это хорошо, что Шарик дремлет в будке и ничего не видит! А то поднял бы лай и напугал бы ежеиков. Хорошо, что и Базыля тут нет, а то он вылакал бы молоко. Хорошо, что никого здесь пока нет, что так тихо, светло. Они вот-вот развернутся. Ежеикова мама чуть раскроет свой очень колючий клубок, глянет сквозь щелочку и увидит, что это всего лишь мальчик Юрка лежит. А ведь он только хочет посмотреть...

«Идите, идите, — думает Юрка, — не бойтесь, тут же никого нет...»

Но вдруг раздается Ирочкин голос:

«Юрка-а! Иди, свиней погоним! Юрочка-а!..»

Он хочет отмахнуться от нее, но что-то сильное-сильное, теплое-теплое обнимает его — и никак не махнешь. Он хочет крикнуть: «Ну тебя, гони одна!» Он делает усилие, и крик вылетает из его горла, но уже не там...

Это мама обнимает его, говорит:

— Юрка, Юрочка, вставай! Ты что это сегодня так заспался?

А он кричит:

— Сама гони своих свиней! Сама!

— Сама погонит,— смеется мама.— Ишь разошелся...

И Юрка просыпается окончательно.

— Надо завтракать идти, сынок. Все уже давно пошли. А мы с тобой опаздываем.

Умытого, одетого, но все еще хмурого Юрку за ручку ведут в столовую. Там с него бесцеремонно снимают 튈бетейку, усаживают за стол и начинают кормить.

Тетя Полина Ивановна, которая называется сестра-хозяйка, сперва то идет, то останавливается у других столов, а потом подходит к ним.

— Доброе утро,— говорит она.— Ну, а отчего это мы такие грустненькие? Как мы спали?.. В этом заезде, видите ли, почти нет детей. Вот только ваш да профессора Маркова, Александра Павловича, Вова. Но Вовочка, видите ли, заболел ангинкой и пока на постельном режиме. А так бы они играли вместе. Вовочка тоже, как Юрка, очень приличный мальчик...

Тетя сестра-хозяйка и сама очень приличная. В чистеньком, хрустящем халате, полная, ходит, точно плывет, и говорит так ласково, так ровно.

И все тут такое приличное, пальмы в кадках, столы под белоснежными крахмальными скатертями, дяди и тети, которые здороваются по пять раз на день. И мама не кричит на Юрку, как дома, а только все шепчет потихоньку, прилично:

— Ешь! Боже мой, да ешь ты!..

И вот в то утро все там, конечно, очень удивились, когда такой милый и тихий мальчик, сидевший с мамой и папой, вдруг закричал на всю столовую:

— Я тут ждохну у вас! Я хочу к тете Вере!..

Поздняя ночь. Под ногами поскрипывает свежий морозный снег. Бесчисленные мелкие крупинки сверкают в тихом и грустном свете уличных фонарей. Иногда прогудит машина или, высекая дугой синие искры, прогремит почти пустой трамвай.

Над темными руинами и редкими огнями города снова, как до войны, перекликаются заводские гудки. И в ответ им, с вокзала или с далекой окраины, доносится задорный свисток паровоза.

Большие окна типографии луются ярким светом. Они будут светить всю ночь.

Стоит это громадное, уцелевшее от бомбежек и пожаров, здание тихо, гудков здесь не услышишь. Только, проходя мимо него совсем близко, различаешь приглушенный стенами шум, похожий на шум морского прибоя. Это гудит печатный цех.

Ровным гулом рокочут огромные ротационные машины — комбайны печатного дела. Сипят и щелкают хлопотливые «американки». Монотонными раскатами гудят плоские машины. Они-то больше всего и напоминают морской прибой. И не только шумом. Глядя на талеры¹ этих машин, которые с мерным грохотом ходят из-под валов то взад, то вперед, вспоминаешь, как кипит на песке пена, как беспокойно шевелится галька, как взлетают ввысь всплески волн, в бессильной злобе штурмующие валуны.

¹ Т а л е р — подвижная металлическая доска в печатных машинах, на которой помещается набор.

...Мысли и образы заключены в свинцовые строчки набора. Полосы — страницы будущей книги — так же строго заключены в форму. По спусковой доске на барабан сползают белые листы. Один за другим набегают черные вальцы, и под ними исчезает заполненный набором талер. С барабана на длинные металлические «пальцы» стекают отпечатанные листы. Рядом с машиной непрерывно растет кipa этих листов.

Подросток Михась Лазунок первую ночь стоит за машиной. Он полон радости: он печатает книгу.

Правда, наиболее сложная и ответственная часть работы сделана без Михася. Мастер сам спустил и приправил форму, сам отрегулировал накладку, сам сделал заливку и смазку машины. Михасю остается только следить, чтобы печать была хорошая. Мальчик, однако, чувствует себя почти настоящим мастером.

С высоты своих пятнадцати лет он важно глядит на машину. Хоть она и огромная, и хитрая, и много чего он в ней еще не успел понять, а все-таки она вся в его власти. Стоит только повернуть ручку влево — и эта машина остановится.

Да и кто же ему мешает воображать себя мастером? Настоящий, то есть взрослый, мастер, Иван Семенович, стоит далеко, около третьей машины. Рядом с Михасем работают такие же, как он, подростки. Все они — бывшие ученики ремесленного училища полиграфистов, первый выпуск после войны. Их школа находится тут же, на первом этаже. В типографии не хватало рабочих, и поэтому их выпустили из училища досрочно, в конце первого учебного года. Они успели пройти только половину курса. Да и этот год не был использован так, как следовало бы. Много времени заняла подготовка помещения и установка учебных машин, да к тому же зимой топили плохо, было очень холодно. И вот они пришли в типографию почти новичками в печатном деле. Однако, глядя на этих ребят, можно подумать, что каждый из них чуть ли не мастер. Почему же и Михасю не считать себя мастером?

А тут еще сам Иван Семенович поставил в наборе сбоку слово — «Лазунок». Внизу каждого листа стоит цифра 3 и затем: «Якуб Колас. Трясина». Цифра 3 — это номер печатного листа, Якуб Колас — писатель, который написал книгу под названием «Трясина». Слово

«Лазунок», фамилия Михася, поставлено на полях полосы потому, сказал мастер, что Михась сегодня в третьей смене ответственный за качество печати. Якуб Колас отвечает за то, как написана книга, а Михась Лазунок — за то, как она будет напечатана. Ну можно ли тут не гордиться!

Есть и еще одно доказательство самостоятельности Михася: к нему приставлена помощница — Люда Мирончик, тоже из их выпуска. Она старше Михася, а все-таки стоит возле него только приемщицей. Можно даже время от времени сделать ей какое-нибудь замечание. Михась долго смотрит на то, как Люда снимает со стола отпечатанные листы и относит их на кипу. Все у нее идет гладко. К чему бы придраться?

— Гражданка,— говорит наконец Михась,— вы, может, поменьше хватали бы?

— Что? — переспрашивает Люда, не расслышав из-за шума машин.

— Что, что... Поменьше, я говорю, хватай!

— А тебе что? Ты, что ли, носишь-то?

— Как это — что? Приемка должна быть аккуратной. Не знаешь, что ли?

— Ай-яй, какой же ты стал начальник! За собой бы лучше смотрел!

Ну что ж, приемщица явно недисциплинированная. Но у «начальника» нет больше в запасе соответствующих его положению слов, и он решает отмолчаться.

Он засовывает в карманы замасленных штанов черные от типографской краски руки, пренебрежительно сплевывает сквозь зубы и отходит от машины.

Сосед Михася справа — Толя Косенок. Он стоит за машиной № 7. Он старше Михася на один только год, но ростом он выше Люды. Вообще весь их выпуск — сто сорок хлопцев и девчат,— все выше Михася. За это Михася и прозвали Бабашкой¹. Еще в начале учебы прозвали, как только ознакомились с пробельным материалом.

Бабашка, не вынимая рук из карманов, важно глядит на верхний лист продукции соседа. Тоже мне,

¹ Б а б а ш к а — металлический брусочек короче наборной буквы, который вставляется в набор для образования пробела,

работа! Подумаешь — какие-то там бланки печатать! Черная рука оставляет теплый карман и переворачивает десяток-другой отпечатанных листов. Все одно и то же! Бабашка снова засовывает руку в карман, снова пренебрежительно сплевывает сквозь зубы и некоторое время думает над тем, как бы получше сказать Толе о превосходстве такой, скажем, работы, как печатание третьего листа «Трясины», над всеми видами мелких печатных работ — разными там бланками, билетами... Он только хочет начать, как вдруг сквозь гул машин доносится суровый оклик:

— Эй, малый!

Это мастер. Бабашка, выхватив руки из карманов, лётом мчится к машине.

— Ты что, на работе или на базаре? — спрашивает Иван Семенович.

— На работе, товарищ мастер, — скорее покорно, чем растерянно, отвечает Михась.

— На работе, брат, не глазеют по сторонам. Это у тебя что? — Мастер показывает рукой на три измятых листа.

— Это, товарищ мастер, брак, — еще покорнее отзывается Михась.

Что тут еще можно сказать? Машина как будто в заговоре с Иваном Семеновичем. Так все хорошо шло, а как только Михась отошел, «пальцы» почему-то неудачно приняли два листа, смяли их, третий же лист и вовсе сошел с барабана разорванным. Хорошо еще, что мастер (ну и ловкий же он!) мигом заметил.

Как только Иван Семенович ушел, Михась, твердо решив больше ни на шаг не отходить от своей машины, начинает следить за работой «пальцев».

— Товарищ мастер! Товарищ мастер! — раздается тихий, приглушенный гулом машин голос.

Михась слышит его, но не оборачивается. Он знает: это Люда. Она стоит у кипы листов, отвернувшись, и делает вид, что чем-то занята.

— Михаил Батькович!

Михась не обращает на нее никакого внимания.

— Товарищ Лазунок, что это у вас? Неужто брак?

Люда не выдерживает: она садится на кипу и звонко хохочет.

Желая показать девчонке, насколько он выше всех этих дурачеств, Михась начинает с невозмутимым видом насвистывать. Затем, немного успокоившись, он затихает, погруженный в свои мысли.

Подумаешь, сколько там этого брака! А все-таки...

Тут в памяти снова встает, как живой, тот самый старик.

Было это больше месяца назад, в школе. На перемене Михась со скуки надышал в замерзшем стекле небольшое круглое оконце. Стало видно, что делается на улице. Вон люди идут. Промчались три машины. Два солдата в полушубках проехали на санях возле самого тротуара... А потом Михась уже ничего не видел, кроме старика. Старик шел той стороной улицы, вдоль высокого серого забора. Степенно шагал по снегу, опираясь на палочку.

— Глянь,— позвал Михась Толю.

— Вот еще, Бабашка! И радуется, будто невесть что придумал! — сказал Толя. И все-таки, наклонившись к Михасеву оконцу, стал смотреть.

— Старика видишь у забора? — спросил Михась.

— «Видишь, видишь»! Я его знаю, не только что вижу. Он книжки пишет. Писатель Якуб Колас. Он в типографию раз приходил. Мне тогда завуч его показал. Наверно, книжку какую-то приносил новую... Да ты погляди,— сказал Толя, снова наклонившись к оконцу,— он и сейчас в типографию идет. Вот и папка под мышкой, как в тот раз!

Где там глядеть в оконце! Михась схватил шапку и выбежал на крыльцо.

Чтобы Колас обратил внимание на маленького типографского ученика, мальчику надо было хотя бы поздороваться. А он стоял, совершенно растерявшись от восторга. Впрочем, если бы даже он и поздоровался, Коласу трудно было бы догадаться, что творилось в то время в душе у Михася... Для этого нужно было бы о многом рассказать.

Прежде всего нужно было бы сказать, что в этой маленькой Бабашке, несмотря на его пятнадцать лет, бьется сердце мужчины. И о том рассказать, где и как оно, это сердце, так быстро возмужало.

...Фашистские бомбы не дали Михасю окончить четвертый класс. Вместо школы мальчик ушел с родителя-

ми в лес, к партизанам. Рассказать бы о том, как он сидел в болоте во время последнего окружения, как его там нашла и вытащила за ногу овчарка. Фашисты сначала били его так же, как и всех взрослых, а потом вместе со всеми повезли куда-то в товарном вагоне. Теперь он знает, что их везли тогда, чтобы сжечь в печах Тростенецкого лагеря смерти. Тогда он не знал этого, как не знал никто из взрослых. Михась не знал, но он не хотел, чтобы его вез куда бы то ни было проклятый, ненавистный враг; он на ходу выскочил из вагона, а потом катился, как подстреленный заяц, с высокой насыпи под откос. По нем стреляли, но впустую.

Потом нужно было бы еще рассказать о том, как он вернулся домой, в родной колхоз. Вернулся с мамой и Верой, старшей сестрой, а отец сразу же пошел вдогонку за врагом. Рассказать бы о том, как маленький четырнадцатилетний паренек шел сюда, в город, целых сорок километров пешком. Лидия Петровна, учительница, прочитала в газете, что тут открывается училище, в котором будут учить печатать книжки. И он сразу пошел. Как он блуждал по улицам совсем незнакомого города, пока не нашел себе приюта. Как он думал о хлебе, пока у них не наладилась столовая; как он мерз в своей курточке, пока им не выдали форменной одежды... Рассказать об этом было нужно хоть бы для того, чтобы ясно было, что он, Михась, ничего не побоялся, что вот добился своего: он здесь скоро закончит учебу и будет печатать книжки. Напечатает тогда и Коласовы сказки и стихи, которые так волновали когда-то Михася...

Да, нужно, конечно, нужно было обо всем этом рассказать. Но бедный Бабашка не осмелился. Он так растерялся, что даже не смог поздороваться...

Большие окна типографии густо затканы причудливыми узорами мороза. За ними — поздняя ночь. А в цеху — несмолкаемый гул машин, однообразный, как шум морского прибоя. Из-под барабана на длинные стержни «пальцев» безостановочно плывут отпечатанные листы. Маленький печатник Михась Лазунок пристально следит за ними и мечтает.

А что, если бы сейчас вдруг открылась дверь и вошел тот самый старик. Вот он подходит сюда, к машине, и ничего не говорит, а просто берет верхний лист и молча смотрит. И, увидев, как аккуратно Михась Лазунок

печатает его «Трясину», он говорит: «А как же тебя звать, хлопчик?»

«Ишь ты, тоже придумал! — вздрагивает Михась, как будто просыпаясь от сладкой дремоты. — Зачем он придет сюда так поздно? Да без пропуска его и не впустят. И вообще никогда он сюда не придет».

«А почему бы ему и не прийти? — снова возвращаются радужные мечты. — И пропуска ему никакого не нужно: его сам директор привел бы. Тут я его книгу печатаю, как же ему не взглянуть! А что, как и вправду сейчас...»

Ах, мечты! Не веришь, не веришь, а потом опять нет-нет да и посмотришь на дверь. Невозможное покажется таким возможным, что по всему телу вдруг забегают мурашки. Склонишься над листами — и покажется, что вот он стоит над тобой, старик, и смотрит... Станет так жарко-жарко, хорошо-хорошо. И прямо-таки веришь, что вот он стоит...

— Ну, помощник, как дела?

Ох, ты!.. Ну, чего? Это же мастер Иван Семенович смотрит на Михася и улыбается.

— Видишь ли, — говорит он, помолчав, — следить нужно старательно, со вниманием, но задумываться чересчур возле машины не стоит. Наше, брат, с тобой дело такое. Ничего особенного мы не придумаем. «Трясины» мы, браток, с тобой не наишем. А вот за эту штучку нам таки попадет...

Скажи ты, и как он все видит! Эта «штучка» — маленькое, продолговатое пятнышко между строчек.

— А я, товарищ мастер, не заметил, — виновато говорит Михась.

— Ничего, проработаешь с половину моего — будешь замечать.

Иван Семенович поворачивает ручку мотора влево — и большая машина послушно прекращает работу. Пока он, засветив над выдвинутым талером лампочку, выправляет в пробельном материале эту «штучку», которая оставляет ненужное в книге пятнышко, Михась следит за его большими черными руками.

— Товарищ мастер...

— Ну?

— Можно мне взять один лист домой? Почитать.

— А ты любишь читать? — спрашивает мастер, не

отрывая взгляда от талера. Он, как видно, совсем не замечает, что этим вопросом задел самое больное место в душе своего помощника.

— Да! — радостно говорит Михась. — Я читаю очень много. Потому что... посмотрите-ка...

Иван Семенович послушно перестает стучать и глядит на Михася.

— Работаем мы, товарищ мастер, восемь часов. Остается — шестнадцать, — говорит Михась. На слове «восемь» он загибает один палец, на «шестнадцать» — два. — Ну вот и читаешь.

Иван Семенович сметлив. Он сразу понимает, что главное тут — не «шестнадцать часов»...

— Тебе бы, парень, учиться, — говорит он, тепло глядя в глаза Бабашке.

— А я и пойду! В вечернюю школу для взрослых!

Пока Иван Семенович поправляет выключку, Михась решается наконец спросить о самом важном:

— Иван Семенович, скажите мне, а это вот слово... ну, фамилия моя на листе, она и в книге останется?

Иван Семенович и тут сразу догадывается, в чем дело.

— Известно, останется, — говорит он. — На то мы ее и поставили, чтоб осталась.

Говоря это, Иван Семенович как-то странно усмехается. Но Михась не замечает этого. Он улыбается открыто, радостно.



Несколько дней спустя главный редактор издательства, подписывая на выпуск в свет первый, так называемый «сигнальный», экземпляр нового издания повести Якуба Коласа «Трясина», сделал техническому редактору замечание.

— В общем, впечатление довольно приятное, — говорил он, перелистывая книгу. — Почему, однако, уважаемый Лазарь Миронович, мы с вами никак не можем полностью избавиться от недочетов? Хоть два, хоть один, хоть маленький, а все-таки что-нибудь да случится. Вот и теперь: все как будто в порядке, так обрезка никуда не годится. Посмотрите сами.

Он повернул развернутую книгу боком. На полях, довольно далеко от края, стояло совершенно ненужное в книге слово «Лазунок».

— И вот тут, и тут... — перелистывая страницы, показывал главный редактор.

Увидев еще несколько раз это лишнее слово, технический редактор наконец согласился, что это — хотя и незначительный, но все же недочет.

Согласиться с этим никак не мог бы только сам Лазунок. Какое там лишнее! Михась еле дождался того дня, когда в киоске появилась «Трясина» — первая книга, в создании которой он принимал участие.

И вот она наконец в его руках!

Иван Семенович сказал правду: на полях книги вон сколько раз повторяется фамилия Михася. Пустишь странички из-под пальца — так и мелькает: Лазунок, Лазунок, Лазунок... Жаль только, что кое-где слово это прихвачено ножом, будто распилено вдоль. Ну, да это мелочь! Бывают неудачи и похуже.

Бабашка долго стоит возле киоска, без конца перелистывая книгу, и глаза его улыбаются.

Зеленый домик дорожного мастера стоит у самого шоссе.

Проезжая здесь на машине, можно разглядеть на ходу только зеленые стены, зеленый заборчик, белые наличники больших окон и пеструю черепичную крышу. Потом по обе стороны дороги опять побегут молоденькие деревца, телеграфные столбы и за ними — то поле, то лес...

С машины можно и не заметить, что в этом хорошеньком домике живет Липа, девочка, которой только пошел пятый год.

Когда Липа приехала в этот домик, ей очень нравилось стоять у дороги, махать ручкой каждой машине и на каждую науськивать своего неразлучного друга — старого лохматого пса Дика. Однажды Липа даже не выдержала: поплевала на маленькие ладошки, так же бойко, как это делают мальчики, разогналась и побежала на ту сторону широкой-широкой и гладкой, как стол, асфальтовой полосы. Она не добежала и до середины шоссе, как вдруг из-за горки — раз и другой — сердито прогудел сигнал машины. Маленькие босые ножки заныли от страха. Липа затопталась на месте, а потом заплакала: «Ма-ма!» Машина остановилась, и шофер, открыв дверцу кабины, хотел что-то крикнуть. Но Дик накинулся на него с таким злобным, сердитым лаем, что дядя шофер сам испугался, спрятался обратно в машину и поехал дальше.

С тех пор Липа больше не отваживается без папы или мамы переходить через шоссе. И она теперь очень редко стоит у дороги. Разве только когда по шоссе идет сразу много машин или ползет, грохоча так, что уши болят, какой-нибудь огромный, забрызганный маслом тягач.

Мама с папой поехали в город вместе, а вечером мама вернулась одна, но зато она привезла Липе дорогой долгожданный подарок — пушистую белую шубку.

Мама одела свою девчурку, аккуратно застегнула все пуговицы шубки, а потом подхватила малышку на руки, повернула лицом к лампе и в восхищении воскликнула: — Ах ты, Снегурочка!..

И Липа забыла про свое огорчение, что папа вернется только завтра. Ей захотелось тут же пойти в новой шубке гулять. Но мама сказала, что поздно, что ночь на дворе, а мороз сегодня так кусается, так щиплет... И Липа немножко похныкала, а потом согласилась. Ну ладно, она подождет, пока опять будет день, только пускай мама позволит не снимать сегодня шубку весь вечер. Мама посмеялась и позволила. Но в комнате было очень тепло: испугавшись мороза, бабуля сожгла в печке большую вязанку березовых дров. Вскоре Липа сняла новую шубку, а сама легла и стала ждать, когда же наконец наступит день.

Она полежала, немножко подумала, потом спросила: — Мама! А кленочку сегодня не холодно, мама?..

3

Кленик рос на той стороне шоссе, на которую Липе нельзя было переходить. Рос он не один, а рядом с другими деревцами, посаженными этой осенью по обе стороны дороги — от большака к колхозу. Там были клены, липки, березы. Были даже четыре яблоньки и одна груша. Они росли совсем близко от кленика, который посадила Липа... Ну, не совсем сама посадила, потому что она только держала его над ямкой, пока два мальчика засыпали корни кленочка землей.

Мальчиков зовут Владик и Шура. А еще были там Михась, и Марылька, и Майя, и Олечка... Ой, как много детей, целая школа!

Сначала, когда они сажали, Липа стояла у открытой калитки зеленого забора и глядела туда, за шоссе. Прислушиваясь к шуму детских голосов, громадный Дик время от времени поднимал голову, прикрывая от солнца

глаза, и добродушно стучал хвостом по дощечкам открытой калитки. А Липе так хотелось туда, к детям!

И дети как будто это почувствовали. Они подошли к шоссе и стали кричать:

— Девочка! Девочка, а он не кусается?

— Не-ет! — крикнула Липа, приподнявшись на пальчики. — Наш Дик маленьких не кусает.

— Так ты иди к нам! Будем деревца сажать!..

— А мне папа не велел переходить дорогу. И мама не веле-ела!

— А мы тебя пе-ре-ве-де-ем!..

Два мальчика — как раз те самые Владик и Шура — перебежали через дорогу, взяли Липу за руки и, боязливо оглядываясь то на лохматого, страшного пса, то на пригорок, из-за которого могла показаться машина, осторожно пошли по асфальту.

Тетя-учительница, которая стояла подальше с другой кучкой детей, сначала рассердилась на мальчиков за то, что они привели сюда маленькую девочку, не спросив разрешения ее мамы или папы. А потом взяла Липу на руки, поговорила с ней и, совсем как мама, поцеловала в одну щечку и в другую.

А дети выбрали для Липы самый маленький и самый хорошенький кленик.

Стоит он теперь в поле у дороги, привязанный к столбику свяслом, держится соломенной ручкой за подпорку, как маленький мальчик, который не умеет сам ходить. А на дворе так холодно, а в поле так много снега!..

— Мама! — спрашивает Липа, которая никак не может заснуть. — А когда я пойду на него погляжу, мама?..

4

На рассвете по тугим снежным наметам за стеной зеленого домика осторожно зашебуршил заяц. Почуяв его, старый лохматый Дик в сенях насторожился, недовольно заворчал и наконец, совсем рассердившись, залаял, точно в бубен застучал:

«Бум! Бум! Бум!»

Испуганный заяц от неожиданности подскочил, кинулся в сторону и стрелой полетел по сугробам.

Утром Дик долго петлял по заячьим следам вокруг домика и небольшого сада, а потом вдруг куда-то пропал.

Вернулся он только тогда, когда в открытой калитке зеленого забора, радостно жмурясь от солнца, уже стояла Липа-Снегурочка в белой пушистой шубке.

Дик подошел к Снегурочке и, прижимаясь к ней, подставил свою большую голову под маленькую руку девочки, как бы говоря:

«Доброе утро, Липа! Погладь меня немножко, потрепни мои длинные уши».

— А ну тебя! — сказала она, надув губы. — Ты мне шубку запачкаешь. Пошел!

И, вынув руку из пушистой, такой же беленькой муфты, оттолкнула от себя Дика. Но Дик не обиделся.

«Вот видишь, какая ты! — замахал он хвостом. — А я хотел тебе что-то показать...»

И тут он вдруг подскочил от какого-то ему одному понятного восторга, начал кружиться, приседать на передние лапы и звать:

«Бум! Бум! Бум! Идем! Идем!»

Липа засмеялась и побежала за ним по чистому, блестящему снегу.

5

В том, что Липа снова не послушалась папу и маму — снова одна перебежала через шоссе, — сегодня виноват был Дик. Он забежал на ту сторону и стал, приседая, звать:

«Бум! Бум!»

А потом еще виноваты и солнце, и новая шубка, и снег. Так радостно, так хорошо, тепло! Липа немножко подумала, еще раз оглянулась, а затем, вынув из муфты руки, побежала. Бегом перебираясь через глубокие узорчатые колеи, проложенные автомашинами, она споткнулась и упала теплыми ручками в снег. Сначала испугалась, потом засмеялась и закричала:

— Дик! Дичок! Подожди, я иду!..

Лохматый Дик не только подождал свою маленькую подругу — он вернулся назад и побежал с ней рядом. Они перебежали шоссе, очутились на узкой, обсаженной деревцами дороге, и тогда вдруг Липа что-то вспомнила, остановилась и сказала:

— Дик, а вон где мой кленик! Вон где, вон там... Какой глупый, не понимает...

Липа стояла на твердой, утоптанной лошадьми дороге, а Дик — за деревцами, на целине.

— Бежим, бежим, Дичок!

Но Дик знал свое: перед ним снова узором расстился манящий, волнующий заячий след. Тот самый, по которому он недавно забежал так далеко в поле, чуть не до самого леса. След того зайца, который шатался ночью возле их дома.

«Бум! Бум! Бум!» — залаял Дик, задрав кверху голову, и на его собачьем языке это означало: «Нет, лучше сюда! Сюда!»

Но Липа его не послушала, она побежала дорогой. И только возле самого кленика свернула на целину.

— Кленик, миленький, как ты живешь?

6

Из синих глаз Снегурочки одна за другой выкатились две круглые горошины-слезинки. А потом и еще две...

Липа не стала бы плакать, — Липа не плакса! — но кто-то гадкий, злой сломал два маленьких деревца. Не кленик, а те яблоньки, что посадили Оля и Шура. Не совсем сломал, а погрыз и ободрал весь ствол и пообломал все веточки.

Чтобы успокоить Липу, Дик добродушно помахивает хвостом, переступает с ноги на ногу и, задирая кверху ушастую голову, растерянно повизгивает... Ну, как тут объяснить малышке, что злой и гадкий — это тот самый заяц, что во всем виновата старуха, которая не открыла Дикку двери, не выпустила его, а только, не слезая с печи, постучала в стенку, чтобы он молчал... А теперь вот — извольте видеть!

Дик сначала ворчит, а потом, совсем рассердившись на зайца, начинает лаять. «Бум! Бум! Ну, погоди, попадешься, длинноухий!» — грозит Дик на своем, на собачьем, языке. Но Липа не хочет его понять.

Она вдруг перестает плакать, вытирает глаза кулачками озябших рук, прячет их в муфту и говорит, как папа, совсем по-взрослому:

— Дик, пошли!

Липа осторожно сходит с целины на дорогу, еще раз оглядывается туда, где остались мама и бабуля, а потом то идет тихо, солидно, то снова вынимает из муфты ручки

и бежит... Бежит не домой, а в ту сторону, где стоит новая школа, совсем недалеко для тех, кто уже вырос большой. Следом за Липой бежит огромный лохматый Дик. На этот раз совсем послушно, ни разу не сворачивая с дороги, не забегая вперед.

7

Звездной морозной ночью по шоссе изредка проползут тихие сани, быстро промчится машина. Далеко слышно, как под дугой потренькивает старый колокольчик, еще дальше разносится гул и фыркание моторов. Спрятавшись в теплой кабине или догоняя бегом сани, чтобы согреться, люди разговаривают, курят, молчат.

А в это время в тихом зеленом домике у самой дороги спит Снегурочка. Новая шубка и муфта висят теперь в шкафу. Лохматый Дик лежит в сенях. То он сердито ворчит сквозь сон, должно быть вспоминая что-то неприятное, то прислушивается — не бродит ли по снегу тот длинноухий негодяй...

А Липа спит.

И снится ей, что заяц опять прибежал к посадкам на колхозной дороге. Хотел обгрызть еще две яблоньки, которые посадили Майя и Владик. Но теперь деревца стоят уже в пушистых соломенных шубках. Липа рассказала все детям, и они пришли, укутали яблоньки соломой. Тогда заяц решает обгрызть Липин клен за то, что она ходила в школу. Но и кленик тоже уже не боится зайца. И его обернули соломой — в шубке и он. Поднявшись на задние лапы, заяц старается достать до веточки. А кленик, словно мальчуган, который сам не умеет ходить, хлопает в ладошки маленькими, как Липины ручки, листками и весело, звонко смеется.

И Липа тоже смеется. Смеется сквозь сон. Ее опять везут по шоссе на санках, так же как днем. Тащат санки и Шура, и Владик, и Оля... Много-много детей, целая школа! Дик бежит между ними и весело, громко лает: «Бум! Бум!» А потом тетя-учительница берет Липу на руки, отдает ее маме и говорит:

— Вы не сердитесь на Липу. Она была у нас. Сегодня Липа — молодчина!

А кленик все смеется и плещет в маленькие ладошки...

ЗВЕЗДА НА ПРЯЖКЕ

Двор окружен тремя высоченными домами. Для взрослых они — просто пятиэтажные. А попробуйте посмотреть на них снизу, от самой-самой земли!..

Взрослым открыта дорога и в тот подъезд, через который выходят на одну улицу, и в те ворота, через которые въезжают сюда с другой улицы машины. А ребятам,— ну, тем ребятам, которые гуляют уже без бабушки или мамы,— на улицу со двора выходить не разрешается.

Правда, и тут, на дворе, много интересного. И гаражи, и деревья, и куча песка у забора, и две собаки: Лайка из красного дома и Шарик — того Алеши, который старший брат Гарика и называется Второгодник.

Но что станешь делать, если уже не лето, и уже не осень, и еще не зима. И песком уже не поиграешь, и листьев, даже желтых, на деревьях нет, и снег никак не пойдет.

А самое плохое... Нет, самое хорошее! Словом — это музыка, что доносится оттуда, где за высоченными стенами домов площадь и памятник, а на площади стоят или ходят солдаты. Это — военный оркестр, и он готовится к Октябрьскому параду.

Хорошо тому, кого уже пускают одного на улицу и на площадь! Он там увидит не только солдат в серых шинелях и серых ушанках, не только их блестящие, голосистые трубы. Когда над площадью грянет веселый марш, с деревьев в сквере игриво посыплется первый иней, а седой дедушка, который, кажется, еле плетется по тротуару, и тот станет постукивать палочкой в такт.

Хорошо тому, кто уже вырос!

Вообще считать себя большим каждому приятно. Даже мальчик из красного дома,— в черной шубке, из которой заметно выросли его тонкие ноги в синих облегающих штанишках, и руки всегда без рукавиц,— даже он считает себя большим. Так и говорит частенько: «Когда я был еще маленький...» А самому не так давно пятый год пошел.

Особенно взрослым он себя чувствует рядом с трехлетним пузырем в теплом пальто и с румяными щечками, что так и выпирают из цигейковой шапки, когда она завязана под подбородком.

Это друзья. Они всегда вместе.

Тот дядя Толя, который Светланин папа и живет в одном подъезде с Шариком, когда идет домой или на улицу, всегда останавливается возле них и говорит меньшему:

— Здорово, Саша!

— Я не Сяся.

— А кто же ты?

— Я Мися.

А старший, не дожидаясь вопроса, добавляет:

— Он — Миша, а я, дядя, Юрка.

— Ну? — удивляется дядя Толя. — Хорошие вы ребята, если объективно говорить. И оба.

Еще и руку пожмет тому и другому. А у самого рука большая, сильная, теплая!..

Во дворе из трех домов собирается, понятно, много мальчиков и девочек. Но сегодня и Юрка и Миша вышли почему-то раньше всех.

По праву старшего игру и сегодня придумал Юрка.

— Ты будешь крокодил, — сказал он Мишке. — Ты станешь на руки и на ноги и делай ртом так: хап! хап! гырр!.. А я буду циклоп, как в кино, и я буду на тебя нападать...

Мишка согласился. Но, став на четвереньки, вдруг решил, что он не крокодил, а лошадь... Даже заржал тоненько — вот чудак!

Слово за слово — и дошло до ссоры. А потом Юрка толкнул Мишку, тот упал на живот и заплакал, а сам «большой» испугался и — наутек! Но зацепился за что-то и шлепнулся, не добежав до крыльца. Руки еще ничего, побоят и перестанут, а вот колени — ох!.. Не только

ушиб, но — мокрые... И что скажет мама, когда и вчера она сушила его штаны на радиаторе, и позавчера, да как сердилась... И Юрка тоже заплакал.

Там за домами гремят веселые трубы, а два чудака ревут дуэтом — один стоя, а другой все еще на животе.

Но тут на крыльце появился какой-то незнакомый дядя.

— А это что за эпопея, а? — спросил он громко и грозно.

Ребята замолчали и уставились на него.

Мишка даже встал.

Они еще не знали, что это дядька Лапша, водопроводчик, который работает в котельной на соседнем дворе. Заигравшись, они не заметили, как он прошел по двору, спустился в котельную их дома и снова вышел на крыльцо. И они не могли понять, откуда он такой взялся — сердитый и чужой!..

А для дядьки Лапши все было сейчас понятно и просто. Он только что выпил. А малость недобрав, запер свою «фабрику» на засов и пришел сюда, к дружку и коллеге, водопроводчику Кипеню. Побеседовать думалось или, может, еще что-нибудь... А тут и у Кипеня «фабрика» на замке. Только насосы шумят за дверью. Сорвалось. А назад спешить нечего — может, скоро подойдет?..

Дядя этот только сперва испугал мальчиков. А потом оказалось, что он очень добрый. И руки им отряхнул, и слезы Мишке вытер большим пальцем, и говорит:

— У вас, братки, без пол-литра не разберешься, кто виноват, кто прав. Ну, ты не плачь... Какой же из тебя после этого может быть крокодил? А музыка, братцы, какая! Слышите? О!

Он даже запел, взмахивая рукой:

Вьется, вьется знамя полковое.
Командиры впереди.
Солдаты, в путь!..

— Хор-рошая музыка, хлопцы! У нас на партизанском параде, — сказал он, усаживаясь на асфальт у стены, — марш играли, правда, не этот. Трам-та-ра-ра, трам-та-рам!.. Такая, братики мои, эпопея!.. Вот вы подрались, засопливились — и все. А у нас, бывало, не дай и не приведи! Знаете вы, ты и ты, что такое блокада?

Юрка и Мишка стояли рядом, смотрели на дядю, как зачарованные. И молчали.

— Да откуда вам, браточки, знать про блокаду!.. А мы лежим себе ранней весной... В сорок третьем. Болото, лес. Холод, голод. Вокруг немцы. Денег — ни копейки... Тьфу!

Он помолчал.

— Там еще ничего, — снова заговорил он. — Оттуда мы вырвались. Не все, правда... Но мне тот раз повезло. Зато в другой раз жигануло вот сюда. Так вот лежал я...

Дядька прилег на сухом у стены асфальте и показал:

— Лежу. А потом только хотел рвануться в перебежку, только, извините, казенную часть поднял, а пуля — джик! А вторая в руку! А третья вот сюда, в грудь. Решето! Эпопея!.. Вот, братики, что такое фашисты и что такое война!..

Дядька как лег, так и остался лежать под стеной. Только на бок повернулся. И голову рукой подпер.

— А теперь, — сказал он, — музыка тебе играет, кровь молодая кипит, и хоть бы хны... Три раза правительством отмеченный. А сам никуда не гожусь... Вздремнуть, что ли, покуда Кипень придет?.. Ну, молодые люди, прошу минут пятнадцать тишины.

Дядька закрыл глаза.

Мальчики постояли немножко, а потом Юрка, совсем, совсем забыв про ссору, взял Мишку за руку, отвел к забору и зашептал малышу в самую щечку:

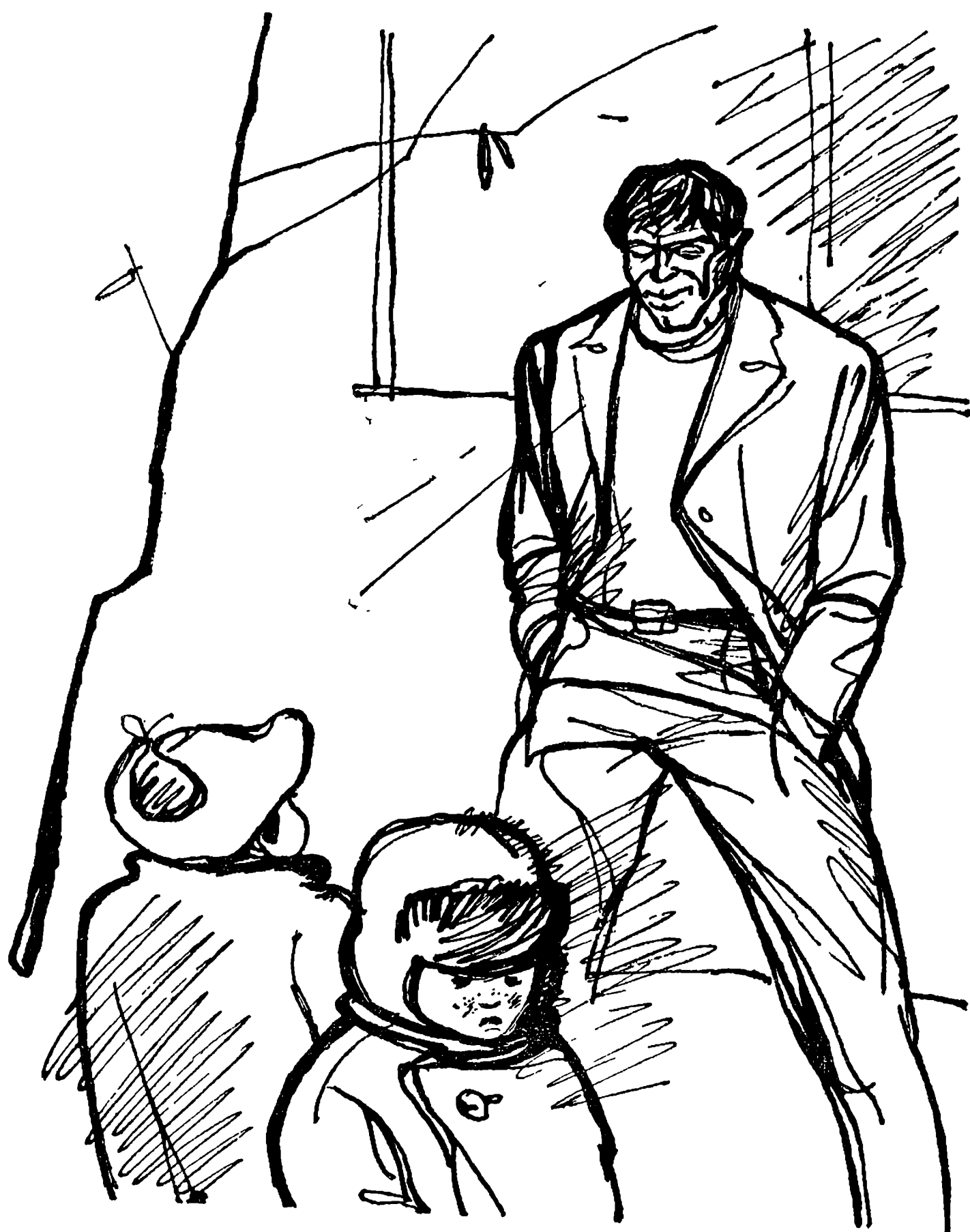
— Ты тут стой и смотри... На вот эту палку! И стой да смотри. Я скоро вернусь...

А сам побежал в тот подъезд, что вел на улицу.

...Тетя Зоя Петровна, та, что Юркина мама! Не наказывайте вы на этот раз своего мальчика за то, что он забыл все запреты и обещания и один вышел на улицу!.. Придется, конечно, его отчитать, потому что на пути к его цели — два оживленных перекрестка и множество машин. Но за смелость, за чуткое сердце...

Юрка идет на площадь, на голос солдатских труб.

Он счастливо пересек первый перекресток и двинулся ко второму. Взрослые говорят, что пути здесь — всего один квартал. А сколько же тут интересного! И магазин, где продаются книжки, кубики, цветные карандаши. И детское кино, где он смотрел вчера с Анькой про циклопа и крокодила. И сквер с фонтаном, где весной зеле-



ные каменные лягушки опять будут брызгать изо рта водой. А вон там, на углу, летом тетя продает мороженое. И скоро будет второй перекресток, а за ним — солдаты.

Но тут...

Ох, не все в жизни сбывается!..

На тротуаре перед Юркой стоял Светланин папа, дядя Толя.

— А ты, браток, куда? — спросил он. — Куда это ты один?

— Там... фашисты дядю обидели... Дядя хороший, а они его пулями простреляли! И он лежит...

— Где лежит? Что ты выдумал?

— Я не выдумал. Он — партизан. Он прогонял их, а они...

— Э, братец, ничего мы тут с тобой... Пошли на место преступления. Веди!

Юрка согласился. Когда его ручонка, озябшая без рукавицы, оказалась в сильной, теплой руке дяди Толи, он окончательно поверил, что справедливость скоро восторжествует. И без солдат. Потому что дядя Толя сам большой!..

Однако во дворе их ждало полное разочарование.

Дядьки этого уже не было.

И Мишка уже не стоял у забора, а шел по дорожке. Даже без палки.

— Ну? — спросил дядя Толя, отпуская Юркину руку. — Как ты мне, братец, все это объяснишь? Где твой дядька и где фашисты?

Юрка стоял растерянный.

А Мишка смотрит и улыбается.

— Что, румяный? — спросил у него дядя Толя. — Как же это ты, брат солдат, на страже стоял? Ты куда дел того дядю?

И Мишка рассказал:

— Плисол длугой дядя... дядя из котельни и заблал дядю... Дяди посла туда!

Он показал рукавицей на дверь в подвал.

— Все ясно, — сказал дядя Толя. — У Кипеня гость. А ты тут, Юрка, тревогу поднял.

Но Юрка уже опять осмелел:

— А фашисты ведь дядю обидели!

— Да это, братец, было уже давно. И, надо думать, больше не повторится.

— А дядя тот хороший. Он партизан! И он герой!

— Ну, так уж и герой?

— У него, дядя Толя, звезда на пряжке! Вот тут. Большая! И Мишка, дядя Толя, видел!

Дядя Толя достал из кармана пальто коробку папирос и спички.

Как хорошо быть большим!..

Пока он вынимал из коробки папироску, а потом чиркал спичкой, раскуривал, затягивался,— за стенами дома, далеко на площади, веселым маршем гремели трубы, а здесь за движениями его рук следили две пары глазенок. Любопытных, доверчивых, восхищенных!..

— Ну, орлы,— сказал дядя Толя,— как бы там ни было, а вы, говоря объективно, тоже герои. Защищать обиженных — это по-нашему. Ну, играйте. Даже — выходит под музыку. О, слышите? Привет!

А он, дядя Толя, ушел и не знает, что Юрка и Миша с утра немножко подрались...

Ну и пускай никто не знает.

— Я больше не буду, Мишка, циклопом,— сказал старший.— И ты не будешь крокодиллом. Дай мне ручку, и мы с тобой пойдем к сараю — я тебе там что-то покажу...

ПРИВАЛ

Степаныч остановил машину и вышел. И верно — здорово оторвался от колонны. Придется подождать.

Подняв капот, он заглянул в успокоившийся, теплый мотор, потом медленно обошел вокруг машины, окинул взглядом груз и деловито пнул сапогом правую заднюю покрышку. Все в порядке.

Груз на машине — не совсем обычный: большая, двадцатилетняя липа с корнями в ящике из свежих досок, похожая на огромный, уложенный в кузов, цветок в вазоне. Переезжает липа из далекого леса в Минск, где уже много таких, как она, и шумит, и цветет, и желтеет, точно и выросли они там, на обочинах новых улиц, на бульварах и в парках.

Чтобы сберечь платок, которым он не без важности пользовался на людях, Степаныч с цыганским фасоном, при помощи одного, а затем второго большого пальца, громогласно продул нос и опять прислушался, посмотрел из-под кепки вдоль шоссе.

Ничего не видно и не слышно...

Недели три назад, оказавшись в таком положении, Степаныч достал бы из кармана сигареты, с не меньшей важностью, чем он недавно прочищал нос, продул бы красный, толстый мундштук... Черт побери! — он даже головой покрутил, представив вкус табачного дымка. Но о курении не могло быть и речи: Степан Степаныч человек твердый. А прилечь на солнышке, пока подойдут машины, он не захотел: Степан Степаныч службист. Коренастый, толстенный начальник колонны двинулся

по обочине навстречу солнцу, чуть не до локтей засунув руки в карманы синих галифе, заметно выпятив животик и мурлыча песенку.

Что за песня — не мог бы ответить и он сам. И не потому, что не любит или не умеет петь, — напротив, Степаныч, когда случается пропустить чарку, охотно распевает песни, сложенные им самим тут же, на месте. Поет даже без слушателей, для утешения собственной души. Звучит это примерно так:

А сегодня у нас была зарплата,
И мы взяли полуторку с прицепом.
Интересно, что скажет на это жена?..

Музыка, как и слова, — своей работы.

Наконец, из-за взгорка показался вдали грузовик. — Ползут, биндюжники, — вслух подумал Степаныч и презрительно улыбнулся.

Он стоял — руки в карманах — и смотрел из-под кепки, как приближались две машины, покуда первая из них не остановилась за его грузовиком, едва не ткнувшись стеклом кабины в ветки липы.

Эту машину вел Василь Недосек, заика, которого Степаныч недолюбливал.

— Чего ты прешь прямо на дерево, ну, чего? — закричал он. — Что тебе — фары менять захотелось?

Недосек, как только заглох мотор, открыл кабину и, скорее увидев, чем услышав, что Степаныч что-то говорит, спросил:

— А? Н-ничего н-не слышу.

— А, а... Дистанцию держи!

— А что — м-мой б-бычок п-погрызет т-твою липу?

Василь уже стоял перед начальником, с улыбкой на румянном простодушном лице, и продолжать сердиться на него было невозможно. Заика — парень исправный, веселый. Бычком называл он свой новый грузовик марки Минского автозавода — единственную в колонне машину, на капоте которой отливал серебром гордо набычавшийся зубр.

За рулем следующей машины сидел Санька Буда, самый молодой в колонне, общий любимец, хотя и пришел он к ним только месяц назад. Выйдя из кабины, черный, стройный Санька с наслаждением, до хруста в костях, потянулся, а потом, взглянув на лес, крикнул:

— Елки зеленые! Не воздух, а прямо... клюквенный морс.

— Пиво, Будай, получше, пожалуй,— с улыбкой в голосе, смакуя, и все же солидно, возразил Степаныч.

— Пиво я не люблю,— отвечал Санька.— Оно мне, как мать говорит, не по носу. А ты, Степаныч, в хорошем местечке остановился.

По обе стороны дороги — неширокой асфальтовой полосы — стеной подымался лес. В гуще его всего ярче выделялись ели и березы,— на фоне темно-зеленой хвои особенно красиво выглядела солнечная желтизна мелкой березовой листвы. Поближе, почти к самому кювету, вышла молодая осина, робкая модница в ярко-красном наряде, и Санька, кажется, видел даже, как дрожат ее листья — не то от стыда за свою диковинную раскраску, не то от какого-то затаенного волнения... Солнце стояло над лесом чуть правей того места, где шоссе упиралось в горизонт, и у обочины, где остановились машины, заманчиво зеленела за кюветом мягкая травяная постель, застланная ласковым солнечным светом. По вершинам деревьев пробегал тихий мелодичный шелест, а внизу все было напоено ароматом теплой осени, в котором всего яснее чувствовался сыроватый, вкусный грибной дух.

— Хорошо-то как, ребята, а?! — сказал Санька.— И в самом деле — золотая пора!

Санька вернулся из армии прошлой осенью. Он переживал сейчас самое счастливое время, казалось — отгуливал отпуск перед началом семейной жизни, с ее заботами и трудами. Он был единственным сыном у матери-вдовы, которую с малых лет Санька помнит, как работницу инструментального завода, где она делает незаметное, но необходимое дело — прибирает цех. Живут они в одной комнатке деревянного домика на окраине. Тесновато, но это — думает теперь Санька — совсем уже временно. Скоро он приведет в дом свою Ирочку, кроме которой, как говорит мать, и не видит никого во круг. Ирочка — техник на новом номерном заводе, и скоро она получит квартиру. Как только переедут, — пускай одна комната, но зато кухня своя! — мама сразу же бросит работу и будет хозяйничать дома. Они говорили об этом пока только между собой, готовя матери радостный сюрприз. Мама уже знает Ирочку, та

сама попросила Саньку их познакомить, пригласить ее к ним домой. Веселой и доброжелательной к людям старой работнице сразу полюбилась светлокосая, умная девушка, и в тот же вечер, готовя им ужин, она потихоньку всплакнула у плиты, вспомнив Михася, своего старшего, погибшего на войне... Всплакнула, а потом, за столом, нечаянно назвала Иру доченькой. Сказала и спохватилась, а «доченька» покраснела, взглянула на Саньку, который тоже залился краской, и оба они рассмеялись. А мать так и стала называть ее, то Ирочка, то — золотко, то опять доченька. И в светлом образе девушки, которую полюбил ее сын, и в ее чувстве, пришедшем как бы в награду за нелегкую вдовью долю, было и в самом деле что-то солнечное, светлое, золотое... Впрочем... Вот она уже почувствовала себя свекровью, узнала ревность к девушке, что пришла и забрала у нее сына. Ну, что же, она — мать, и скорее бы ей — за все ее заботы, за кротость ее — дожждаться, когда в семью придет еще одно золотко, которое можно будет уже любить, не ревнуя; всем одинаково... А Санька, будто назло старухе, тянет с женитьбой. Только ходит да улыбается.

Улыбка у Саньки хорошая. Заика Василь, улыбаясь, словно извиняется: «Р-рад бы чем повеселить, д-да не выйдет»... А Санька улыбкой своей сулит: «Вот я вас сейчас обрадую... Вот обрадую!..» И так он будет сулить всю жизнь. Приятно глядеть на такую улыбку, — ведь все мы ждем и ищем радости.

Василь и Санька уже сдружились, хотя и недавно еще знакомы.

— Т-ты все д-дышишь, Саня, воздух тянешь, б-брат, — сказал Василь. — З-закурим, д-давай, пускай начальник н-нам п-позавидует.

Степаныч, все еще руки в брюки, щуря из-под кепки маленькие серые глаза, смотрел вдоль шоссе, против солнца, как полководец, оценивающий поле боя, и делал вид, что вещи не столь важные до его слуха не доходят.

— Дышу, брат Василь, — говорил Санька, набирая у Недосека махорки. — Дышу и никак не надышусь. Что, давай полежим?

Они перескочили через зеленую канаву и с разбегу повалились на траву. Тело приятно ныло, отдыхая после четырехчасового сидения за рулем, натруженные глаза успокаивала ласковая зелень.

— Черт возьми — не видать! — с раздражением проворчал стоявший на шоссе Степаныч.

Навстречу ему, вместо ожидаемых грузовиков, мчалась «победа».

— Т-твой н-начальник, Б-будай,— кивнул на нее Недосек.— Иди, б-брат, поздоровайся!

— А что ты думаешь? — улыбнулся Санька. И он крикнул: — Степаныч! Глянь на номер: может, мой?

«Победа» пронеслась мимо трех грузовиков и Степаныча, и маленькие зоркие его глаза, привычно прищурившись, поймали на желтой бляшке четыре цифры.

— Двенадцать шестьдесят семь! — солидно сообщил он.

— Эх, черт, не мой! — Санька махнул рукой и перекатился на спину.

Степаныч перестал вглядываться и, не устояв перед искушением, солидно прыгнул через канаву.

— Что, показалось,— твой? — спросил он у Саньки, ложась рядом.

— А т-ты что д-думал — од-дин т-ты у него н-начальник? — усмехнулся Василь.— Т-ты бы, Б-будай, н-на д-дороге бы стал д-да п-приветствовал: м-может, узнал бы тебя...

— Ну, я-то его, конечно, узнаю,— ухмыльнулся Санька,— а он меня — нет. Из машины оно хуже видно...

Недосек засмеялся.

— А п-почему, т-ты д-думаешь, он тебя не узнал бы? У н-начальника глаз зоркий,— подмигнул он в сторону Степаныча.— Он, б-брат, в-видит, как рентген.

Уставившись в траву, Степаныч жевал сухой стебелек и молчал.

— Мой начальник,— сказал Санька,— кого, брат, видеть не хотел — никогда не видел.

Сбив на затылок кепочку, подперев ладонью полную, румяную щеку с рыжевато-золотистой щетиной, Недосек смотрел на Степаныча, сощурившись не то от солнца, не то от беззлобной усмешки, и даже, кажется, подмигивал.

— Вот это, С-степаныч, н-начальник! — сказал он.— П-послушай, б-брат, д-да п-поучись, к-как к-командовать. А т-то ты у нас Фомут, но еще Фомут не полный.

Степаныч взглянул на зайку, потом перевел взгляд на траву, и лицо его стало наливаться кровью.

— По кумполу хочешь? — спросил, подняв глаза,

— К-кто — я?

— А кто же — я?

— Б-бесплатно?

Василь смотрел на него, все так же подперев рукой щеку и весело морщась, будто от солнца.

— Трепать языком можно, да только в меру,— сказал Степаныч.— Другой тебе показал бы за хомута...

Санька поднялся и сел.

— Да не хомут, Степаныч,— Фо-мут!

— Что за разница: все одно хам. Мы разбираемся, ты не очень-то заступайся.

— Ну, это ты, Степаныч, хватил, брат, через край. Это ведь он про Фомута, про моего начальника говорит.

Степаныч посмотрел на Саньку, на траву, опять на Саньку, и на лице его, все еще красном, показался чуть заметный намек на доверие.

— Вот видишь,— обрадовался Санька, уловив этот намек.— А ты — сразу по кумполу.

Парень не выдержал — захохотал, взглянув на краснощекий, прикрытый кепочкой «кумпол» Василя.

— А ну вас! Ха, ха, ха!..

Василь все смотрел, по-прежнему опершись на руку небритой щекой.

— Т-ты расскажи ему, Б-будай. П-пускай послушает про Ф-фомута. Н-начальникам п-полезно.

— Ну что, Степаныч, рассказать?

— Черт с вами, рассказывай.

— А может, неинтересно?

— Рассказывай,— еще раз разрешил Степаныч.— Все равно нечего делать.

Санька лег на живот и, по своему обыкновению, прежде всего многообещающе улыбнулся.

— Ну, что ж,— начал он,— начальник мой был — не простой начальник. Говорят, у умных людей — большой лоб. У него был лоб — больше и не бывает, во всю голову: от бровей до затылка. А ума... Да что там!.. Пустос, кажется, слово — Фомут, может быть, даже никто и не слышал, чтобы он так слово хомут выговаривал, а вот, брат, как надели как-то на эту голову кличку Фомут, так и сбрасывать никому не хочется. В министерстве был — Фомут, и сняли — Фомут, и снова посадили — Фомут...

И вот сидит он за столом — не мигает даже, точно каменный бог. Один только раз за девять месяцев попал я в его кабинет, да и то из-за Клавиной ошибки. Остановился я, известно, на пороге. «Звали, Борис Борисович?» Молчит. Потом вижу — глядит он на меня и губы шевелятся, а ничего не слышу... Понял я — далеко. Двинулся к столу. Шел, шел, добрался до середины ковровой дорожки, слышу: «Позовите ко мне секретаря!» Ну, пошел я, не отдохнувши, назад. Только и успел разглядеть, что стол его, а на столе — чернильный прибор. Стол — ну, целый, брат Степаныч, участок, хоть дачу строй. А чернильный прибор — две силосные башни, да еще на подставке. Лестница нужна. Взобрался, обмакнул, спустился, подписал бумажку, снова взобрался... Ну, вышел я назад в приемную, говорю Клаве: «Что за комедия? Зовет. Иди». А она только что принята, молоденькая. Пошла, выходит из кабинета — покраснелась!.. «Простите, товарищ Буда, это моя ошибка: послала вас, а мне сказали только передать вам, что за Ленкой сегодня не в пять, а без четверти пять надо заехать!» А Ленка учится в музыкальной школе. Не знаю, какой там из него получится Ойстрах, а пешком уже и он ходить разучился. В первом классе. Ну, еще Аллочка, в шестом, Жора, в институте, сама... Словом — было кого подвозить да отвозить: на рынок, на футбол, к девочке, к мальчикам, в лечкомиссию, к маникюрше, к портнихе... Почтенье Фомут воздавал великое — и себе, и жене, и, как мать говорит, детишкам по лаптишкам.

— Т-ты что это все, — перебил Саньку Василь, — с-словно поминаешь его: жил Фомут да б-был Фомут? Он же и т-теперь жив.

— Ну, для меня он был, — улыбнулся Санька. — И больше не будет. И странно, что с ним носятся, как с писаной торбой, словно ему ни износу, ни замены нет. В одном месте завалит работу — его на другое, там он руки погреет — его на третье... Как будто только и заботы у начальства, как бы Фомут не похудел, как бы ему без машины не остаться... А что это ты, Степаныч, точно на муравьиной куче сидишь? Догонят хлопцы, никуда не денутся.

Степаныч выплюнул разжеванную травинку и, как всегда, важно сказал:

— Не было бы аварии.

Он помолчал, подумал.

— Как-никак я там оставил Буслика замыкающим. Этот не подведет.

Степаныч поднял другой сухой стебелек и озабоченно стал жевать кончик.

— Р-работа у х-хорошего х-хозяина всегда найдется,— подмигнул Саньке Недосек.— Как у твоего, Б-будай, Фомута. Р-рассказывай, б-брат, дальше.

— Да тут и рассказывать особенно нечего,— усмехнулся Санька.— Если мне, скажем, пришлось возить начальника и всю его семью, куда кому вздумается, так ведь не первый же я и не последний на такой должности. Мы, как говорится, люди маленькие, а бензин — он казенный. И машина казенная, и шофер на казенной зарплате. Казну спокон века доили, ну, вот и он, Фомут, присосался... А на собраниях, с трибуны, и сам небось кричит про пережитки капитализма. Только и нового у него, что этот... ну, маскировочный, что ли, крик. Впрочем, со мной Фомут молчал. Сядет в кабину, так только сбоку, в профиль, его и видишь. А то в зеркальце взгляну,— сидит. И хоть тысячу километров ты с ним проедешь — все одно. Так и хочется крикнуть: «Кто же из нас кого, товарищ начальник, ну, кто кого на суд везет?!»

— А что ты хочешь? — произнес Степаныч.— Если человек неразговорчивый? Не всем же языком трепать.

— Брось, Степаныч! Почему ж он не молчит, когда с другим начальником едет. Особенно, если тот чуть его повыше. Мне особых твоих разговоров не надо,— я свое место шоферское знаю,— да только ведь добрые люди с собакой и то поздороваются, а этот в машину лезет — молчит, из машины вылезет — молчит. Это уже, брат Степаныч, не пережитки капитализма,— тут мой Фомут, пожалуй что, и самого феодализма черпанул. Да и, вообще, какие тут могут быть пережитки? Ведь ни он, ни отец его никогда капиталистами не были, из батраков вышел в люди. Словом, мы с ним, как в песне,— он молчит, и я молчу. Сначала я, как полагается, утром ему — здравствуйте, на прощанье — досвиданьице. И что же — головы даже не повернет в твою сторону, а откуда-то сверху, свысока пробормочет что-то в ответ. Пробовал я поначалу и разговор заводить. «Погодка какая, Борис Борисович». А он помолчит, взвесит положение, прове-

рит его со всех сторон и тогда уже ответит: «Да». Будто зарплату мне выплатит: ни копеечки лишку. «Дорожка какая, Борис Борисович!» Скажешь это и думаешь: ответит или нет?.. Ответ иной раз бывал. Однажды даже расщедрился: «Да, дорога хорошая», — отвалил мне зарплату с премиальными!.. Вот и всего от быка молока. Так и молчим. Хорошо, когда из дому или домой с работы везешь — метров триста, — а если на дачу едешь или в командировку?.. Запел бы, а не то человека какого-нибудь подвез, так нет! — рядом Фомут сидит... Ну, и молчишь. Два идола в одной машине.

— И вся семья молчит?

— Еще чего не хватало. Дети — они дети и есть. Были бы они, значит, как дети, если бы в человеческих руках их держать, а то ведь, как мать моя говорит, на пупе кожи не чуют, — до того они разбалованы. Пять минут ему ходу до этой самой музыкальной школы, а подавай машину. Семь лет шпингалету, а тоже уже пережитки капитализма. Я для него уже не дядя, не Александр Антонович, а «ты». Да чего тут ждать! — и мама говорит «ты», и Жора — «ты»... Набьется полная машина жоржиков, и все ко мне, как по уставу: «ты», «тебе», «у тебя не спрашивают»... Семейка! Аллочка в шестом классе, о мальчиках уже, да еще при мне, в машине, с подругами разговоры ведет, а косы все еще Маня, работница, заплетает. Ну, а Жорка, так это, брат Степаныч, вообще элемент. Старый Фомут из начальства никак не вырвется, а молодой — из института: железобетонный студент! Морда — во, космы до самых плеч, и вечно он будто сонный, будто не видит никого. Так, кажется, и ждет, когда начнут перед ним шапки снимать: «Как здоровьечко, Георгий Борисович, что прикажете?..» Лежит на диване, читает и курит. Пальцы культурные, а папироса — она, известно, тяжелая, — бах и свалилась на паркет. И что ж ты думаешь, — будет Жора лежать и орать на всю квартиру: «Ма-ня! Ма-ня-а!!» — пока та не бросит плиту и не придет поднять. А Мане этой — лет уже за пятьдесят, и сгорбилась уже, и психика у нее как раз для Фомута, — молчит и топчется круглые сутки. Накормит всех, уложит, а тогда берет на ремешок Букетика — белая такая собачка для потехи — и водит, топает с ним по двору. Прогулочка! Всем, как мать говорит, требуется правильный пищевареник.

— А н-ну тебя! — захохотал Недосек. Он перевернулся с бока на живот и смеялся, трясясь всем телом и точно клюя своим остреньким носиком траву, а потом взглянул на Саньку, на Степаныча и подмигнул: — Т-те-бе бы, начальник, такую житуху, а?

Степаныч, слушавший Саньку со снисходительной улыбкой, не обратил внимания на его слова, только обронил:

— Гм!

— Вот тебе и «гм», — ответил Санька. — Вздумал, брат Степаныч, этот самый мой Жорка водить машину. Пристанет, как клещ, — давай! Ну, раз дал баранку, другой... Дело, известно, нехитрое — знай крути. Была бы только дорога широкая да пустая. А раз на дачу вез я его, весной, после экзамена. Ну, сел он за руль, ведет, покуривает, — весь такой фокстротистый. А впереди, вижу, стоят три самосвала. «Остановитесь, Георгий Борисович, станьте колонне в хвост». Потому что по дороге, навстречу нам, еще один МАЗ идет. «Проскочу, говорит, не учи». Уже и баранку у него не отберешь... Рванул он вдоль колонны, потом — вправо. От встречной увернулись, но капот все ж. таки о крайний МАЗ притерло на повороте. Вышел я, вылезит и он. Уже не до слов — по морде дать хочется. Вмятина — во! «Ну, что, говорю. А если бы да вам сейчас по радиатору!» И показываю ему — вот так! — пятерню. Молчит. Что ты будешь с паршивцем делать, — остыл я немного, подклепал капот — поехали.

— А сам тоже на даче? — спросил Степаныч.

— Сам на службе: зарплату отсиживает. А ты тем временем думай, как оправдываться будешь. Еду в город и уже на все готов. Идите вы, думаю, туда, куда за умом не ходят, — что мне, только и свету что в вашем окошке? Хорошо, так ладно, а нет — бывайте здоровы. Никакой отговорки, Степаныч, не придумал да и придумывать не стал. Еду.

А он, Фомут мой, обыкновенно, как только свое до минуточки отсидит за столом, выйдет на ступеньки подъезда, встанет и смотрит через улицу, на уровне магазинной вывески. Ну, а моя задача — подъехать вовремя, как всегда, машину к ногам Фомута — шашть! — и дверцы — раз! — пожалуйста. Ему бы только глазом повести — вниз или вбок и завтра мне — по собственному, значит,

желанию, согласно поданному заявлению... Сел он, а я, как термометр ему под мышку: «Погодка какая, Борис Борисович, а?» Помолчал он, как полагается, а потом отвечает: «Да». Ну, думаю, тридцать шесть и четыре десятых — нормально.

Так и пошло, брат Степаныч. Два месяца каждый день его возил, подставлял ему дверцу под самый нос и все думал: «А что, если он сойдет с линии — глянет чуть в сторону?..» А потом так это все опротивело мне — и лицо его деревянное, и немота, так захотелось мне к людям, что взял я и подал заявление. Хватит с меня горшки на дачу возить да гусей с комаровского рынка. Семьдесят пять рублей за вмятину внес, четыре дня еще помолчал рядом с начальником в машине, а потом он наложил резолюцию. Раза три взбирался на свою силосную башню, пока все как следует обдумал и написал. Потом еще, в последний раз, взобрался, обмакнул перо, спустился по лестнице вниз и поставил подпись: «Фомут».

— Выдумываешь, — важно произнес Степаныч. — Фомут — у нас такой и фамилии нет. Кого ты возил?

— А эт-то уже наш-ша, б-брат, т-тайна, — подмигнул Саньке Василь.

— Ну, тайны тут нет... — сказал Санька. И он назвал фамилию и должность бывшего своего Фомута.

— Н-напрасно, — покачал головой Василь. — Его и т-так узнать м-можно. Т-только гляди, к-который ходит с наглазниками. И он людей не видит, и на него глядеть неохота... Н-ну, вр-роде как наш н-начальник... Ой, влопался, караул!.. — Василь захохотал и перевалился с живота на спину.

Степаныч медленно повернул лицо к насмешнику, и — Санька заметил — правое ухо «начальника» и правая половина гладкого загривка начали медленно наливаться кровью. Посмотрел на Василя, потом в землю, потом снова на Василя и опять повернулся к Саньке в профиль. Вот-вот выплюнет свой стебелек и скажет Недосеку крутое словцо. И за то, что колет зайка глаза, и за то, что он — шофер второго класса Степан Степанович Тулейка — на третьем рейсе после того, как ему доверили колонну, потерял половину ее, оторвался, как мальчишка какой-нибудь, показал «класс езды»... За это, правда, злиться надо на самого себя, но на другого, известно,

удобнее. Степаныч еще раз повернул голову, посмотрел на Василя и выплюнул стебелек...

Но Санька, не любивший ссор, его опередил.

— Брось, Василь,— сказал он Недосеку.— Таких начальников, как Степаныч...

И тут он первый заметил вдали, на шоссе, грузовики.

— Наши! — закричал он, как будто подошла долгожданная подмога.

Степаныч и Василь, как по команде, обернулись на запад. Три пары острых, опытных глаз вглядывались в приближающиеся машины.

— Жилинский первый,— заговорил, наконец, Степаныч.— Он, видать, и задерживает.

Степаныч встал, за ним встали и Санька с Недосеком. Перескочили через канаву и пошли навстречу...

Задержал, оказывается, не Жилинский, а Мониц,— лопнула камера.

Одна за другой машины остановились, и, один за другим, еще три человека вышли из кабин — рябой от оспы, длиннорукий и сутулый Жилинский, человек тихий и очень старательный, но неудачник; маленький Мониц, черный, кудрявый и хитрый, как цыган; наконец — Буслик, опытный шофер. Он был бы в великом почете, если бы не чарка, которой он поклонялся давно и которая была причиной разных приключений. Главным и переломным в судьбе Буслика был случай еще довоенный, когда он на «эмке» прокатил своего начальника по ступенькам одного бульвара и не лишился прав только потому, что начальник тоже был человек душевный и чарке не враг.

Сейчас, открыв дверцу кабины, Буслик стал на крыло и затянул:

Кабы добрый бондарь был,—
Мне бы обручи набил...

Старик, однако, не был пьян.

— Здорово, ребятки! — крикнул он.— Пять человек с махорочкой — ко мне!

И закашлялся.

— Разрешите доложить,— перестав наконец кашлять, обратился он к Степанычу.— Мониц вчера разжился малость, а сегодня, как водится,— неудача. Сыпь, Недосек, себе намолотишь,— улыбнулся он из-под усов Василю, держа в заметно дрожащих руках клочок газеты.

— А ты, Герасим Петрович, бросил бы курить. Вредно это для здоровья,— сказал Степаныч.

— А скоро я, брат, все брошу. Только бы вот еще разок полежать на солнце.

— Ну, полежать не удастся,— еще более важно заявил Степаныч.— И так запоздали. По машинам!

— Что ж, без команды войску гибель. Ребятки, пошли! — обратился к остальным старик и опять, после третьей затяжки, закашлялся.

Степаныч, как и положено, тронул первым.

А Недосек почему-то замешкался. Санька, не выдержав, отворил дверцу кабины и выглянул. Как раз в этот момент выглянул и Василь.

— Что? — крикнул Санька, сквозь гул мотора не в состоянии разобрать, что нужно товарищу. Но вот среди невнятицы слов послышалось: «Фомут», и Василь показал на машину Степаныча, отошедшую уже довольно далеко.

Он сел, закрыл дверцу, и сильный, послушный грузовик его двинулся.

Все понятно,— и Василь человек не злой, просто ему весело, и Степаныч не велик начальник, просто — любит поважничать.

Ветерок появился сразу, побежал по щекам Саньки, ласково-прохладной волной врываясь в левое окно кабины. И снова парня охватила радость,— тут была и Ирочка, и мама, и новая работа, и чудесное чувство свободы от Фомута.

Санька запел.

В июле сорок четвертого года мы вышли из нашей партизанской пущи и, кого не послали на фронт, остались в своем районе на партийной и советской работе.

На нынешний, мирный глаз, нелегкое это было время. Кое-где еще пошаливали банды, по следам которых ходил наш истребительный отряд. Председателя сельсовета Сашу Туркача, спокойно-веселого и с какой-то поэтической ленцой парня, которого в бригадной разведке два года обходили пули и осколки, бандиты поймали неподалеку от районного центра. Утром пастухи наткнулись на его труп у брода обезрыбленной толлом полицаев речки. Следующей ночью я дежурил в райкоме партии у открытого окна, положив на стол взведенный автомат... Днем мы, молодежь, привыкали к мирному труду, учились наводить порядок в районе и никак не могли обойтись без того, чтоб не собраться на площади, не почесать языки, не посмеяться. Времена были не легкие, но веселые. Каждый вечер в уцелевшем клубе шли танцы. Рыжий Пытляк, заведующий радиоузлом, был хорошим аккордеонистом...

Однако из всех Пытляковых танцев мне запомнилась только простая и страстная мелодия вальса, которой мы часто подпевали:

Ночь светла. Над рекой
Тихо светит луна...

Запомнилась, должно быть, потому, что ночи в тот последний военный август были на диво погожие, а может быть, и скорее всего потому, что подпевали мы вслед за Машей.

В меру веселая и в меру серьезная, легкая в танце, простая, милая чернушка в скромном пестреньком платье — такой вижу я сегодня Машу тех дней. Помнится, она приехала к нам, в Западную Белоруссию, в наш молодой коллектив, с востока, из Рязанской или Тульской области, работала, кажется, в банке или промкомбинате... Да в конце концов и неважно это — где, откуда, — важнее для нас тогда было то, что все мы вскоре влюбились в Машу: и вольные птицы, и, как говорится, уже попавшие в сети, не в обиду будь сказано женам, бывшим тогда невестами.

А досталась Маша одному.

Я знал его еще до войны. Ну как, собственно, знал... Слышал, что Максим Третьяк работал при панах в подполье, сидел в тюрьме. Потом, в партизанах, он был командиром одного из отрядов нашей бригады. Не из первых товарищ и не из последних. На вид немножко заносчивый, хмурый, а засмеется — симпатично широкоротый, с крепкими редкими зубами. Под навесом густых соломенных бровей — маленькие колючие и вместе с тем очень светлые глаза. Был он в то время заместителем председателя райсовета, ходил в своем командирском кителе без ремня, в сапогах и фуражке защитного цвета с пятиугольным пятнышком на месте звездочки.

К зиме компания наша понемногу разбрелась: кто ушел на фронт, кто на учебу, кого перевели в другой район. А я уехал на работу в Минск.

И вот прошло почти тринадцать лет. Их, Максима и Машу, я за это время видел не часто. Хорошо запомнились только две встречи.

Вскоре после войны там же, в райцентре, я видел их из кузова попутного грузовика. Был ясный летний день, и они, Третьяки, шли широким тротуаром вдоль зеленой стены вишняка. Маша держала на руках свое белое сокровище, малыша в «конверте», и улыбнулась мне, кивнув головой. Он... Да что там притворяться!.. Я запомнил только ее, эту счастливую улыбку и глаза, полные гордой радости материнства.

Позднее я начал замечать рядом с ней и Максима. Года два назад мы познакомились с ним поближе в Минске, на вечере у нашего общего друга. Чуть больше, чем хотелось бы, располневшая и как-то спокойно, с чувством собственного достоинства, счастливая, Маша была хоро-

ша красой удачливой матери, которая с честью выполнила свое большое дело — вырастила двоих детей, а сама осталась все еще молодой и интересной. Ни раньше, ни теперь она не была красавицей: просто очень милая как человек и очень чистая, привлекательная как женщина. С ней было хорошо. Можно было, почти как тогда, весело и легко вальсировать, вспоминая нашу военную молодость, напевая, как тогда, про лунную ночь, которая так и не стала нашей... А на женскую, на материнскую красоту ее уже можно было смотреть глазами зрелого человека, который тоже научился знать во всем меру, уважать границы своего и чужого счастья...

Маша с Максимом казались нам с женой счастливой парой. И не только нам: так считали и те, кто знал их ближе.

— Хорошие люди. И он и она...

Это говорит мне сегодня старый райисполкомовский шофер, гуцул, Намисто Микита Самойлович, после партизанства осевший в нашем районе. Я знаю его, можно сказать, давно, люблю послушать рассказы старика о прежней службе в австро-венгерской армии, когда еще царствовал, как он говорит, Франц-Иосиф «эрштэр». Мы уважаем друг друга и с удовольствием распиваем чарку в чайной, закусываем селедкой с горячей картошкой и беседуем о близких обоим нам людях, которые, к моему огорчению, уехали всей семьей в гости к Машиным родителям.

— Хорошие люди,— повторяет старый Намисто и, разморенный чаркой, смолкает. После довольно долгой паузы он достает свою «луковицу» в большом, похожем на грушу футляре, долго смотрит на стрелки и почему-то переходит с украинско-белорусского языка на русский:— Извините за мою некультурность... Теперь уже двадцать три минуты пятого... Пойду сейчас на боковую. Что еще делать в святое воскресенье? А ваш автобус тем временем подойдет. Так и живэмó...

Закончив на родном языке и вздохнув, он опять молчит. В этом молчании я начинаю подозревать что-то не совсем обычное. И верно: вот он, Микита Самойлович, смотрит на меня уже каким-то иным, решительным взглядом и начинает:

— Вам только и скажу... И он человек хороший, а она еще лучше... Як ридна доня, заботится обо мне, пригля-

дывает за старым одиноким человеком...— Он вытирает глаза и опять по-русски говорит: — Извините за мою некультурность... Я не говорю, что Максим Володимирович — несчастный человек, однако же и не счастливый... Только вам скажу... Когда бы мы ни ехали мимо его родной деревни ночью, непременно остановится возле кладбища. Я, конечно, сижу в машине, жду. А раз пошел за ним следом. Потому, как долго они, Максим Володимирович, не возвращались. Подошел, гляжу... А он упал грудью на могилу и плачет... как дитя плачет... Вы знаете, конечно...

Да, Микита Самойлович, я знаю, я словно только сейчас вспомнил, что там, на кладбище, лежат первая жена Максима и первый сынок, расстрелянные немцами, когда он ушел в партизаны. Я не знаю даже имени этой женщины, не видел никогда и мальчика. Только слышал: наша простая деревенская молодница, которая в панскую тюрьму посылала своему Максиму ломоть черного хлеба, вырвав его у себя изо рта, писала, оставляя следы слез на смешных, неуклюжих каракулях, как мальчик все спрашивает: «Где папа?»

— Извините за мою некультурность...— Старый Намисто глядит на меня и точно просит: — Мы ей никогда об этом не скажем?.. Мария Матвеевна такая добрая... Не надо...

...Я один. Из окна автобуса гляжу на желтолистые березки и бурую пожню гречи вдоль дороги, гляжу на яркую, спокойную вечернюю зарю и думаю, шепчу без слов:

«Милая Маша! И в самом деле, может, вам лучше никогда не знать об этих его ночных слезах?»

Теплоходик «Глория» идет с Капри на север. Темная осенняя ночь окутала Неаполитанский залив.

После знойного дня на верхней палубе холодно. Не хочется там стоять и снова думать о том, что и ты наконец дышишь воздухом итальянского юга; не хочется слушать повсюду тот же плеск волн, любоваться звездами, теми же, что и дома; не хочется глядеть даже на совсем уж экзотический, косо́й пунктир огней канатной дороги на склоне далекой, невидимой пирамиды Везувия.

Сижу на нижней палубе, съездившись у окна, и, усталый после трех суток туристской беготни, то окунаюсь в легкую, блаженную дремоту, то выплываю из ее глубин... Туда, где неутомимый шорох ног и неумолчный гомон, где снизу доносится однообразный и, кажется, в самое нутро проникающий безжалостный стук моторов...

А в грезах столько света, лазури, зелени! В зеркале трех последних дней вижу залитое солнцем море — и вблизи, под нами, и вдалеке — из окна поезда или автобуса; пестреют в густой листве лимоны, пышно высятся вечнозеленые огромные зонты пиний, карабкаются по склонам гор цепкие кривые стволы оливковых деревьев; по широким долинам бредут, влача за собой плуги, сивые смиренные волы, стоят серые шалаши из пампасной травы и такие же серые, только чуть поменьше, ульи. На фоне яркой морской синевы, величественно-грозных вулканических громад и таких же, кажется мне, извечных мраморных руин античности так просто, по-сегодняшнему, по-домашнему зеленеют кочаны капусты...

И слышен смех над водою — звонкий, неудержимый. Она хороша — твоя родина, мой молодой синеокий амико!¹

Если б я умел, я сказал бы тебе об этом еще третьего дня, как только увидел окутанный мглой Неаполь, как только торопливо зашагал по его улицам — то широким, с пальмами и зелеными жалюзи роскошных особняков, то узким, с вывешенными знаменами нищеты — мокрым и сухим тряпьем... В Риме я кое-что высказал бы тебе и под сводами Пантеона, где теплится вечный огонь над гробницей Рафаэля, и в ватиканском музее, у витрин с рукописями Галилея и Петрарки, и в развалинах знаменитого цирка, где камни и по сию пору дышат запекшейся кровью рабов, и в храме «Святого Петра в цепях», где боязно становится, что вот сейчас он — уже не библейской легендой, а гением твоей земли рожденный Моисей — взорвет своей мощью не только темный маленький костел, но и весь старый квартал вокруг этого узилища искусства...

Она прекрасна — твоя Италия.

Странно только и обидно, что за три дня и две ночи я не услышал здесь ни одной песни...

Правда, тут окончательно рассеялось мое наивное представление о вечно беззаботных певцах с мандолинами... Поглядев на дымные заводы, белые дворцы и могучие корабли, я как-то совсем по-новому понял, что все это сделано вами, веселыми людьми, у которых и в труде можно многому поучиться.

А песни я так и не услышал...

Зато сегодня слышал твой смех. Может быть, и беспричинный, и слишком уж молодой, — кто скажет?.. Ты, каприйский лодочник, не думаешь об этом, рассыпая звонкий смех над водной гладью, так же как не думает о том, чему он радуется, жаворонок над полями моей стороны.

Слушай, амико!

Когда наш теплоходик причалил к шумному пирсу в твоём живописном городке Марина Гранде, ты как будто не случайно выбрал нас, четырех друзей, в растревоженном туристском муравейнике. Сияя белозубой улыбкой, ты закричал и замахал руками: «Сюда, синь-

¹ Друг (итал.).



оры, сюда!» Мы поздоровались, и ты чуть не бегом повел нас к своему катеру.

За высокой серо-зеленой стеной Капри спускалось солнце. Скалистый, освещенный сзади берег уходил прямо ввысь больше чем на двести метров. И катер твой, вздымая над тихой водой гордую грудь, помчал нас, как белая птица, вдоль этой тенистой стены в ту сторону, где ждала нас еще одна тайна, еще одно чудо... А ты смеялся, синеокий красавец, показывая на другие катера, оставшиеся далеко позади!..

И мне хотелось вместе с тобой смеяться. Только — по другой причине... Человек всемогущ! А вот мы не умеем по-настоящему понять друг друга, не можем даже словечком выразить, чем полна душа! Есть у нас два языка, глубокие, безгранично прекрасные, а мы — на нашем современном катере, — как первобытные люди, только смеемся, жестикулируем, подмигиваем друг другу!..

А ведь я тебя, кажется, знаю давно. Я не сегодня встретился с тобой впервые. До меня доносился твой голос и смех с книжных страниц, с экрана... Знал я тебя еще в те времена, когда сверстником тесно сдружился с маленькими героями Амичиса, когда в отроческих мечтах шагал по этой земле в отрядах Спартака и Гарибальди...

— Гротта Адзурра! ¹ — кричишь ты, указывая рукой в ту сторону, где у высокой стены берега, в заливе, толпятся лодки.

Когда стихает мотор твоего непобедимого летуна и белая грудь его опускается на воду, мы окунаемся в густой ярмарочный шум. Лодочники атакуют нас, они, как гвозди к магниту, со всех сторон тянутся носами белых лодочек к первому и, видно, желанному тут посланцу нашей «Глории». Меня и моего друга берет к себе в лодку бойкий, поджарый, пожилой синьор в кепке, удивительно похожий на дядьку Федора, старшего пастуха в моем колхозе.

Катера с туристами прибывают один за другим. Шум растет. Орудая веслами, как удлиненными руками, синьор пробирается среди лодочной толчеи к черной, как огромное устье печи, дыре в скалистом берегу, над самой водой. Затем, сложив весла, он хватается за тол-

¹ Голубой грот (итал.).

стый, натянутый над нашими головами, ржавый трос, который уползает в эту дыру. Повинуясь крику старика, а скорее всего инстинктивно, мы наклоняемся. В этом месте вода словно заражается всеобщей горячей: везде вокруг тихая, в низкий туннель она мчится, пенясь и шумя. Ворвавшись с белого света в подземелье, лодка наша замирает на успокоившейся воде. Мы разгибаем спины... Нет, здесь хочется не просто разогнуться, а поднять руки, в восторге вскинуть их над головой. Какая красота!.. На стыке тьмы — сверху, от скалистых сводов, — и света, вливающегося сюда снизу, сквозь воду, — как неповторимо рождение этого лазурного цвета радости! Я понимаю твой смех, молодой синеокий амико!..

Но и в этом поэтическом гроте нам не укрыться от туристских законов: и здесь нас связывают регламент и очередь... — Наш старик делает круг вдоль стен и правит к выходу, который не похож больше на печное устье — так много льется оттуда света.

— И Горький здесь, наверное, бывал! — кричит кто-то с другой лодки.

На эти слова наш синьор вдруг широко улыбается, отпускает одно весло и, подняв руку, кричит:

— Массимо Горки — гранде!¹

Он отпустил и второе весло, обеими руками ухватился за трос над головой. Мы помогаем старику, потому что вода не хочет нас отсюда выпускать. А выбравшись на солнце, в суетливую минуту расставания мы отдаем синьору «старшему пастуху» последние чешуйки художочных монеток с надписью «Република Италиана», угощаем его своими, отечественными папиросами — за те же три слова, за радость, которой он нас оделил, даже не подозревая о своей щедрости!.. Бойкий, поджарый синьор что-то кричит — то ли нам, то ли уже нашему молодому амико, к катеру которого мы как раз причалили. И в его быстрой речи, в широкой улыбке вновь слышатся нам те же три слова.

— О! — подхватывает их наш синеокий. — Массимо Горки гранде, о!..

И снова мы летим, опять первые мчимся над зеркальной гладью, засевая след свой алмазами. Когда же кон-

¹ Великий (итал.).

чается высоченная серая стена берега, за которой солнце уже успело зайти, когда из-за мыса показывается бело-красно-зеленый амфитеатр портового городка, моторист наш протягивает вперед руку — загорелую, в белом, надутым ветром, рукаве — и, указывая на что-то, звонко кричит:

— Массимо Горки! Эрколяно!

И снова смеется, сверкая жемчугом зубов, темной лазурью сияющих радостью глаз, должно быть зачерпнутой там, в Гротта Адзурра...

Слушай, амико!

Хорошо, что ты нам напомнил об этом!.. В нашем с тобой бессилии понять друг друга мы, твои гости, как-то даже забыли, что и ты не можешь не знать одну из чудесных сказок твоей Италии, твоего единственного в мире Капри... Нет, не легенду, не сказку, а сказочно-чудесную правду о том, как вон в той «Эрколяно» — красностенной гостинице на вершине скалы — жил когда-то творец бессмертных сказок жизни.

Значит, не только мы, советские люди, вспомнили здесь сегодня это имя? Смейся, амико, над моей еще все молодой наивностью, — смехом своим подтверди, что не только мы!..

А я все думал в эти дни о тех, которые жили здесь до нас, которые сегодня рассказывают нам об Италии...

Черные, шумливые, как скворцы на пашне, дети неаполитанской бедноты и рядом с ними горы апельсинов, что не для них в лотках излучают солнце, напомнили мне молодую, задушевную улыбку Джанни Родари — любимца и наших детей. Несмотря на все чуть крикливое и пышное богатство своей страны, и он по-горьковски остро видит ее не так уж и веселое сегодня, с нашей верой в победу света смотрит вперед, в завтра.

Поднятые для пролетарского приветствия кулаки, язык взглядов и улыбок — на всех дорогах и улицах, где нам довелось побывать, — говорили об этой вере.

И очень часто приходила мысль: как среди такого богатства красок и звуков, как на такой благодатной земле могла завестись до жути и курьеза дикая гниль — фашизм?

Слушай, амико!

Глядя на тебя, я не мог не думать о том, что такие же, как ты, веселые и работающие парни побывали не только

в Абиссинии, но и на полях моей родины. Может быть, твой отец или старший брат? Может быть, даже тот бойкий синьор, хотя он и помнит Горького, хотя он и очень похож на нашего пастуха?.. Кто из них вернулся, тот говорил и тебе про суровые зимы в далеком краю гранде Массимо, про пламенный гнев его земляков...

Но я, амико, не хочу обращаться к печали и злобе. Я хочу рассказать тебе о тех, которые больше не вернутся под ласковое небо своей Италии.

...Их было двадцать.

На третий год войны эти земляки твои очутились в Белоруссии. На севере ее, там, где за полем, зеленым от картофеля и льна, голубое озеро, а за озером — лес. Сосновый бор дышит горячей живицей, а белая гречиха — нагретым медом, аромат которого ревниво собирают и заботливо разносят пчелы. В клевере, тоже звенящем пчелами, по-детски испуганно прячутся серые тепленькие зайчата, а в редкой ржи цветет шиповник, рассыпает пахучую пыльцу можжевельник, густой отарой лежат валуны, покрытые лишаями седого мха. Белые чайки летают высоко над стрехами хат, а над зеркальной гладью озер планируют давние друзья этих стрех — аисты...

Я впервые так далеко от родных мест. И ты мне простишь, амико, если я вдруг заплачу... Это от радости, что есть на свете она — моя нежная, трудолюбивая, мужественная Беларусь!..

А теперь ты представь себе — хотя бы на миг — вороненую сталь кинжального штыка, направленного в грудь твоей старушки матери... Представь головку твоего щебетливого малыша, которую кто-то разбивает о край твоего же, отцовского, стола...

И ты поймешь тогда, как работающий и кроткий человек превращается в человека страшного, неумолимого в своем справедливом гневе. Этих людей история назвала народными мстителями, а нашу тихую Беларусь — страной классической партизанской войны.

Враг знает, что это значит. И сегодня старые, недобитые гитлеровские генералы, начиненные еще кайзеровской мертвечиной, говорят о нашем непонятном для них «фанатизме». Они, видишь ли, недовольны, им бы выгоднее иначе... Они могли бы потом... да и теперь еще могут подогнать к любому параграфу любого международного

договора смерть наших матерей и наших детей, как стратегически необходимую, а нашу священную месть фашизму — как юридически беспрецедентную...

Есть одна деревенька в нашем краю голубых озер. За этой деревней подымается гора — усеченный конус с венком молодых берез на вершине. Оттуда можно увидеть сразу пять озер. Там ты, амико, вспомнил бы родное море, там ты смеялся бы, глядя в привольную даль. Из-под тех березок видны не только озера, но и поля, и деревни, и ленты дорог, и две блестящие струны железно-дорожных рельсов.

Весной сорок четвертого года в одну из майских ночей, когда малышам так сладко спится у открытого окна, а соловьиные трели заглушают шорох партизанских шагов, в том месте, где струны рельсов вползли на высокую насыпь, послышался взрыв. Один из тех бесчисленных взрывов, которые мы жадно и сдержанно записывали в счет, а враг оплачивал нервами и кровью.

К сожалению, не только своей...

Утром деревню над озером окружили каратели в черных и серо-зеленых мундирах. Были там не одни немцы. На ближайшей станции стояло их изрядное количество, однако на этот раз, для большой операции, сочли это недостаточным. Гитлеровцы роздали винтовки рабочей команде — твоим землякам, которых они недавно, после выхода Италии из войны, превратили в безоружных рабов. С еще большим презрением, подкрепленным теперь ненавистью и отчаянием, таких, как ты, амико, называли они «ферфлюхтер музыкер». Однако с офицерами вашими, недавними партнерами по созданию «новой Европы», они находили общий язык все еще быстро и дружно...

Слушай, амико, как перед строем палачей плачет на руках у седой бабушки светловолосый мальчуган!.. В одной рубашонке, с теплыми ножками, не вовремя поднятый с постели у отворенного окна. Прислушайся к предсмертному гулу, встающему над толпой безоружных людей, осужденных на страшный конец!.. Слышишь команду: «Огонь!» — на которую все двадцать винтовок твоих соотечественников ответили молчанием?.. Слушай, амико, невыразимую тишину, которая скоро воцарится над еще одной братской могилой!..

Итальянцев снова обезоружили. Они не сопротивлялись: не знали, что их ожидает. Приказали им стать на

краю заваленной теплыми трупами ямы. Они подчинились: не верили, что это может произойти...

Теперь над той могилой шумят и играют на солнце листвой белорусские пальмы — березы; вокруг памятника из древнего камня надозерных полей цветут наши цветы, прекрасные в своей сердечной скромности. А в деревнях, открывающихся меж пяти озер, с высокой горы, простые, душевные люди рассказывают о безымянных Двадцати, что отказались стрелять... не захотели ценой невинной крови купить даже возвращение сюда, в свою неповторимую, прекрасную Италию...

Останови свой катер, амиго! Стой, пока и вода успокоится. Почтим их память молчанием.

НАДО СЪЕЗДИТЬ

Грузный, чумазый здоровяк — в обильно смазанных дегтем сапожищах, в пахучем кожухе, только вчера, видно, до красноты натертом свежим кирпичом, — лесник Микола Желудь стоит на рынке у своих саней-розвальней и кричит:

— Здорово, земляк!

Сворачиваю с прохода между распряженных фурманок, лошадиных хвостов и задранных оглобель и, пробираясь среди саней и коней, иду к нему.

Здороваемся. Не знаю, как ему, а мне очень приятно встретиться со старым знакомым, пожать его узловатую и шершавую, как коряга, руку — кажется, силы от нее набираешься. Да и он, видно, рад, так как смеется, черт, оскалив белые крепкие зубы, которыми щедро набит его широкий рот.

— Что? По шкварку приехал? Бери вон мою — полные розвальни сала!..

В санях, на гороховой соломе, лежит во всей своей двенадцатипудовой красе розовая от холода, перехваченная двумя постромками, отставная свиноматка.

— А ты сам что, только дичинку ешь?

Он отвечает мне что-то, смеется, но внимание мое сейчас выключено, я почти не воспринимаю его слов...

Передо мной встает весенний лес, росистая, прохладная майская зорька. Восемь дружных, веселых хлопцев, партизанских разведчиков, и он, лесник Микола, девятый — мы лежим в засаде на кабаньей тропе. Скоро приятное соединится с полезным: затрещат наши автоматы — и вот уже полная фурманка свежины! По этой

тропке они ходят обычно на кормежку — целый выводок с маткой. Микола врать не будет: сам пришел за нами в деревню, где мы тогда стояли. Вокруг так и заливаются в листве соловьи. А нам слышно даже, как бормочет, вылезая из земли, трава... Вот-вот-вот... Вот раздастся наконец топот кабаньих копыт!.. Но тут он, наш проводник, встает.

«Подымайтесь, хлопцы! — грянуло как гром среди ясного неба, — ничего не выйдет».

«Неужто не пойдут? Мерзли столько... полежим еще!»

Но он — неумолимый и всемогущий, как некий лесной бог, — он говорит:

«Браточки мои, что ж это мы делаем? Деревня ведь под боком: поднимем тарарам — что люди подумают?.. Мало, что ли, народ напуган?.. Да пусть они подохнут, тряса их матери, эти кабаны!..»

До нас наконец доходит, о чем он говорит. Ближняя к лесу, расположившаяся над рекой деревня Моховичи совсем недавно пережила ночное нападение фашистских полицаев. Пускай теперь спит спокойно.

И мы идем, опять уже веселые, к Миколовой лесной сторожке, где стоят наши кони...

Сейчас мне хочется вновь, набираясь силы, ближе коснуться этой простой, здоровой души.

— Помнишь, как мы кабанов поджидали?

Добродушная усмешка раздвигает его широкий рот.

— Вот приехал бы теперь! А? Ну, неужто ты и вправду так уж занят?..

— А что — ходят?

— И ходят и в бочке лежат. Недавно одного ухлопал, перед самым рождеством.

— Сколько пудов?

— А черт его вешал! И так никуда не денется!

— Сальце у него... с прослойкой...

— Сало, браток, любимое. И чарочку в придачу... Приезжай, прослоим.

Базара сегодня, как говорится, нету: свиней много, а покупателей — кот наплакал, да и те выжидают, пока продавец смирится на морозе, начнет понемногу сбавлять цену. У Миколы к тому же — «матёра», весьма похожая на супоросную. Не товар. Вот опять один подошел, пощупал, спросил цену, сказал: «Дай боже!..» — и поплелся дальше.

Миколу это не смутило. Словно от мухи, отмахнувшись от покупателя, он продолжает рассказывать:

— Подглядел я, браток, недавно, интересную штуку. Если ты не забыл еще — в Черной Кудерке, неподалеку от Охломеева пожарища. У самой кабаньей тропы — ель с корнем выворочена. Здоровенная. Как-то я иду себе тихонько, смотрю — лиса, трясца ее матери, то с выворотня, то на выворотень, то с выворотня, то на выворотень!.. Цирк!.. Лежу я, гляжу и о ружье позабыл. Что это, думаю, к чему бы? А потом, браток, кабаны. И опять точно меня кто в бок толкает: «Не стреляй!..» Матка впереди идет, а за нею фертики, полосатые все, как окуни. Откуда ни возмись эта самая лиса — хватать последнего поросенка, да на выворотень!.. Хрюкала свинья, хрюкала!.. И на дыбы становилась — не достать! Ушла. А тогда лиса с поросенком убежала...

— И ты не стрелял?

— Поверишь, браток, не стрелял. Потом только пожалел. Интересу много. Где ж ты видел!

— Ну, за волков, верно, хорошую деньгу огребаешь?

— Да кабы они так в руки и давались! Ого! Окружили мы их недавно за Галым болотом — все как положено. И так это славно шел один, трясца его матери, на Сверделка!.. Ты его не знаешь: новый лесник, вместо Маханьковича. Откуда-то из-под самого Воложина приехал. Ружье, браток, новое, а раз — осечка, второй — осечка!.. Сверделок тут... Знаешь, хорошо, что мы подбежали! Схватил ружье за ствол да размахнулся уже, чтоб гвоздануть по сосне! Едва отобрали. За руки, браток, за ноги — не сдержать было! Разошелся — сохрани бог!..

Желудь рассказывает об этом совершенно серьезно. И я невольно представляю себе другого такого же, как он, лесного богатыря. Ведь поди ж ты — еле удержали!

— А вот и он! — обрадовался Микола. — Эй, Степан! Иди сюда! Может, хоть ты мою скоромину купишь.

Осторожно протиснувшись между двумя конскими задами, к нам подошел человек. Не скрипка, а этакий полускрипок. И кожух не пахнет, и сапоги давно дегтем не мазаны. Воротник поднят, наушники у шапки-ушанки наверху не связаны. Худой, небритый, с рыжинкой. Один нос торчит. Увидев этот острый синеватый носик, я

заподозрил, что Сверделок — не фамилия, а прозвище¹. Может, из дому привез, из-под Воложина, а может, здесь уже наши хлопцы наградили.

— Во, трясца матери, здоровила какой! — до ушей осклабился Микола, показывая на Сверделка. — Волчья смерть! Поздоровайся, Степа, с человеком.

Степа подал мне руку. Небольшая, но цепкая, как рачья клешня.

Я еле удержался от смеха, а Микола еще поддает.

— Где там здоровый! — говорит он, как бы возражая кому-то. — Во уже капля под носом висит...

А Степа шмыгает носиком и тонким, «бабьим» голоском отвечает:

— А каплю, видишь, удержать еще могу!

Мы хохочем. Потом беседуем о пуще и жизни, о международной политике... На прощанье лесники просят приехать непременно.

— Хочешь, один, — говорит Микола, — а хочешь, товарищей прихвати. — Ну и, разумеется, как всегда: — Привези гильз, шестнадцатого калибра, и пороху...

— Дрампуль каких-нибудь, на волков, — в тон ему добавляет своим голоском Сверделок. — Чтоб как врезал которому, так чтоб сразу.

Степа прощается со мной и уходит. Хочу идти и я, но Микола придерживает мою руку.

— А ты не думай, — говорит он тише, как-то виновато улыбаясь, — что я тебе о Сверделке в насмешку... Он этих волков нащелкал столько, сколько мы с тобой и в глаза не видели. Газета писала: шестьдесят три. Это, браток, о нем. А как он подвывает, ты бы только слышал! И за приبلудного, и за переярка, и за старого волка, трясца его матери, как заведет — хоть ты на печь беги!.. И вообще он, Степан, хороший человек... Так приезжай, браток, не ленись!..

...Сижу на тягучем, прокуренном собрании... Вспоминаю слова: «Ну, неужто ты и вправду так занят?» Чувствую запах смолы-живицы и овчины, слышу шум сосен, скрип снега под сапогами... Надо съездить!.. Даже прямо сейчас, сразу — не дожидаясь конца очередных разговоров о необходимости глубоко изучать жизнь!..

¹ С в е р д з е л — сверло (белорусск.).

ГОРСТЬ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

МИНИАТЮРЫ

СКРИПКА ПОЕТ

Диву даешься, счастливому диву,— сколько ее, красоты, Ди как это я мог жить, не повидав до сорока пяти... ну, скажем, озера Луковского, с вековыми дубами и серыми крестами на косе, или могучей ласковой реки Горыни?..

Красоту видели мы вначале из окошек «кукурузника», который нас, троих следопытов народного слова, нес над островками полей, над лесами и щедро залитыми нынче болотами Пинщины. Низко летели — знай себе любуйся. Но недолго. Только что поднялся, кажется, наш ПО-2, а уже и садится на поляне у леса трескучею птахой. Представляю — даже и «ноги» наставил навстречу земле, как грач. Сели. Идите, нюхайте доброе жито да бульбу в белом густом цветении. Ты хоть с дороги сверни да полежи ничком!..

Давыд-Городок.

Можно слетать на Марс, вернуться оттуда и застать над Горыню все ту же бабку с удочкой. Стоит, старая, как и стояла сотни лет, спокойно и безразлично. Забрасывает по-бабьи смешно, через голову, поплевывает на червяка, изредка снимает в ведро красноперку...

Много их здесь, рыбаков женского пола, от пяти и до ста, и никого это не удивляет.

Светлая хата над самой рекой. В огороде растут только цветы, которые здесь издавна выращивают на семена. И очень любят, не просто торгуют. «Анютины глазоньки», — растроганно приговаривала тетка над ситом микроскопических семян. Хозяин, толковый и приветливый

мужик, охотно дал нам за сходную плату моторную лодку, послал с нами сына, загорелого девятиклассника.

Так мы смотрели Горынь, а затем Припять. Немного удили, останавливаясь в соблазнительных местах, а больше любовались, с бодрым постукиванием летя по прозрачной и тихой воде.

Все красивое, но белые «гуски»¹ в Волчьем озере, в которое мы вскоре вошли из черноводной, спокойной и только чуть-чуть не через край наполненной Припяти, красивые особенно. На сплошном зеленом настиле их листьев «гуски» — ну, прямо гусиная ферма, большущая, только без гогота. И мы пошли здесь без постукивания, на веслах, медлительно раздвигая лодкой зелено-белый тянучий настил. Вблизи цветы лилий напоминали мне живое еще с детства представление: разрезанное крутое яйцо... Нет, на этот раз, может, от дум про бомбы и детей, от тяжелых дум, которыми закончился мой вчерашний день, — «гуски» казались мне сложенными ладошками с весело растопыренными пальцами-лепестками...

А сверху — роскошное солнце и белые облака. Плывут вольготно — словно и не плывут. И высоко-высоко!..

Потом, под вечер, нас мотал по колдобинам автобус. Будто специально нанятый, чтобы так мотать. Но все равно мы любовались. И полем по сторонам дороги, и хатами под грузом аистовых гнезд, и солнечным лесом...

Душою нашей пассажирской компании была разбитная, еще не старая цыганка. Рассказывала, хорошо по-белорусски, о самом большом счастье своей бродячей молодости, — как она, сидя рядом с отцом на возу, проехала с целым табором, дорогие начальники, через всю Варшаву!..

Следом за воспоминаниями она пустилась в теорию — начала объяснять нам их тягу к кочевью. Говоря, время от времени покрикивала на Герасима, своего босоногого мальчика, который все лез и лез, высовывался из окна.

Потом в автобусе пела скрипка.

Играл старый цыган. Без шапки, лысый, в солдатском галифе и тяжелых с виду кирзовых сапогах. Мы догнали его на выезде из очередной деревни, шофер сам остановил, а «батька» сразу, только устроившись на заднем сиденье, начал играть. За проезд. По привычке.

¹ Водяные лилии.

Она и пела, и плакала, и рассыпалась смехом, его скрипка. И это было необычно до самой настоящей радости — там, в глухом полесском лесу, на беспокойной и пыльной дороге!..

Да тут один из нас ошибся... Просто не знал, что выйдет из этого — взял свой фотоаппарат и снял скрипача. Раз. Затем для верности еще раз.

И скрипка смолкла.

Цыган и цыганка заговорили по-своему, громко и непонятно. Затем старик положил скрипку в футляр, взял мешок, подошел к шоферу, оглянулся на нас и потрогал его за плечо. Автобус остановился. Музыкант сошел, прямо в лесу, и, сходя, снова оглянулся...

Цыганка рассказала нам, что жинку этого человека в войну расстреляли фашисты. Сам он скрывался с сынишкой. После войны малыша забрали в детский дом. А «батька» ходит. Не просто ходит, а вот уже восемнадцать лет удирает от тех, которые убили жену и его ищут, чтобы убить... По фотоаппарату он «догадался», что и мы тоже от тех, кто ищет его, и потому вот убежал...

— Несчастный человек, начальнички... А слышали, как он играет?.. А как он пляшет наши цыганские пляски!.. Пишет!.. Герасим, не высовывайся, шалопай,— зацепит за голову да вытянет!..

В лесу — солнце и тени. Малый автобус прыгает по корневищам и колдобинам.

А скрипка поет. Душевно и печально. И весело вроде, а очень тоскливо!..

Хоть музыкант с мешком за плечами и с футляром под мышкой идет теперь где-то далеко позади.

Такой бесприютный в солнечном мире.

КАРЬЕРА

Детина, которого сызмалу называли, для смеха, Петр Петрович, в буржуазной Польше пять лет сидел в тюрьме «за коммуны», во время войны был в партизанах, а после освобождения — с очень легкой руки местного начальства — взошел на тернистую стезю руководящей работы.



Почти неграмотного парня назначили сначала председателем районной конторы госбанка, потом заведующим заготовительной конторой, потом председателем сельсовета, и, наконец, наиболее жестокое решение — председатель сельпо.

Руководя банком, Петр Петрович только подписывал бумажки, какие бы ни подсовывали, очень туманно представляя себе значение большинства документов.

— Что ты мне тут ярундовину городишь? — гремел он на бухгалтера. — Я подписал — все! А мало тебе одного разу — в другой подпишу!..

В заготовительной конторе он сам, и очень охотно, бывал подчас грузчиком, помогал своим хлопцам.

Будучи председателем сельсовета, побил одного депутата. Слушали на бюро райкома.

— Ну, я ж все-таки его начальник, — оправдывался Петр Петрович. — Все мы уже собрались, сидим, ждем его. Раз послал за ним, в другой — не идет. Сам пошел. Сидит, гад, да затирку возит. Ну, взял я ту миску, да и надел ему на голову. Подумаешь, так уже оскорбил!..

В сельпо Петр Петрович очень быстро измазался. Не так сам, как помощнички помогли.

И вот он умер где-то в лагере. Подпольщик, партизан, да и парень, наконец, неплохой, если бы его не подымали без меры и надобности...

А мать, которой «бог смерти жалеет», весь век мученица при таком сыне, идет теперь за двадцать километров в райцентр, чтобы, может, пенсию какую за Петра дали...

«...МОЖНО РАССКАЗЫВАТЬ БЕСКОНЕЧНО»

1

У старухи колхозницы отняло речь. Прилетел самолет ученый сын, два дня сидел над нею, и только на третий день она пришла в себя. И первое, что произнесла, — спросила:

— А пообедал ли, сынок?..

Чего ему — пожилому мужчине, солдату. — стоило, чтобы не заплакать!..

В глухой деревеньке белорусского Полесья остановились ковпаковцы. Один из них зашел в крайнюю хату и попросил бабулю постирать ему запасную пару белья.

А тут вдруг — тревога. Ушли — как пришли.

На третий день один из отрядов, отдохавший в лесу после боя, задержал старуху. С узелком повидавшего вида бельишка, постиранного, покатанного, заплатанного руками матери. Два дня искала она в ближнем и дальнем лесу, под музыку далеких и близких разрывов, «того пригожего да веселого, что командует целым отрядом, а зовется, дай бог память, Платоном...».

И вот нашла, отдала и пошла домой. С одним только чувством, с одной радостью: «Пусть на здоровьечко носит!»

Славный парень, хороший поэт, один из моих украинских друзей, он рассказал мне об этом в минуты одной нашей несуетной встречи.

3

Множество остриженных голов, пытливых глаз... Фабзайцы.

Женщина, по виду старая учительница, говорит с трибуны:

— Моя девочка закрыла своей грудью амбразуру вражеского дота...

Сколько она когда-то беспокоилась о здоровье этой нежной детской грудки!..

А теперь вот говорит спокойно:

— Она поступила так, как поступил бы каждый советский человек... Учитесь, дети, будьте настоящими патриотами...

После выступления женщина надела пальто, вежливо простилась с организаторами встречи и ушла. Чтоб где-то снова думать о своей девочке, которая...

«Вот он, настоящий героизм!..» — подумал я.

Потом, в этом же году, еще и еще увидел ее на трибуне, услышал ее тихие, ровные слова, и... стало больно...

Захотелось подойти к ней и, чтобы не слышали, сказать:

— Пойдем домой, мама. Не надо. Мы сами расскажем об этом...

Старуха шла по обочине. Стежкой под вербами. Радуясь холодку.

Мы стояли на повороте в деревню, у совхозных мастерских. Уже воды напились, со знакомым поговорили — и можно было ехать. Но тут я заметил старуху, узнал.

Я хорошо знаю ее. Хорошо знал и сына, который не вернулся с войны. Может, и сейчас она идет из местечка, получив очередную долю пенсии за него? Рубли, которые каждый месяц, год за годом, напоминают ей, что сынок был один... Дочек было трое. Одна умерла тоже в войну. Удирала от полицаев: устраивали облаву на молодежь, чтобы вывезти в неметчину. Поудирали почти все, а ее Маня промерзла где-то в овражке, — осень была, а они повывлетали в одних платицах, — пометалась несколько дней в жару и померла. Другая дочка... Об этом толковала недавно вся округа. Жутко подумать — девичья шея и... бритва... Сама себя. И неизвестно — отчего... Муж старухи умер так давно, что боль отболела и забылась. Притупилась уже боль и по Мане, даже — по сыну. И сил поубавилось. А тут — такое в хату!..

Что мне сказать старухе?.. Я не виделся с нею после этой последней беды. Неужели обойдусь только тем, что поздороваюсь да подвезу?..

Из глубины своих мук и горьких раздумий она могла бы, кажется, должна бы сказать что-то необычное, очень нужное...

Но она попросила меня «минуточку подождать», зашла в сельмаг, не спеша, развязала узелок платочка, достала копейки и попросила продавщицу отвесить ей двести граммов вон тех подушечек.

— И как же это я, тетеря старая, шла, шла и забыла взять в местечке?..

Ведь дома есть где-то внучек и внучка, дети младшей замужней дочери.

Когда мы подъедем к их хате, малыши заметят бабулю, и закричат, и помчатся от радости к ее немощным уже, но таким ласковым рукам.

Ну как же тогда без конфетки?..

ВСТУПЛЕНИЕ В РЕКВИЕМ

Сентябрь шестидесятого года.

...Сколько может перетерпеть человек?..

Пять лет панской тюрьмы, побег в СССР, где ему, чистому сердцем парню, дают двадцать пять без права переписки как... польскому шпиону!..

А теперь, когда человек вернулся после девятнадцати лет заключения, поставил хату, женился, нажил сына — теперь он на ногах помирает от рака...

И весь океан его незаслуженной обиды, и вся его, несмотря на эту обиду, светлая вера в родной Советский строй, весь смысл его переживаний, дум — «нетипичное явление», о чем мы будем молчать... «для общей пользы». И неприятна для нас сама его жизнь, как напоминание, как досадное напоминание о великой обиде, большой боли, незаслуженно нанесенной хорошему, невинному человеку, как напоминание о большой «ошибке» — не сотую и не тысячную долю того явления, что зашифровывается датой «1937» или понятием «культ личности».

Правда, суровая, горькая правда о том уже сказана.

Придет и великий художник, который скажет эту правду языком образов,— опять же по-настоящему,— для общей пользы.

А между тем, будь на то моя воля, так я бы этим парням и девушкам, что без времени стали стариками и старухами, надломленными жизнью, я бы им давал высокий орден, как героям,— за их веру, не утраченную в нечеловеческих испытаниях.

Так думалось не раз на протяжении последних лет, так думалось в прошлое воскресенье, дома, в деревне, когда он, Микола,— в сумерки, после не первой нашей беседы, на лавочке перед палисадником,— поехал домой на велосипеде, повез на раме своего застенчивого мальчика.

Там, дома, мальчик этот, напившись парного молока, заснет; молодая хозяйка пойдет в клуб или будет тихонько всхлипывать под одеялом; а сам он, Микола, будет и дальше помаленьку — в бессоннице, в горьких думах — помирать...

Июнь шестьдесят первого.

...Жаркий, душный полдень. Шел мимо новой Миколиной хаты — и, как ни страшно, зашел.

Просидел с ним, у постели его, часа два. Видать, последний раз...

Его рассказы о лагерях.

Думы «о тайнах вечности и гроба»...

Страшная трагедия, горький скепсис и светлый разум — все это скоро исчезнет. На диком кладбище, на взгорке, эти кости, обтянутые кожей, превратятся в землю. Навсегда. И не страшно. Мне, может, потому, что не очень я представляю себя на его месте. А он говорит, что от боли, от жутких мук этого года утратил уже всякий вкус ко всему и хочется смерти, хотел бы даже покончить с собой, только бы не в петле...

А в чистой новой хате — солнце, смолистые стены, заплаканная молодница, румяный, замурзанный мальчик, который все ноет возле папы, трется, как котенок и... не плачет.

А на дворе пахнет только что скошенным клевером, пылят за гумнами грузовики с торфом, роскошествует в мареве молодое жито...

Июль шестьдесят второго.

...С сыном и женой сидим на зеленой, душистой обочине полевой дороги, между пшеницей и житом.

Счастливое щебетание жаворонков, первое для меня в этом году «пить-полоть!», идилличное мычанье коровы, человеческие голоса с недалекого луга и ленивый лай собаки из села...

Опять думаю, оберегая эти мысли, не делясь ими ни с кем, о Миколе, который умер здесь, пока я ездил по Дальнему Востоку, — о том, как написать ему достойный реквием...

О ЛИЧНОМ

Обедал в ресторане гостиницы за одним столом с молодой, скромной парой рабочих.

Он «выполняет задание» в Лиепаве, а она вот приехала к нему с трехмесячной дочуркой в гости. Он выехал навстречу, встретились здесь, в Риге, ждут лиепайского поезда. Зашли пообедать, и с ребенком ее в ресторан не пустили...

Что ж, положили ребенка в вестибюле, на диване под фикусами, доверив его старенькому швейцару-латышу.

Мать — в простеньком платице, блондинка, с тонкими чертами лица и следами детскости в этих чертах. Видать, веселая была, любила взять от жизни, а теперь отяжелела, подурнела временно, однако не отдаст своего нового счастья за прошлые радости.

Отец — черный, усталый, незаметный с виду работяга, который души не чает от счастья встречи, знакомства с дочкой.

Шептались они, шептались — и он взял все-таки сто граммов и бутылку пива.

— Испортился я у тебя, — сказал с хорошей русской сердечностью, с улыбкой, о которой писали Толстой и Чехов.

Отец выпил водки, а мать пригубила пива. И начали есть — просто, солидно, заслуженно, как едят люди труда.

Какой незаметной, обычной бывает со стороны — на фоне общего — эта красивая личная радость, личное счастье!..

РОЗЫ И ЯБЛОКИ

Весна запаздывала. Листвы и цветов ждали долго, даже здесь, на юге. И потому, когда у самой горной дорожки зацвела наконец японская роза, многим хотелось остановиться под этим деревцем и постоять.

Цветы японской розы маленькие. Повиснет на нераскрытом бутончике дождевая капля — обе почти одной величины, обе розовые в раннем солнце.

Когда я, подымаясь в горы или возвращаясь в город, останавливался на хрусткой дорожке и любовался бесчисленностью этих цветков, они мне казались детьми больших, настоящих роз.

И еще. Сквозь ветви и цветы этого райского дерева очень хорошо было любоваться далеким Эльбрусом — ненатурально и удивительно, радостно белым.

Во множестве цветов торжественно и озабоченно звенело не меньшее множество пчел. Пригревало долгожданное солнце. Сверху пели жаворонки, в деревьях

игриво перекликались зяблики. В солнце таяла, как невидимый мед, душистость новой весны.

А у дорожки — символом вечного обновления — стояло юное, никем не тронутое деревцо.

Но потом здесь прошел один «больной»...

Я не видел его у деревца, он встретился мне шагов на двадцать выше.

Толстый, до пояса голый, в полосатых пижамных штанах, розовенький от первого загара, заплывший жирным потом самодовольного здоровья, — он нес в зубах только что обломанную ветку нашей розы...

Она ему тоже понравилась. И он ее вскоре бросит под ноги...

В памяти моей сама по себе всплыла далекая картина. Солнце сквозь стекло. Румяные пирамиды яблок. Один из павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Под стеклом, в солнце, в душистости ходили люди. Много людей — со всех концов страны, из-за границы. Взрослые, дети.

И только один протянул к пирамиде руку.

Младший лейтенант Адам взял большое яблоко и дал его своей, такой же молоденькой Еве. Ева с игривой жадностью впилась в яблоко белыми, недавно такими красивыми в смехе, зубами, а к Адаму подошла старушка, которая тихо, неслыханно дежурила у дверей. Она его срамила, как взрослого, но еще не самостоятельного внука, а парень, вдруг вспотевший и красный, норовисто и неловко оправдывался:

— Ну что вам, яблока жалко? Одного только яблока?... Одного?..

За время, которое прошло с тех пор, я возмужал еще на десять лет. Но и сегодня я понимаю того Адама в первом золоте погон, рядом с красивой, моденькой и такой же наивной Евой. Понимаю, ибо сам помню, как это можно счастливо, бесконечно счастливо глупеть от чувств...

А вот этого, голого, толстого, с веткой розы в зубах, я не хочу понимать. Он мне видится сытым, ленивым котом, изо рта у которого обрывком шнурка висит хвост недоеденной мыши.

ЗАВЕТНОЕ

С семи до девяти ходил по просекам и стежкам, искал фиалки, рвал подснежники. Домой.

Утренний пересвист зябликов и соловьев. Растерянная, что ли, кукушкина печаль. Высоко над лесом — сдержанно-радостный гул самолета. Трактор — ближе, словно бы даже вот-вот за деревьями. Издали, от жилья — собачий незлобивый лай...

Как дымом родным, как ароматом покосов, дохнуло детством, поэзией...

И неужели я уйду, не описав этого как есть, не нанизав на строки все, что было моей радостью, моим слиянием с природой, моей молитвой ее красоте?..

ЭТЮД

Тихая речка в знойной донской станице. Садится солище — где-то за высоченным камышом.

Лазим с бреднем по прохладной, мутной воде, рая поги о потайные ракушки и тычки.

Рыбацкие «пристани», стежки-проемы в камышах, где на рассвете, подостлав охапку сена или куртку, сидят над поплавками местные любители тихих и терпеливых переживаний. На день проемы позаложены колючим терновым лозьем. Доступ в огороды закрыт; гуси и утки гомонят на воде, не очень опасаясь нас.

Мы остановились у зарослей — передохнуть перед новым, может, бог даст, щедрейшим заходом.

И вот на «пристань», на противоположном светлом берегу, вышла с ведрами молодая казачка.

Для нее это — просто работа; она, высоко подоткнувшись, поливает рассаду.

А нам — как подарок какой или чудо — засветила против заката роскошно солнечными, стройными ногами.

АХАЛИ-ГАГРА

Теснины с каменистыми, сухими руслами. Горная дорога, обочь которой то бамбук, то гранатовые деревья с красными и упругими, как из воска, цветами, то дубы и грабы, то кусты ежевики. Каменные домики на высоких фундаментах. Удивительно маленькие ульи. Ослик стоит на склоне горы, никак не может придумать, где бы это напиться... Корова позвякивает жестяным ржавым колокольцем. Высвистывают дрозды. Козы пасутся с мешочками на вымени, чтобы козлята не сосали их без ведома хозяек. Старый абхазец, пастух в чувяках, наподобие сырмятных постол наших белорусских пастухов. Босоногие мальчуганы в тюбетейках. Загорелые, обязательно усатые, мужчины волоком тащат на волах с горы толстые, гремучие бревна.

Радуле Стийенский, поэт не только за рабочим столом, рассказывает мне про свою далекую Черногорию. Интересный человек — с его приятно коверканным русским языком, с его молодостью в шестьдесят лет, с его умным юмором и знанием гор.

Сердечная поэзия далеких мальчишеских лет!.. Как он, Радуле, когда-то пробивал броню черепашкам, связывал их, запрягал в маленькую сошку и «пахал». Как пахнет оттуда пастушья еда: овечий сыр, лепешка и дикий чеснок...

Мы идем по каменистой, узкой дороге, опираясь на длинные бамбуковые посохи.

Далеко внизу — море с каемкой пены у берега.

Зеленые вершины гор, обмакнутые снизу в реденький студень облаков,— все ближе к нам, а все же — высоко!..

— Добрый день! — с естественной приязнью к людям здоровается мой спутник со встречной абхазской старушкой. Засушенная, легкая, вся в черном. И он вполне серьезно спрашивает у нее:

— Скажите, а далеко ли еще до Царьграда?..

КОМУ ПОВЕМ?..

Ветер будет куда-то гнать облака, месяц — прятаться за соснами, когда и меня уже не будет. И кто-то другой станет думать, что так и ему суждено, видно, сомневаться, горько тужить и плакать без слез, и часто искать опоры, и горячо любить — жизнь, добро, людей, поэзию...

Так думается в поле за лесной деревушкой, над Вилией, где в пятнадцатом году была передовая — кровь, тоска, окопные вши... Окопы не затянулись, хоть поросли сосняком.

Здесь и пишу, стоя на песчаной дороге, перед вечерней зарей, которая все еще никак не погаснет, под гулом высокого-высокого самолета. Пишу в полутемноте, наугад, чтобы не откладывать и этих мыслей-переживаний, как многое, что я почему-то откладываю...

СЕНТЯБРЬ

До восхода солнца казалось, что мир, этот лоскуток земли, где стоит наша деревня, наше поле и наше кладбище, — весь покрыт стеклянным матовым колпаком. Потом солнце пробилось сквозь мокрую муть, заиграло на позолоченных вершинах кленов, лип и берез, на спелых гроздьях рябин, приголубило грустные, уже безголовые подсолнухи, розовые цветы семенного табака, жесткие, саблеобразные листья кукурузы, последние цветы в палисадниках и капусту на грядках...

В голубятнях под стрехами проснулись, встрепенулись голубята. С любопытством и боязнью лезут выглянуть на двор, тычась вперед милыми головками.

Проворно шлепая треугольными лапами по густой, низко погрызенной траве, пестрые, сытые утки трусцой потянулись на выгон, к речке. За ними — гуси. Эти не спешат. О чем-то дружно гомоня, пошли помаленьку обочинами и по самой дороге, разворошив осаженную росую пыль.

Старый калека-портной, который выгнал их со двора, стоит, усмехается про себя, понимая, видать, ихнюю речь.

На окраинах неба, уже никак не в силах заслонить окоем, стоят занавесы прозрачной дымки.

Какое утро для сева!.. Так и хочется стать на колени — с коробом около мешка с зерном — в пушистой, теплой пахоте, которая хорошо подошла, как подходит в квашне удачно сотворенный и замешанный хлеб!..

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

От деревни в долине белое поле подымается на запад исподволь — выше, выше, вплоть до самых Балкан.

Такое громкое название дали этим пригоркам. Видать, в прошлом столетии, когда наши деды вернулись из-под Плевны...

Думаю об этом, идя по искристому, хрусткому снежному сплошняку.

Местами, очень уж редко, стоят старые, спокон веку, терпеливые дикие груши.

Кусты шиповника встречаются на склонах оврагов да на взлобках, никогда не паханных, похожих на огромные ковриги хлеба. На колючих серебряных ветвях все еще держатся, также заиндевелые, оранжевые, сморщенные ягоды. Как светлый сон, вспоминается здесь, возле них, мотыльковая розовость лепестков, пчелиный гуд и ласковое солнце... Вспоминаются строчки:

О Беларусь, о мой шиповник!..

Волчий след. Серый пошел над обрывом и, выбрав место, спустился в овраг, увязая на глубоком незатверделом снегу. На дне оврага зеленовато-сиими пятнами проглядывает совсем свежий, еще не побежденный снегом ледок неукротенной криницы.

Высоко на юге — пока что неспелая, бледная краюшка месяца.

Сначала, пока идешь, только как будто ощущаешь его присутствие над собой, а потом так и не выдержишь, оглянешься.

С какой-то детской приятностью.

ВСТРЕЧА

Большая, мощеная площадь в местечке. Позднее утро. Жара. Репродуктор орет со столба — передает бесконечный очерк о жатве. А слушать некому. Колхозники в поле. Малыши — кто на пастьбе, кто на озере. Только три курицы ходят по площади, да около крыльца закрытого сельмага, где несколько раз в день останавливается автобус, прямо на солнцепеке сидит дедок.

Долго сидит, спешить некуда...

Потом сюда подходит другой, тоже из села, ехать куда-то собрался. Седой, сгорбленный, с костылем.

— Сдается, Тóдор Яцына? Здоров, коли так!

Тот, что сидит, пригляделся.

— Ты, Стасевич? А бо-о-о!.. Садись, братка, да хоть как люди поговорим...

Старики здороваются за руку, садятся рядом и начинают выяснять, сколько ж это лет они не виделись. Что-то около этого — или все пятнадцать, или только четырнадцать...

Еще и до половины темы не добрались, когда на площадь, будто неожиданно, выкатил и остановился горячий, запыленный автобус.

— Поставы? Это мой! А ты, браток, куда?

— Я в Вильню. Мой часа через два, а то и больше...

— Ну, так бывай, Яцына! Даст бог, встретимся — поговорим.

Гул мотора — ушел. Пыль медленно осела. На площади снова тишина. Только очерк по радио... Он так же, кажется, рассчитан на столетие.

ПРИЧУДА

В правлении колхоза, где решаются жизненно-важные дела, где сидят в шапках, плюют на пол, ругаются самым отборным матом, — живет белый котенок.

Пожилой тихий человек, счетовод, ежедневно с хозяйской аккуратностью кормит котенка молоком, которое приносит из дому и ставит в шкафу с бумагами.

Котенок садится к нему на стол и время от времени пододвигает лапкой костяшки счетов, думая, что хозяин его, считая, — тоже играет.

ПО ФОРМЕ

В переполненном сельском клубе — товарищеский суд: поймали самогонщика.

Худой носатый дядька, по прозвищу Албанец, сидит сбоку, в качестве подсудимого. Председатель суда — пьяница бригадир; члены суда — собутыльники подсудимого — участковый и бухгалтер.

— Ответчик, вы доверяете составу суда?

Кивок головой и невразумительное:

— Угу.

В зале — бурный взрыв хохота.

Потом бухгалтер просит:

— Товарищ председатель суда, можно задать ответчику вопрос?

— Можно, — с не меньшей важностью отвечает бригадир.

— Ответчик Пилипович, — торжественно обращается бухгалтер к Албанцу, — скажите суду, где вы взяли аппарат?

В зале — снова взрыв хохота. Кто слышал, а кто и сам видел, как позавчера ответчик с членом суда, этим самым бухгалтером, отвозили на хутор всю самогонную технику.

Приговор: Пилиповичу — наивысшая мера — десять рублей штрафа.

Обедали у Албанца.

Суд — по форме.

УЛЫБКА

Только что отшумела гроза, и по деревенской улице бегут веселые мутные ручейки.

Я стою у ворот отцовского двора, и мне очень хочется снять свои модные туфли, пройтись по быстрой дождевой воде, помесить ногами мягкую, пухлую грязь...

Из того, что я этого еще не сделал, а только раздумываю, видно, что я давно уже не маленький. Но я почему-то не чувствую ни груза годов, ни неловкости за свое поведение: я просто радуюсь, может быть даже не меньше, чем радуются в этих случаях малыши.

На западе из-за туч выглянуло солнце.

С пригорка вниз по улице идет белый, совершенно сухой и чистый бычок, а на бычке сидит девочка лет пяти-шести, тоже не попавшая под дождь.

Бычок идет медленно, даже солидно, упрямо и гордо выставив свой широкий, породистый лоб с тупыми серыми рожками.

Девочка сидит на бычке не так, как мальчишки, а боком, спиной ко мне, как будто нарочно спрятав свое лицо, наверно счастливое и забавно-серьезное, свои, конечно же, загорелые ножки.

Солнце пронизывает мокрую, блестящую листву берез, и на неглубокой грязи, недавно истоптанной копытами коров, на шумливой воде и на серых штакетах за ручейком лежит подвижная сетка тени. Когда бычок со своей амазонкой входит в эту тень, по ним играют солнечные зайчики.

На востоке, куда ушла, еще не все отдавшая, темно-синяя туча, горит красавица радуга. Под огромную арку ее уходит деревенская улица, а по улице, точно в страну сказочной радости, едет светлоголовая девчушка, шаловливо постукивая бычка пятками по боку.

Немного поодаль бредет следом отец девочки, тоже босой, идет и улыбается, думая, видно, о том, что дитя — всегда дитя, всегда радость, будь то парень или девка.

Но тут малышка проехала мимо меня и там, где шумливый пенистый ручеек разлился от плетня до середины улицы, начала вдруг съезжать с хребта своего бычка и, покуда я собрался бежать ей на помощь, съехала и шлепнулась, села в мелкую воду!..

Пока мы с отцом девочки подбежали туда, успело произойти самое занятное, самое веселое в этой истории.

Белый бычок пригнул лобастую голову, приблизил теплую щекочущую морду к лицу своей подружки и понюхал его, а девочка протянула загорелые руки, ухватилась за рога бычка, откинула назад светловолосую голову и, смеясь, встала.

— Ой, таточка! — говорила она и, не в силах закончить, звонко смеялась и повторяла опять: — Ой, таточка! Ой!..

И мы смеялись все трое, — так весело, так неповторимо молодо, что я не выдержал и... проснулся.

МЫ С НИМ ДРУЗЬЯ

В выходные дни, с двенадцати до двух, детей в больнице посещают родные.

Лев Аркадьевич Миленский, по профессии неуловимый хозяйственник, а по натуре сангвиник с отличным аппетитом, пришел в детское отделение к племяннице Раечке.

Она лежала на первой от входа кровати, в полосатой фланелевой пижамке, подстриженная под мальчика, черненькая, с живыми карими глазами.

— Ну, здравствуй! — сказал товарищ Миленский, погладив малышку по голове. — Ты одна в палате, а все девочки гуляют? Ты думала, если не может к тебе сегодня прийти мама, так это уже все? А ты забыла, что у тебя есть еще и дядя Лева?

Подстриженное под мальчика четырехлетнее существо, приподнявшись на локте, молча смотрело на гостя.

— А вообще твой дядя молодец, — говорил он громко на всю палату, с утиным сытым похрипыванием. — Он живет в Борисове и думает, что это не семьдесят километров от Минска, а семьсот и что у него нет служебной машины, а только балагульская лошадь и повозка, как у твоего, Раечка, дедушки, который был мой папа. И если дядя Лева повидает свою сестру и племянницу раз в год, он уже считает, что это все, что он хороший человек. И Раечка теперь думает — зачем ей такой дядя?.. Думаешь так? Ты молчишь и не говоришь, что ты думаешь. Ну, откроем в таком случае наш портфель и давай опять дружить. Вот это мандаринки. Если их теперь каждый может легко достать, так они, конечно, совсем невкусные. Ну, а погляди сюда!..

Там были шоколадные конфеты в разных обертках и коробка печенья.

— Ну, ты будешь дружить с дядей Левой?

Карие глазки засветились лукавством. Головка кивнула — ладно.

— И отлично! — обрадовался дядя. — Ты приподымись. Вот так. И ешь. А я посижу. И мы поговорим.

Белые зубки надкусили солнечную кожуру, а пальчики ловко принялись ее сдирать, открывая терпко-сладкие душистые дольки.

— Ешь на здоровье! — широко улыбнулся румяный, полный, чисто выбритый дядя. — Вот и «Мишка на севере», и «Весна», и «Ласточка», и печенье «Песочное»... Ну, а почему ты молчишь? Вкусно?

— Угу, — ответил полный ротик.

— Ну, а спасибо кто дяде Лева скажет?

— Спасибо.

— На здоровье. Расти большая и умная. Можно с дядей Левой дружить? Хе-хе-хе!..

Но тут приоткрылась дверь из коридора, заглянуло женское лицо, послышался голос:

— Товарищ Миленький!

— Ну? — оглянулся дядя Лева.

— Когда мы с вами ждали лифта, вы говорили, что идете к племяннице Раечке.

— Ну, а если вы поднялись первая, а я поехал следующим лифтом, так я, извините, по-вашему, ребенок, сам не попаду?

— Ой, товарищ Миленький, бросьте шутить! Это палата — седьмая, а Раечка сидит в шестой палате и плачет...

Дядя Лева закрыл рот, поджал губы и уставился на фигурку, сидевшую на кровати и ловко расправлявшуюся со второй или третьей мандаринкой. На одеяле перед ней были рассыпаны конфеты в разноцветных бумажках и лежала раскрытая коробка печенья.

— Послушай! Ты — не Раечка?

— Нет, дядя, я Юрка.

— Ну, а почему ты ешь не свои мандарины?

— Вы, дядя, мне дали. И я сказал спасибо.

— И ты сказал спасибо? А что мне скажет Раечка? Она мне скажет: ты, дядя, старый дурак! Это давай сюда. И это давай... А это... Ну, твое счастье!..

Товарищ Миленький сгреб опытной рукой все богатства в свой испытанный портфель хозяйственника и, не сказав больше ни слова, вышел из палаты.

Юрка опять остался один. Он съел последнюю дольку мандарина и только хотел заскучать, что вот не идут и не идут...

Но тут отворилась дверь и — урра! — вошли мама с папой.

Первая новость, которую он им сообщил, опять с аппетитом уплетая всякие вкусные вещи, был, конечно, дядя

дя Лева. Он и веселый, он и добрый, он и миленький, он и еще придет!..

— Дудки, браток! — смеялся папа. — Дважды так не ошибаются. Твой дядя больше не придет.

Но сын стоял на своем:

— Нет, папа, придет. Мы с ним друзья теперь! Он сам сказал: «Давай дружить». Сам сказал, да не придет?..

И Юрочка верил в это долго, пока не поправился.

ЧУДЕСА В ХАТЕНКЕ

В предвесеннюю пору — где ледок, где грязный снег, где лужа, где голая земля. Снег под ногами держится, а ступишь на землю — и сразу зачерпнешь лаптем грязи...

Но небо уже веселое. С просветами в тучах, хотя и холодное.

Два мальчика идут с мамой из одной деревни в другую, по полевой дороге.

Мать несет под мышкой целую штуку пестряди, завернутую в платок. Высокая и крепкая, она идет молча, широко и тяговито, словно в ярме своей вдовьей доли. Та самая мать, что так недавно, полгода назад, когда мертвый отец лежал еще не в гробу, а на кровати, и в доме были только она да ребята, — металась от стола к двери и, истошно голося, рвала на себе волосы. Одна, лицом к лицу со своим необъятным, бездонным горем... Да вот живет, хозяйствует. Только и радости вдовьей — дети. Андрей и Мишка. Не скажешь, что хуже, чем у добрых людей. И учатся оба, и между собой дружны. Немного, правда, озорные, надо приглядывать...

— Вы уж хоть там, у крестного, не скальтесь зря, — говорит она, не оглядываясь. — Надо хорошо себя вести, чтоб все хвалили.

— Что ж мы, собаки — скалиться? — отвечает старший, Андрей.

— Ну ты, гляди у меня! От тебя небось все свечки и загораются.

Крестный Андрея, дядька Макар, портной. Малень-

кий, горбатенький, с большой головой. Суконные штаны — широченные, прямо сборками пошли. В высоких валенках, даже ноги не гнутся.

Только они вошли в хату, встал из-за машины, запричитал:

— Лизаветка Ивановна, кума! Андрейка, крестничек мой ненаглядный! Мишка! Сиротки мои, чем же вас потчевать, чем встретить?..

И — эх! — заковылял, засуетился по хате. Короб с картошкой пихнул валенком под нары, тряпье, что лежало на лавке, смял и швырнул в запечек. А хата, хата у него! — темная, низкая, земляной пол весь в ямах...

— Да брось ты растабарывать, Макар. Садись-ка да шей.

— А как же ты, Лизаветка, — вот ведь что-то принесла?

— Успеется. Дай хоть отдышаться.

— Посиди, дорогая, посиди. Согрей беседой сердечко. Ведь и в песне поется: «Ах, боже мой, одинока я, пропадает вся работа моя!...»

Крестный сел за машину, зашевелились огромные валенки на решетке, и вот — первое чудо его бедной хатенки — могучий «Зингер» заговорил.

Мишка сперва, застыв от любопытства, следил, как скачет-играет блестящий шпенек, как вертится белая шпулька. А потом — все одно и то же, одно и то же... И он начал помаленьку ныть:

— Мама, пойдем домой! Мама...

— Успеешь. Идохнуть не дадите.

— Им скучно, Лизаветка. Вот я им сейчас чего-то дам.

Крестный поставил под балкой табуретку и с трудом на нее взобрался: сперва коленями, а потом уж... Хата у него старинная: поперек балок положена еще одна — матица. Крестный сунул руку за матицу и достал оттуда второе чудо своей хаты — книгу. Обил с нее пыль о свои широченные штаны, обобрал рукой паутину, протянул стоявшему ближе Андрею.

— Еще в городе мне подарили. Хозяин, у которого я учился шить. Детей мне господь не дает, вот она тут и лежит.

А в книге той картинки — ну, как живые!.. На первой странице — землянка, капустные грядки, а на пороге

землянки стоит ежик на задних лапках, в синей жилетке, в красных штанах с подтяжками, в лапоточках. Покуривает трубку, глядит на грядки и вот-вот скажет: «П-пых!»

— Глянь,— шепнул Мишке Андрей,— крестный!..

И оба они так и захлебнулись тихим смехом.

— Ты, Андрейка, читай. Ты же старший. Это хорошая книжка. «Жил да был дядя Еж...»

А они хохочут, как дурачки.

Потом приступили к делу.

Крестный развернул на столе посконь и обеими руками погладил ее.

— Ровненькая, гладенькая! Шелк! Золотые ручки у тебя, кумочка...

— Ну, меряй уж, Макар. Час не ранний.

— И пообедаете, гостеньки дорогие, у меня. Фасоля с картоплей — чем богат, тем и рад. Принцессы моей нету: пошла вчера к теще. Сам наварил.

Он взял мятую тетрадь, раскрыл ее и, щурясь, стал выводить тупым карандашом:

ЛИЗАВЕТИН. МИШКА. ПЕТРОВИЧ. ШТАНЫ.

Потом наклонился со своим «сантиметром» к Мишкиным порткам.

— Ага,— сказал, разгибаясь,— а как же будем шить — бручки обыкновенные или с нагрудником?

— А, бручки-шмучки! Болтаешь только. Шуточки — кавалеры! С нагрудником. Обоим.

— Длина: семьдесят два,— сказал и записал крестный.— Подшаг,— шепнул он и, одной рукой прижав конец «сантиметра» в Мишкином куточке, другой потянул его к лаптям.

Крестный и так-то маленький, а согнется — уж и во все. А за ним стоит Андрей. Раскрыл книгу на первой странице, где ежик в штанах и — зараза! — подмигивает. Мишка весь напыжился, молчит. Да тут подвел сам крестный: он тяжело разогнулся и с натуги:

— П-пых!

Ребята прыснули.

И мама догадалась наконец, в чем тут дело. Забрала книгу, дернула Андрея за ухо, а книгу — и табуретка не понадобилась — положила на матицу.

Крестный покраснел и смолк.

Но ребятам не долго было стыдно.

Третьим чудом старенькой хатки вдруг вышел из подпечка черно-пестрый голубь. Чубатый. А шея и зоб его мерцали, переливались на ходу сине-ало-зеленым сиянием. Нашел соломинку и гордо потащил под печь.

Мальчики замерли, как замороженные: выйдет ли еще?..

— Яички кладут,— с улыбкой, тихо сказал снова уже добрый крестный.— Слышите, как он воркует? А это она. Так душевно... Я вам, хлопчики, парочку дам. И приручить научу как. О, слышите?..

Потом ели «фасолю с картоплей». И хотелось тихими, умными быть, да где ж тут выдержишь?.. У крестного ложки — деревянные и круглые, как желудевые чашечки. А на концах черенков — еще и бульбашки какие-то. Смешно! Ну, да это еще что... А вот он, старый дядька Макар, держит свою ложку так, что бульбашка эта торчит у него промеж пальцев... Даже мама не выдержала:

— Что ты мне все своей фигой под нос тычешь?

Крестный глянул на руку, спохватился и, весь красный от сдерживаемого смеха, прошептал:

— Сорок второй год вот так мельтешу... Никак не отвыкну...— и от души расхохотался.

А с ним, конечно, и мальчишки.

Даже и мама, которая так давно не смеялась. Четвертое чудо!

НЕ ИСЧЕЗАЙ

Они не могут налюбоваться друг дружкой, дочь и мать.

Не виделись три года... Нет — более тысячи дней и ночей! Ровно столько, сколько их город был под врагом.

Военный год на службе засчитывается за три. Фронтовику. Детям и матерям, которых в то время разлучили, надо бы считать приблизительно еще раза в три. Время ожидания, тоски, неизвестности...

И вот они вместе.

Еще все исхудавшие Зинины ручки — на маминых

плечах, а носик то и дело тепло тычется то в одну, то в другую мамину щеку.

— Может, сверх меры этих ласк, может, напрасно мать ежедневно одевает малышку сама? Ведь Зина ж выросла за это время до первоклассницы.

— Ой, вспомнила я, вспомнила, мама!..

— Что? Да не висни ты, стой себе хорошо. Что ж ты вспомнила?..

— Еще когда тебя не было, когда ты была в э-ва-ку-а-ци-и. Видишь, я уже это слово сразу выговариваю! Когда мы только с бабулей жили. Когда еще в Минске были фа-шис-ты... Мама! Ну, мама!..

— Что, что, солнышко мое?..

— А это у всех мам и у всех дочек глаза такие самые?..

— Ну, не всегда.

— Так почему ж у нас с тобой такие синие?

— Говори ты, дочушка, об одном. Идти уже надо, а ты... И я тебя люблю. Ну, ладно, хватит. Так что же тебе снилось, когда меня не было?

— А ты мне снилась, мама. Не один раз, а много. А один раз так: сдается, я тебя вижу... Издалека, не изблизи вижу. Но знаю — что это ты. Как только ты идешь — и я иду. Как только я побегу к тебе — и ты убегаешь. А потом я крикну: «Ма-ма!..» — И ты сразу исчезаешь... Ой, а слезы твои так щекочутся, — я сейчас чихну... А может, мне не один раз так снилось, а много?.. Ну, мама!..

Они не виделись много, много лет...

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Летим над океаном. Десять тысяч метров.

Вверху — голубизна. Внизу — туманно-пепельные тучи. Меж голубизной и тучами — сзади за нами — вечерняя заря. Черное крыло самолета. Вспоминается Рерих.

Ночь. Непроглядная бездна за окном. Только наши отражения на стекле.

Немного погода — вестница утра — одинокая звездочка. Опять рериховская заря, уже с востока. Опять

черный меч — крыло. Внизу — опять серый настил туч, под которыми все еще океан. Меч, ближе к окну, исподволь начинает поблескивать. Зарю заволакивают облака.

Светло-пепельный цвет туч под нами напоминает то густую шугу на воде, то недавно остриженную овчину.

Заря разгорается. Стала образовываться огромная раковина — из неба вверху и мраморных туч под нами.

Солнце!

В подвесной колыбели проснулся черноглазый французик. И с головкой на мамином плече поплыл по проходу над пассажирами. Черные глазки смеются...

И хочется на всех языках сразу сказать ему:

— Доброе утро!

1944—1964

Есть и такой замысел: написать историю моей дружбы с книгой. Не написав, трудно убедить кого-нибудь, что это будет интересно. А писать пока не хочется: еще все боюсь, что не сумею отсеять от значительного, нужного для других, только свое, личное, узко субъективное.

Теперь вот прикасаюсь к этому замыслу с первым, может быть, самым сильным волнением. Хочу писать о Чехове. О начале нашей дружбы, о моей сердечной любви. И не боюсь, что я не первый, даже не тысячный, — у этого родника с целебной водой никогда нет очереди: все подходят сразу.

Вспоминаю тень нарочанской сосны, примятую траву с затаенными в ней неназойливо жесткими шишками, ласковый плеск волн под пригорком берега, звонкий смех загорелой детворы... Как хорошо тут прилечь с книгой! Наш польский гость и друг Леон Кручковский лежит в этом самом теньке и тоже читает. Я знаю что: Даже как будто предвижу и те его слова, которые через несколько месяцев буду переводить:

«Счастливые минуты! Еще том Чехова в руки — и чего еще нужно, чтобы стать богаче на некую часть человеческого опыта, знаний, мудрости?»

Мало бродил я по белу свету, многое наблюдал лишь мимоходом.

За немецкой колючей проволокой, в бараке пленных французов видел на дверях список книжек их библиотеки. И постоял перед ним, ибо с невыразимо приятным чувством заметил в этом французском списке родные имена: Гоголь и Чехов.

С несколько иным, но также по-землячески радостным чувством довелось недавно, остановившись перед одним из книжных магазинов Рима, распознать на стенде, среди залитых солнцем цветных обложек, «Войну и мир» и сборник чеховских новелл.

В конце концов, и не видя собственными глазами, не так уж и трудно представить многотысячную, а то и многомиллионную армию жителей земли, влюбленных в творчество Чехова — каждый по-своему. Так имею же право на это и я? Нет, не тот вопрос — так он не только не звучал, но и не возникал в душе. Я любил и люблю его, не спрашивая ни права, ни разрешения. Без ревности к другим, кто его любит так же. И это — самая чистая, самая высокая, самая неизменная любовь, частица той могучей силы, что объединяет людей доброй воли.

Мой Чехов.

Имею право сказать так, не боясь самого въедливого скептика. «Мой» — в том смысле, что и я нашел тропинку к этому роднику один, самостоятельно, что от моей юношеской влюбленности с первого взгляда, от моего, в одиночку, увлечения его первыми страницами — от туда началось и мое зрелое, коллективное, мудрое — «наш».

А раньше было — «мой»

Расскажу про своего.

Не пожелтела от времени одна из первых страниц истории моей дружбы с книгой. Вспоминал ее на днях, разговаривая с дочкой-школьницей, с беспокойством — не рано ли? — давая ей Достоевского.

Теперь вспоминаю ту страницу еще раз, уже последний раз, перед тем, как закрепить и это неотступное воспоминание на бумаге.

Когда мне было пятнадцать, осенью тридцать второго года, пролез я довольно счастливо в одну библиотеку в местечке Турец на Новогрудчине, где я за год до того окончил польскую семилетку. Библиотека была частная, с большинством книг на еврейском языке. Платить за пользование книгами нужно было немало. И залог был тоже большой. Однако мать позволила мне эту роскошь — и не потому, что я был меньшей в доме и самый послушный, а из уважения еще к книгам, которые я

часто читал ей вслух. Словом, осень ту прожил я счастливо, отдавая каждой книге сверх денежной дани еще и восемь вязких и подмороженных километров — четыре туда и четыре домой. Часто и много — рассказы или отдельные главы романа — прочитывал хватком в дороге...

Как же не вспомнишь такое, когда теперь девочка зайдет в твой кабинет, посмотрит на полки с сотнями живых имен на милой пестроте переплетов и скажет с наивно-смешным разочарованием четырнадцатилетней особы: «Эх, почитать-то нечего!..»

В той библиотеке были:

Горький — ранние рассказы и стихи, «Мать» без первых и последних страниц, четвертая часть «Жизни Матвея Кожемякина»;

«Сон Макара», «Соколинец», «Лес шумит» и кое-что еще Короленко;

«Белые ночи», «Неточка Незванова», «Село Степанчиково» Достоевского;

отдельные рассказы Скитальца, Касаткина, Мамина-Сибиряка;

был второй том «Анны Карениной»;

были воспоминания жены пресловутого Захер-Мазоха и другие не менее пикантные книги, какие и я теперь не позволил бы читать подростку, но которые, однако, не причинили мне, кажется, вреда, ибо я во всю душу очарован был величественной музыкой классики.

Это не были, разумеется, мои первые русские книги. Когда мы летом двадцать второго года возвращались в отцово Загорье из Одессы (отец там тридцать лет работал на железной дороге), в нашем нехитром багаже семейным скарбом из советского города в глухую западно-белорусскую деревню ехали вслед за тремя мальчуганами Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Крылов и еще несколько книг, которыми отмечен исток моей любви к великой русской литературе.

Бывалые и покалеченные томики из той местечковой библиотеки вспоминаю с искренней благодарностью. Не в обиду я, конечно, и на хозяев этого частного просветительского учреждения — за эту деловитость, с какой они драли с меня материнские гроши и за Толстого, и за Мазохову жену одинаково. В дни войны от рук фашистов погибли в нашем местечке все единоплеменники веселого

мудреца Шолом-Алейхема, среди которых были не только мои хорошие знакомые, но и друзья детства. И не у кого сегодня спросить, чтобы уточнить: те два-три десятка из случайных и характерных по тематике книг,— не имеют ли они отношения к библиотеке, в начале столетия основанной в педальеком старинном городке Мирс самим Горьким?.. Нет, это не легенда: еще живут представители той мирской интеллигенции, передовая группа которой обратилась в свое время к Алексею Максимовичу с просьбой помочь в организации библиотеки, на что неутомимый Буревестник откликнулся письмом и посылками книг. И письмо это, и библиотека не сохранились. А мне почему-то кажется, мне приятно думать, что именно из той, из мирской, из «горьковской» библиотеки могли быть и были те книги русской классики, с которыми я так своевременно, так благодарно встретился на пороге зрелости.

Почему я вспомнил обо всем этом?

Потому, что там, в той библиотеке без вывески, в том местечковом домике, с кривым, дырявым крыльцом, был среди других книг и томик Чехова.

Блокнот, где я записывал тогда все, «что поражало ум и сердце», сохранился. В нем записано смешной и мило неловкой, как сама долговязая юность, скорописью три названия:

«Ведьма», «Белолобый», «Ванька».

С этого он и начался — мой Чехов.

Не помню, какие еще рассказы были в том томике, кроме названных. Раздумывая теперь, почему именно только они, эти три, оставили наиболее сильное впечатление, останавливаюсь на трех самых характерных элементах: ощущение красоты природы, любовь к живому существу, дружба с человеком. Может, не очень удачное оно, такое разделение, однако за каждым из этих трех пунктов, а еще лучше за всеми ними сразу, стоит он — чудесный мир неповторимых по силе и чистоте переживаний отрочества и юности.

Значительно позже, в суровую осень сорок второго года, была сделана следующая запись: «Читал хлопцам «Ведьму», особенно восторгаясь классическими картинами выюги за окнами одинокой избенки. Ярko предста-

вил самого Чехова на безбрежье заснеженных просторов России, под слова песни «Извела меня кручина», и грудь наполнилась счастьем творческих мук...»

Я покривил бы душой, если бы сказал, что в пятнадцать лет, читая «Ведьму» впервые, увлекался только описаниями природы.

Всклокоченная рыжая голова и большие, давно не мытые ноги дьяка, которые не умещались под засаленным одеялом, здорово затронули в душе моей то самое, что разбудил и напоил искристой, пенистой радостью ни с кем не сравнимый по силе смеха Гоголь. Гоголь с его Ноздревым, Маниловым, Шпонькой, его отпущенной для окраски крыши миргородского суда олифой, которую канцеляристы съели с луком... А киевская бурса, а дьяк в гостях у Солохи, а... Да, боже мой, часто подумаешь теперь: редкая птица долетит до половины Гоголя!..

А тут же к нему, уже знакомому и такому любимому, присоединился с таким задушевым, хотя и тихим и сдержанным смехом еще один — Чехов.

А потом у Чехова рядом с дьячком — и таким и не таким, как гоголевский, — была еще и дьячиха-ведьма, здоровая, жадная красавица, которая томительно ждала любви, той силы, ради которой «вдруг забываются тюки, почтовые поезда... все на свете». Куда там Гоголь с его панночкой, соблазнившей Андрия!.. Тут у Чехова совсем иначе, чем у всех, кого я читал перед тем, была затронута та сладость «запретного плода», что волнует нас в юности неповторимо по силе и свежести восприятия.

Тем более характерным остается то, что сильнейшим в «Ведьме» было для меня ощущение красоты природы. Не случайно же и запомнилось с тех дней такое сильное, такое простое, такое чеховское описание вьюги, как она беснуется за окном:

«А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей гибели заварилась в природе каша, но, судя по неумолкаемому зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто».

Это — далеко не все, что происходило за окном, но мне казалось и кажется, что в картине вьюги именно эти штрихи наиболее существенные, наиболее чеховские. Как Млечный Путь, который «вырисовывается так ясно, словно его перед праздником помыли и потеряли снегом»; как та птица, что пела в чаще «так старательно, словно

ей давали за это бог весть какое жалованье», как то стеклышко, что... Да, боже мой, хочется воскликнуть снова: редко кому удастся долететь до половины чеховской степи!..

Так воскликнуть я мог бы позже, когда уже далеко-далеко забрался в роскошный мир его творчества. А тогда, пареньком, я только рот раскрыл, только затрепетал от первого восторга.

Не случайно, видно, сколько бы раз ни перечитывал я Чехова, в тех чувствах, в той чудесной музыке, что пробуждается в душе от его восприятия природы, первой струной звенит чувство впервые пережитой радости — встречи с волшебным чеховским миром.

Теперь — про «Белолобого».

«Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подсакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его. Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, который бывает у очень глупых собак: глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал: — Мня... мня... нга-нга-нга!

Волчата ничего не понимали, но замотали хвостами».

Видно, потому, что меня перевезли из города в деревню пятилетним мальчиком и познавать природу я начал с некоторым опозданием, отдельные картинки ее запечатлелись в памяти с особой силой.

Вещи для привычного глаза чрезвычайно простые: ромашки на железнодорожном откосе, васильки, колосья, а над всем этим белые чашечки изоляторов на столбах, бегущих навстречу нашему товарняку с распахнутыми дверями... Еще проще: четыре курицы, выпущенные из подпечка в хату. То сестра, то кума, то соседка — кто ни приходил к нам, чтобы встретиться с моей матерью, которая вот и вернулась после стольких лет, — каждая что-нибудь приносила. Так они и появились в нашей хате, четыре курицы, к которым я присматривался, для удобства прилегши на пол. Пестрая, белая, черная, желтая... И все с красными гребешками! А как они постукивают клювами об пол! Когда же еще на них из окна лилось солнце — какие они были ненаглядные!..

Потом были голуби, одного из которых, сироту, я выкормил сам. Была собака, с которой я дружил десять лет и которую похоронил торжественно потрясенный. Были коровы, которых мы, правда, били палками, но и пасли так, будто прося прощения за эти издевательства, с особенной старательностью. Был конь, с которым так хорошо было и молчать и поговорить за плугом или в лесу. Значительно позже, когда он вынес тебя, партизана, из-под пуль, хотелось прислониться щекой к его твердой щеке, заглянуть в глубокое, синее, тихое око...

Это все было — каждый восторг в свое время, это и сегодня живет, как дома, в самом уютном уголке души.

С особенным удовольствием прочитал я на днях простые, мудрые и такие веселые слова Остапа Вишни:

«Ездили на охоту. Это — не впервые и не в последний раз. Ничего!

И как радостно, что я ничего не убил!

И как радостно, что я еще поеду (обязательно), чтоб что-нибудь убить!

И как радостно будет, что я ничего не убью».

Дневниковая запись помечена датой: «23 января 1952 года».

Полтора годами позже и я имел счастье познакомиться с этим чудесным сыном милой Украины, быть у него в кабинете, удивляться массе картин и рисунков, подаренных ему друзьями, по-мальчишечьи, глубоко в душе побаиваться его собаки, которая лезла, ворча, к рукам, чтобы положить и мне на ладони тяжелую, шоколадного цвета голову. Как сотрудник «Маладосці», за несколько дней до этого, я попросил Вишню дать нашему журналу какую-нибудь юмореску. А в назначенный срок получил из его рук совсем не сатирическую, а просто солнечную зарисовку. И так удивился этому, и так расчувствовался, когда он, как сперва казалось, сатирически-колючий старик в парусиновом кителе, седой, ссутуленный, по-отцовски обнял меня на прощанье.

Тогда ему шел уже седьмой десяток, а сколько же по-детски нежного, чистого было в его душе, хорошо знакомой с бурями и болью. Теперь, когда уже и ко мне пришли годы наиболее ответственной зрелости, я с тихой радостью слышу его посмертный и бессмертный голос. И думаю, что очень хорошо тому, кто не растратил

чувств, так щедро отпущенных нам при вступлении в жизнь. И в голосе Вишни мне слышится что-то от Чехова, то, чем поддержал он нас в самом дорогом.

Потому и явилось это отступление.

Ну, а при чем тут щенок, у которого на лбу — примета глупости, белый бугор? К чему тут и эта: «Мня... мня... нга-нга-нга»?

Да к тому, что в необъятном мире, который я люблю, на который я жадно и неутомимо смотрю вот уже больше сорока лет, в том невыразимо прекрасном мире этот так небывало пересказанный щенячий лай звенит для меня напоминанием о тех осенних вечерах, когда я с чистой душой подростка воспринял еще одно радостное открытие: в этом мире есть чудесный, родной человек, умеющий так много видеть и так весело любить!..

Вскоре после этого он привел мне свою неподражаемую Каштанку, с ее тревогой, что хозяин может найти и съесть спрятанную за шкафом куриную лапку. Он показал мне своего Ивана Ивановича, циркового гусака, который так и не дожил до весны, не походил по солнышку, по травке. Словно сказочный маг-волшебник, он тихонько провел меня в ту конюшню, где возчик Иона делит безутешное горе с худой, тоже вконец подбитой помощницей...

Трудно удержаться и не выписать еще один абзац, который, как и все чеховское, не стерся и не сотрется от бойкого обращения.

«Так-то, брат, кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Теперя, скажем, у тебя жеребеночек и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?»

«Взял и помер зря»... Этому «зря» — нет цены!

Не оценить его, не охватить за раз, не натешиться им — тем волшебным миром чувств дружбы с живыми существами, который открылся мне в творчестве Чехова, начиная именно с того незадачливого щенка, так поновому залаявшего в заснеженном лесу у волчьей берлоги, над которой перелетали время от времени изумрудные в мартовском солнце петухи-тетерева...

Ванька Жуков...

Когда я был его одногодком — пас коров. Осенью после отавы мы гоняли по тому времени очень далеко: на

покосы, к самому лесу, километров за пять от дома. На приволье заливных лугов течет тихая полноводная Уша, которая неподалеку впадает в Неман — где-то вон там, вдали синее лес, называемый Налибокской пущей. Над Ушей в это время сходились стада из шести окольных деревень. Пастухи часто дрались, шли войной деревня на деревню. Наша деревня легко побивала две соседних, Чижиновцы и Малосельцы, ибо были они невелики и не могли выставить более или менее достойной армии, а объединиться так и не догадались. В равных силах были мы с деревнями Трощицы и Песочное. Зато побаивались Скорич. Бывало и так, что, проведя соответствующую дипломатическую работу, мы объединялись с песочьянами и тучей шли на скоричан, в ту сторону, где были Неман и Налибоки.

Теперь, выступая в роли летописца тех событий, я беру на себя, откровенно говоря, многовато. Мы объединились, мы пошли... А сам ходил я тогда только в обозе: вместе с остальной мелюзгой подносил свитки и торбы старших.

Не помню точно, как это случилось, но в ту осень было у нас и перемирие со Скоричами, даже довольно продолжительное. Их стадо доходило до нашего, и коровы из обеих деревень мирно обгрызали нескошенные над-речные обложки. А пастухи раскладывали костры, играли в самодельные карты, курили сигарки из махорки, преимущественно ворованной у отцов и для экономии приправленной сухим вишневым листом, удили рыбу с моста, что круто горбился над бродом. И занимались этим главным образом «обозники».

Однажды я был среди них героем дня. Кроме пескелей, которые легко лезли в бутылку из-под молока, каким-то чудом поймал и я — да еще с мостка, в такой шумной компании, — самую настоящую плотичку! Слов не хватало, чтобы выразить радость. Но все же главное не в плотве.

Благодаря ей, этой серебристой дурочке с красными глазами и плавниками, которая до вечера высохла, как щепка в пастушьем кармане, я подружился с одним до этого незнакомым скоричанским пареньком. Он был тоже «обозник», моих лет, но маленький заморыш, очень бедно одетый, даже без удочки, хотя для снасти этой покупали мы только «зазубень», крючок, цена которому

колебалась тогда от одного до двух куриных яиц. Мальчик был сирота, безотцовщина — таких мы безжалостно называли байстрючками — пас чужих коров. Не помню, как она началась, наша дружба, что и о чем мы говорили, даже имя его затерялось навсегда, однако в памяти крепко и ярко засели три обстоятельства: мальчик все дрожал от холода; меня почему-то звал «Вана», а плотву — плотку — называл «плёткой»; и третье, наиболее существенное, — вечером, когда я дома рассказывал о нем, взял да вдруг расхныкался. За это меня высмеяли, но мать назавтра положила мне в торбочку больше, чем всегда, даже не намекнув зачем.

Потом снова были битвы со скоричанами, а после — зима, когда мы ходили в разные школы, весна и лето, когда мы пасли вблизи от родных деревень. Следующей осенью не встретились, а выросли — не узнали друг друга... Словом, от этой короткой дружбы осталось только воспоминание.

Плотва, которую я поймал с моста, — первая в моей жизни «большая рыбина», но радость, которую я из-за нее пережил, была мне уже знакома по одной из прочитанных к этому времени книг: «Детские годы Багрова-внука».

А радость дружбы, которую я ощутил впервые так сильно, не знала равнозначного эха в любимых книгах до той поры, пока я, спустя шесть лет, не прочитал рассказа «Ванька».

Правда, я уже тогда, в том же тридцать втором году, почувствовал на себе первое и очень сильное воздействие Льва Толстого, с его художественной и философской проповедью любви к брату человеку. Однако у Чехова было что-то качественно иное — у него была не просто любовь, без разбора: я полюбил не какого-нибудь сапожника Аляхина, который бил своего маленького ученика, и не жену сапожника, которая «взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать», а именно и только Ваньку Жукова. Он, кстати, очень ярко напомнил мне тогда, при первом чтении, и напоминает до сих пор того «обозника»-пастушка, а чувство любви к обиженному, угнетенному человеку, такое по-чеховски чистое, без малейшего оттенка фальши, чувство, так сильно пережитое мною над страницами этой новеллы, счастливо и неразрывно связано для меня с тем здоровым и

непосредственным, высоко человеческим восприятием мира, с каким мы вступаем в жизнь.

Чехову я обязан очень многим, но здесь вспомню лишь об одном.

Антон Павлович первый из самых любимых писателей внес поправку в мое юношески безоговорочное восхищение Толстым — не только великим художником, но и философом. Правда, поправки такие вносила прежде всего сама жизнь с папским гнетом и народным революционным отпором, сама западнобелорусская действительность, в которой я жил и искал свою стезю. А вот первой чеховской поправкой был именно «Ванька». Позднее, летом тридцать восьмого года, когда мне в руки впервые попались «Дуэль», «Моя жизнь», «Печенег» и другие произведения так называемого второго периода чеховского творчества, переоценка ценностей пошла в нужном направлении значительно быстрее. Чехов, разумеется, не заменил Толстого, а только чудесно дополнил его, помог полюбить той очищенной, зрелой любовью, которая и мне, как воздух и солнце, нужна для жизни и борьбы.

Не помню, где он, Чехов, говорил, что любовь к человеку надо носить не только в сердце, но и в голове.

Не знаю... лучше будет сказать — не думал никогда над тем, сквозь сердце или сквозь разум пропущена его любовь, скажем, к Липе с мертвым сыночком на руках, когда она идет под звездам весенним небом... Однако такого глубокого, чистого, несказанно поэтического выявления любви к человеку нет, кажется, ни у одного из писателей.

Впервые я почувствовал это в небольшом рассказе о доле сапожника ученика.

«Чехов — несравненный художник. Именно так: несравненный... Художник жизни.

Он — один из тех немногих писателей, которых можно много, много раз перечитывать, — я это знаю по собственному опыту».

Вслед за Л. Н. Толстым так говорили, говорят и будут говорить миллионы благодарных чеховских читателей.

Невольно вспоминаю знакомого — весьма развязного и пустоватого, как мне часто казалось, человека. Куда там ему до тихой, сердечной радости, какую дает нам хорошая песня!.. А он однажды за столом, словно утомившись от своей пошловатой болтовни, попросил: «Споемте». И зашел, и стал совсем другим, даже как-то по-человечески красивым. Вернулся человек к самому себе, отряхнул наносное, словно псымылся да почистился ради большого праздника.

За этим — в тесной связи — другое воспоминание, другой образ. Друг мой приехал долгожданным гостем с Урала. Он ходил со мной по всем театрам и музеям, осматривал наш новый Минск, был доволен, искренне изумлялся. А потом этот не литератор, а инженер, влюбленный в свою энергетику работяга, сказал:

— Давай, брат, сегодня никуда не пойдем, а сядем да почитаем Чехова.

И мы читали, вдвоем, при настольной лампе, в каком-то очень уютном полумраке пустой комнаты. Взяли с полки первый попавшийся под руку том, зацепились за первый рассказ... И как же нам было хорошо! Как он похорошел, раскрылся для меня еще одной стороной своей души, мой молодой далекий друг!..

Чеховым нельзя начитаться.

Я, например, читаю и перечитываю его вот уже скоро тридцать лет. Срок, кажется, вполне достаточный для самой основательной проверки чувств.

Сперва, в условиях буржуазной Польши, поиски его книг часто напоминали нелегкий хлеб следопыта. Трижды вздымалась волна большой удачи: в тридцать втором году, когда началось наше знакомство, в тридцать восьмом, о чем я также говорил, и в дни войны, когда мне впервые встретились прекрасные письма Чехова — брату Саше и Горькому.

Старожилы Минска, друзья книги, помнят, как осенью сорок четвертого года на страшных руинах освобожденного города-партизана появился первый вишневый томик полного подписного собрания сочинений Чехова — еще одно прекрасное свидетельство нашей непобедимости.

Вот тогда я наивно подумал, что прочитаю наконец Антона Павловича всего...

На протяжении восьми последующих лет были про-

читаны, по времени их выхода, все двадцать томов. А еще через два года я имел честь готовить к изданию «Избранные произведения» Чехова на белорусском языке.

Две вещи поразили меня тогда, кажется, с новой силой.

Повесть «В овраге» — величественная картина жизни русской деревни в эпоху становления капитализма, редкой силы сгусток, заряд высокой поэзии, — повесть эта, когда я перевел и переписал ее на машинке, заняла... только 49 страниц!

И второе: редактируя переводы друзей и дважды на протяжении полугода читая корректуру, я окончательно убедился, что Чеховым начитаться нельзя. Он вечно новый и новый, не разгаданный до конца.

Нельзя также и сказать о нем сразу все, что хотел бы и мог бы сказать.

На этот раз мне радостно было рассказать о начале моей влюбленности — с первого взгляда и навсегда.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Адамович. Щедрый талант</i>	3
-----------------------------------	---

РАССКАЗЫ

Под говор костра

Колокольчики. <i>Перевод А. Островского</i>	15
Щедрая Ясельда. <i>Перевод А. Островского</i>	21
Быстрый Неман. <i>Перевод А. Островского</i>	34
Галя. <i>Перевод А. Островского</i>	48
Надпись на срубе. <i>Перевод А. Островского</i>	67
Марыля. <i>Перевод А. Островского</i>	86
Праведники и злодеи. <i>Перевод А. Островского</i>	97
Мой земляк. <i>Перевод А. Островского</i>	121
Один день. <i>Перевод А. Островского</i>	139
Стежка-дорожка. <i>Перевод А. Островского</i>	156
Мать. <i>Перевод А. Островского</i>	169
Memento mori. <i>Перевод А. Островского</i>	174
Зеленая школа. <i>Перевод А. Островского</i>	178
Осколочек радуги. <i>Перевод А. Островского</i>	192
Снежок и Гуленька. <i>Перевод А. Островского</i>	196
Тоска. <i>Перевод А. Островского</i>	203
Лазунок. <i>Перевод А. Островского</i>	212
Липа и кленик. <i>Перевод А. Островского</i>	221
Звезда на пряжке. <i>Перевод А. Островского</i>	227
Привал. <i>Перевод А. Островского</i>	234
Ей мы не скажем. <i>Перевод А. Островского</i>	247
Двадцать. <i>Перевод А. Островского</i>	251
Надо съездить. <i>Перевод А. Островского</i>	260

Горсть солнечных лучей

Скрипка поет. Перевод Дм. Ковалева	264
Карьера. Перевод Дм. Ковалева	266
«...Можно рассказывать бесконечно». Перевод Дм. Ковалева	268
Вступление в реквием. Перевод Дм. Ковалева . . .	271
О личном. Перевод Дм. Ковалева	272
Розы и яблоки. Перевод Дм. Ковалева	273
Заветное. Перевод Дм. Ковалева	275
Этюд. Перевод Дм. Ковалева	275
Ахали-Гагра. Перевод Дм. Ковалева	276
Кому повем?.. Перевод Дм. Ковалева	277
Сентябрь Перевод Дм. Ковалева	277
Зимний вечер. Перевод Дм. Ковалева	278
Встреча. Перевод Дм. Ковалева	279
Причуда. Перевод Дм. Ковалева	279
По форме. Перевод Дм. Ковалева	280
Улыбка. Перевод А. Островского	280
Мы с ним друзья. Перевод А. Островского . . .	282
Чудеса в хатенке. Перевод А. Островского . . .	284
Не исчезай. Перевод Дм. Ковалева	287
На всех языках. Перевод Дм. Ковалева	288
Мой Чехов. Перевод Н. Кислика	290

Иван Антонович Брыль

(Янка Брыль)

ПОД ГОВОР КОСТРА

Редактор *Е. Цинговатова*. Художественный редактор *Г. Кудрявцев*.
Технический редактор *М. Позднякова*. Корректор *А. Ухина*.

Сдано в набор 28/X 1965 г. Подписано к печати 12/III 1966 г. Бумага
типографская № 2 84×108¹/₃₂. 9,5 печ. л.=15,9 усл. печ. л. 15,15 уч.-
изд. л.+1 вклейка=15,2 л. Тираж 50 000 экз. Заказ 1209. Цена 64 коп.

Издательство «Художественная литература»

Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Комитета по печати при Совете
Министров БССР. Минск, Красная, 23.

